VISIT…

ПОЛНАЯ ИЛЛЮМИНАЦИЯ

ЖИВОПИСНАЯ ИСТОРИЯ О ЧУДЕСАХ...
НАПОЛНИТ ВОСХИЩЕНИЕМ
И РАЗОБЬЕТ ВАШЕ СЕРДЦЕ
ДЖОЙС КЭРОЛ ОУТС

ДЖОНАТАН САФРАН

ФОЕР

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР·ЧИТАЕТ ВЕСЬ МИР

Annotation

От издателя: "Полная иллюминация" — это роман, в котором иллюминация наступает не сразу. Для некоторых — никогда. Слишком легко пройти мимо и не нащупать во тьме выключателей. И еще прошу: приготовьтесь к литературной игре. Это серьезная книга, написанная несерьезным человеком, или наоборот. В общем, как скажет один из героев: "Юмор — это единственный правдивый способ рассказать печальный рассказ".

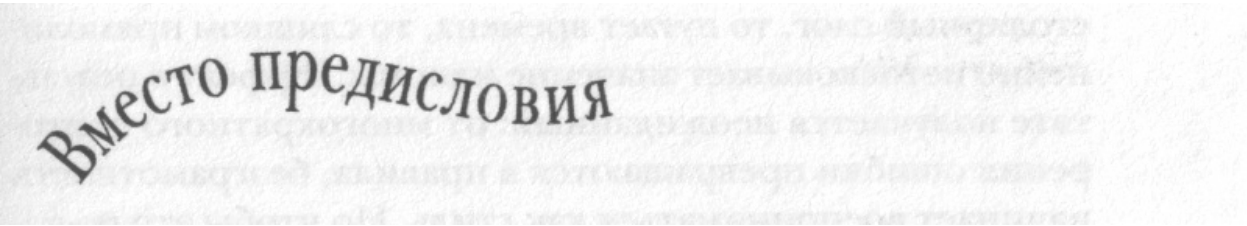
- Джонатан Сафран Фоер
  - Вместо предисловия
  -
    - Увертюра к начатию необычайно емкотрудного путешествия
    - Сотворение мира наступает часто
    - Лотерея, 1791
    -
    - Увертюра к встрече с героем и потом встреча с героем
    - Книга повторяющихся сновидений, 1791
    - Впадая в любовь, 1791—1796
    - Еще одна лотерея, 1791
    -
    - Выдвигаясь к Луцку
    - Впадая в любовь, 1791 — 1803
    - Повторяющиеся тайны, 1791—1943
    - Парад, смерть, предложение, 1804—1969
    -
    - Необычайно емкотрудный поиск
    - Времямер, 1941–1804—1941
    -
    - Впадая в любовь
    - Необычайнейший прием по случаю свадьбы!
    - Игрушка судьбы, 1941—1924
    - Густой замес из крови и драмы,1934

-
- Что мы увидели, когда увидели Трахимброд,
- Впадая в любовь, 1934—1941
-
- Увертюра к иллюминации
- Впадая в любовь, 1934—1941
-
- Иллюминация
- Необычайнейший прием по случаю свадьбы!
- Первые взрывы, а потом любовь, 1941
- Скрупулезность памяти, 1941
- Сотворение мира случается часто, 1942—1791
-

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11

Джонатан Сафран Фоер
ПОЛНАЯ ИЛЛЮМИНАЦИЯ

Вместо предисловия



Терпеть не могу предисловий. Во-первых, потому что они всегда намекают на некое превосходство того, кто их написал, над тем, кому они адресованы. (Так и хочется сказать, пролистывая: «Сам знаю, не дурак».) А во-вторых, потому что, дочитав книгу до конца, все равно приходится к ним возвращаться («Так о чем же все-таки все это было?»).

Но это как с советами детям: знаешь, что не помогут, а все равно даешь. Смотри по сторонам. Будь осторожен. Не пей холодное. Потому что желание поделиться нажитой мудростью — это почти условный рефлекс. А два с половиной года наедине с книгой — это почти мудрость.

Прошу только об одном: ничему не удивляться. «Полная иллюминация» — это роман, в котором иллюминация наступает не сразу. Для некоторых — никогда. Слишком легко пройти мимо и не нащупать во тьме выключателей. И еще прошу: приготовьтесь к литературной игре. Это серьезная книга, написанная несерьезным человеком. Или наоборот. В общем, как скажет один из героев: «Юмор — это единственный правдивый способ рассказать печальный рассказ».

Кстати, о юморе. У Фоера он совершенно особый. Потому что половина книги написана от лица человека, который не знает английского. Вернее, сам-то он убежден, что знает, и даже лучше, чем Фоер, поэтому совершенно не стесняется. Его ошибки — неисчерпаемый источник комизма. То он употребляет слова в неверном контексте, то сыпет канцеляризмами, полагая, что этого требует эпистолярный слог, то путает времена, то слишком прямолинейно истолковывает значение идиомы. Эффект в результате получается неожиданный: от многократного повторения ошибки превращаются в правила, безграмотность начинает восприниматься как стиль. Но чтобы это по-настоящему оценить, нужно сделать усилие. Особенно вначале.

От хорошего коньяка тоже ведь не сразу начинаешь получать удовольствие.

Допускаю, что у кого-то может возникнуть впечатление, будто переводчик оправдывается: на самом деле он просто не знает русского языка. Не стану отрицать: такое с ним иногда случается. Но это не тот случай. Здесь он сознательно ставил перед собой задачу сохранить для русскоязычного читателя то ощущение, которое испытывает от книги читатель англоязычный. Недоумение, возмущение, шок, а в конечном итоге — невыразимое удивление. Оказывается и, чтобы говорить о сложнейших вещах, грамоту знать совсем не обязательно. Тот, кому есть что сказать, найдет правильные слова, даже если их у него не больше, чем у Эллочки-Людоедки.

Тут самое время поискать правильные слова благодарности. Потому что во время работы переводчика неустанно подбадривали близкие, безропотно дожидался издатель и методично выводила из бесчисленных литературных тупиков наставница, искусствовед и друг Виктория Вайнер. Вита. Без ее тонкой, остроумной, дотошной правки книга осталась бы, наверное, не более чем упражнением переводчика-дилетанта. Это она довела ее до ума назло душившему ее раку. Это она, умирая, приказала ей долго жить.

В заключение могу лишь сказать, что *старался наилучшайше и сделал лучшее из того, что мог, что было лучшим из того, что я мог бы сделать.* Так написал Фоер. Больше мне добавить нечего.

Василий Арканов,
Ваш смиренный переводчик
1 апреля 2005

Просто и невозможно:
МОЕЙ СЕМЬЕ

Увертюра к начатию необычайно емкотрудного путешествия

МОЕ ЗАКОННОЕ ИМЯ Александр Перчов. Но множественное число моих друзей обзывает меня Алекс, потому что так более изрекательнее. Мама обзывает меня Алексий-не-нервируй-меня! потому что я всегда ее нервирую. Если хотите знать, почему я всегда ее нервирую, так это потому, что я всегда где-нибудь с друзьями, рассеивая столько много валюты, исполняя столько много вещей, способных занервировать мать. Отец прежде обзывал меня Шапка — за ушанку, в которую я облачаюсь даже в летний месяц. Он прекратил меня так обзывать, потому что я распорядился, чтобы он прекратил меня так обзывать. Для меня это звучало по-мальчишески, а я привык считать себя мужчиной с мощью и производительностью. У меня много-много подружек, можете мне поверить, и у каждой для меня особое имя. Одна обзывает меня Бэби, не потому что я бэби, а потому что за мной нужно присматривать. Другая обзывает меня Ночь Напролет. Хотите знать, почему? Есть еще третья, которая обзывает меня Валюта, потому что я столько много ее рассеиваю вокруг. За это она целует след между моих ног. У меня есть миниатюрный брат, который обзывает меня Алли. Я от этого имени не сильно торчу, зато я сильно торчу от своего брата, так что о'кей, дозволяю ему обзывать себя Алли. Что же до его имени, то оно Игорек, но Отец обзывает его Неуклюжина, потому что он безостановочно прогуливается в предметы. Вот и за три дня до накануне он осинил себе глаз из-за плохого управления с кирпичной стеной. Если вам любопытно, как зовут мою суку, то ее зовут Сэмми Дэвис Наимладшая. Ее так зовут, потому что Сэмми Дэвис Младший был возлюбленным певцом Дедушки, а сука его, а не моя, и это не я, кто считает, что он слепой.

Что до меня, то я был произведен на свет в 1977-м, в один год с героем этой истории. По правде, жизнь у меня с тех пор была самая обыкновенная. Как я уже упоминал, я делаю много хороших вещей с самим собой и с другими, но это обыкновенные вещи. Я торчу от американских муви. Я торчу от негров, в особенности от Майкла Джексона. Я торчу, когда рассеиваю столько много валюты в

знаменитых ночных клубах Одессы. Ламбургини Кантачес — это супер, но и капучини тоже. Многие подружки хотят предаться со мной плотским утехам в разных хороших аранжировках, включительно в Подвыпившем Кенгуру, Забаве Горького и Упрямом Зоопаркере. Если хотите знать, почему так много подружек меня домогается, то это потому, что для интимизации вдвоем я человек высшей пробы. Уютный и беспощадно смешной — а это выигрышные вещи. И все же я знаю много людей, которые торчат от скороходных машин и знаменитых дискотек. А таких, которые запускают свой вездеход в междубюстье (что всегда заканчивается липкостью под подбородком), у меня и рук не хватит пересчитать. Людей с именем Алекс тоже много. (Только у меня дома трое!) Вот почему я начал брызгать весельем от перспективы отправиться в Луцк и переводить для Джонатана Сафрана Фоера. Это обещало быть необыкновенным.

На втором году обучения английским языком в университете я произвел безрассудно ошеломительный результат. Это была внушительная вещь, потому что мой инструктор имел говно среди мозгов. Мама до того была гордая, что сказала: «Алексий-не-нервируй-меня! Ты теперь предмет моей гордости». Я запросил купить кожаные брюки, но она отказала. «Шорты?» — «Нет». Отец тоже был до того гордый. Он сказал: «Шапка», — а я сказал: «Не обзывай меня этим», — и он сказал: «Алекс, теперь ты предмет материнской гордости».

Мама у меня смиренная женщина. Очень-очень смиренная. Она горбатит в маленьком кафе, удаленном на один час от нашего дома. Она презентует посетителям еду и питье, а мне говорит: «Я всхожу на автобус на час, чтобы работать весь день, делая вещи, которые ненавижу. Хочешь знать, почему? Ради тебя, Алексий-не-нервируй-меня! Когда-нибудь и ты станешь делать для меня вещи, которые ненавидишь. Это потому, что мы семья». Чего она не ухватывает, так это что я уже делаю для нее вещи, которые ненавижу. Я ее слушаю, когда она со мной разговаривает. Я воздерживаюсь жаловаться о моих пигмейских карманных средствах. И упомянул ли я уже, что нервирую ее далеко не так много, как жаждал бы. Но это не потому, что мы семья. Все эти вещи я делаю, потому что они элементарные вежливости. Это идиома, которой научил меня герой. И еще потому, что я не жопа с факинг-дыркой. Это еще одна идиома, которой научил меня герой.

Отец горбатит в туристическом агентстве, озаглавленном Туры

Наследия. Оно для таких евреев, как мой герой, которым приспичивает покинуть эту облагороженную страну Америку и посетить смиренные городки в Польше и в Украине. С евреев, которые пытаются отрыть места, где некогда обитали их семьи, агентство отца сшибает за переводчика, гида и водителя. О'кей, до этой поездки я никогда не встречал еврея как такового. Но это их вина, а не моя, потому что я всегда не только был готов с ними встретиться, но даже без большого энтузиазма. Снова буду честен и упомяну, что до поездки я полагал, что евреи имеют говно среди мозгов. Я так заключил, потому что они платили Отцу столько много валюты, чтобы сделать отпуск *из* Америки *в* Украину. Но потом я встретил Джонатана Сафрана Фоера, и я вам скажу, что у него нет говна среди мозгов. Он многоумный еврей.

Что же до Неуклюжины, которую я никогда не обзываю Неуклюжиной, а всегда Игорьком, то это мальчик — высший сорт. Теперь мне очевидно, что он станет мужчиной с мощью и производительностью и что его мозг будет повышенно мускулистым. Мы не ведем объемистых разговоров, потому что он такой молчаливый человек, но я уверен, что мы друзья, и не думаю, что солгу, если скажу, что друзья первостепенные. Я обучил Игорька быть человеком от мира сего. Для одного примера, третьего дня я экспонировал ему непристойный журнал, чтобы он мог составить себе представление о тех многих позициях, в которых я предаюсь плотским утехам. «Так выглядит позиция шестьдесят девять», — сообщил ему я, презентуя перед ним журнал. На главное я указал пальцем, точнее, двумя, чтобы он ничего не упустил. «А почему ее обозвали шестьдесят девять?» — спросил он, охваченный неугасимым огнем любознательности. «Ее изобрели в 1969 году. Мой друг Грегори знаком с другом племянника изобретателя». — «А как же люди жили до 1969 года?» — «Просто сосали член или жевали передок, но никогда дуэтом». Будь моя воля, я бы сделал из него настоящего VIP.[1]

Здесь начинается история.

Но сначала я обременен продекламировать мою приятную наружность. Я недвусмысленно высок. Я не знаю женщин, которые были бы выше меня. Знакомые женщины, которые выше меня, — лесбиянки, и для них 1969 год был очень знаменательным годом. У меня красивый волос, расщепленный посередине. Это потому, что пока я был маленьким мальчиком, Мама расщепляла его сбоку, и, чтобы ее

занервировать, я перерасщеплял его посередине. «Алексий-не-нервируй-меня! — говорила она. — С такой волосорасщепленностью ты похож на психически ненормального». Она так не хотела, я знаю. Мама очень часто изрекает вещи, которые, я знаю, изрекать не хочет. У меня аристократическая улыбка и кулак, которым я не прочь звезданут. Мой живот необычайной силы, хотя в данное время лишен мускулистости. Отец — толстый человек, Мама — тоже. Это не обеспокоивает меня, потому что у меня живот необычайной силы, даже если и выглядит толстым. Опишу свои глаза и тогда начну повествование. Глаза у меня голубые и сияющие. Теперь начинаю повествование.

Отец получил телефонный звонок из американского офиса Туров Наследия. Они нуждались в водителе, гиде и переводчике для молодого человека, который собирался в Луцк на заре июля месяца. Это была хлопотливая просьба, потому что на заре июля Украина готовилась отмечать первый день рождения своей ультрамодерновой конституции, которая до того преисполняет нас национализмом, что сразу много людей отправляется в отпуск по зарубежным местам. Ситуация была невозможная, как на Олимпиаде в 1984-м. Но Отец — наводитель благоговейного ужаса и всегда получает то, что жаждет. «Шапка, — сказал он мне в телефон, когда я, сидя дома, наслаждался величайшим документальным фильмом современности *Как снимался «Триллер»*,[2] — какой там язык ты изучал в этом году в школе?» — «Не обзывай меня этим», — сказал я. «Алекс, — сказал он, — какой там язык ты изучал в этом году в школе?» — «Язык английского», — сообщил ему я. «Овладел ли ты им глубоко и полностью?» — спросил он. «Как рыба об лед», — сообщил ему я, надеясь сделать его достаточно гордым для покупки чехлов из зебровой кожи, о которых столько мечтал. «Отлично, Шапка», — сказал он. «Не обзывай меня этим», — сказал я. «Отлично, Алекс. Отлично. Ты должен обнулить все планы, которыми обладаешь на первую неделю июля месяца». — «Я не обладаю никакими планами», — сказал я. «Нет, обладаешь», — сказал он.

Теперь будет подходящим упомянуть о Дедушке, который тоже толстый, и даже толще, чем мои родители. О'кей, упоминаю о Дедушке. У него золотые зубы и обильный волос на лице, который он культивирует для ежедневного расчесывания в сумерках. Пятьдесят лет он горбатил на разных трудоустройствах, в основном сельскохозяйственных, а позднее — машиноманипуляционных. Его

заключительное трудоустройство было в Турах Наследия, где он начал горбатить в 1950-х и упорствовал в этом до последнего времени. Сейчас он умственно состарился и живет на нашей улице. Бабушка умерла тому уже два года от рака в мозгу, и с тех пор Дедушка стал очень меланхоличным и еще, он говорит, слепым. Отец ему не верит, но все равно купил ему Сэмми Дэвис Наимладшую, потому что сука-поводырь нужна не только слепым людям, но и людям, снедаемым негативом одиночества. (Мне не следовало употреблять слово «купил», потому что, по правде, Сэмми Дэвис Наимладшую Отец не покупал, а всего лишь получил из дома для забывшихся собак. По этой причине она не настоящая сука-поводырь, а также умственно ненормальная.) Большую часть дня Дедушка рассеивается у нас дома за лицезрением телевизора. Часто он на меня орет. «Саша! — орет он. — Саша, не будь таким ленивым! Не будь таким бесполезным! Сделай что-нибудь! Сделай что-нибудь сто́ящее!» Я никогда не вхожу с ним в полемику, и никогда не нервирую его с намерениями, и никогда не понимаю, что значит стоящее. До смерти Бабушки у него не было этой неаппетитной привычки орать на нас с Игорьком. Вот почему мы уверены, что он этого не хочет, и вот почему мы в состоянии его простить. Однажды я обнаружил его плачущим перед телевизором. (Джонатан, эта часть о Дедушке должна остаться промежду тебя и меня, да?) Экспонировали прогноз погоды, поэтому я был уверен, что его слезы не были спровоцированы меланхолией из телевизора. Я об этом никогда не упоминал, потому что не упоминать об этом было элементарной вежливостью.

Дедушку тоже зовут Александр. Дополнительно и Отца. Все мы — первородные дети в наших семьях, что кладет на нас огромную честь, сравнимую по масштабам со спортом бейсбол, который изобрели в Украине. Своего первого сына я обзову Александр. Если хотите знать, что будет, если мой первый сын будет девочкой, я вам скажу. Он не будет девочкой. Дедушка был произведен на свет в Одессе, в 1918-м. Он никогда не отбывал за пределы Украины. Его наидальнейшее путешествие было в Киев, когда мой дядя женился на Корове. Когда я был мальчиком, Дедушка наставлял, что Одесса — самый красивый город в мире, потому что водка дешевая и женщины тоже. Пока Бабушка не умерла, он, бывало, запускал с ней шутихи про то, как был влюблен не в нее, а в других женщин. Она знала, что это всего лишь

шутихи, и смеялась объемисто. «Анна, — бывало, говорил он, — пойду посватаю вон ту, в розовой шапочке». А она в ответ: «За кого же ты ее посватаешь?» А он ей: «За себя». Я очень смеялся на заднем сиденье, а она говорила: «Ведь ты же не батюшка». А он на это: «Сегодня я батюшка». А она: «Ты и в Бога сегодня веруешь?» А он говорит: «Сегодня я верую в любовь». Отец распорядился никогда не упоминать Бабушку при Дедушке. «Это делает его меланхоличным, Шапка», — сказал Отец. «Не обзывай меня этим», — сказал я. «Это делает его меланхоличным, Алекс, и ему начинает казаться, что он еще слепой. Дай ему забыть». С тех пор я никогда не упоминаю о ней, потому что обычно делаю, как Отец говорит, если только не не хочу. К тому же звезданут он умеет.

Оттелефонировав мне, Отец телефонировал Дедушке проинформировать его о том, что ему предстоит быть водителем нашего путешествия. Если хотите знать, кому предстояло стать гидом, то вот ответ: там не будет никакого гида. Отец сказал, что гид не такая уж и незаменимая вещь при Дедушке, который нашпигован всякими знаниями после всех своих лет в Турах Наследия. Отец обозвал его экспертом. (Когда он его так обозвал, это прозвучало вполне разумно. Но, Джонатан, что ты об этом думаешь в люминесценции всего происшедшего?)

Когда в ту ночь мы втроем, трое Алексов, собрались в доме Отца, чтобы пособеседоваться о предстоящем путешествии, Дедушка сказал: «Я этого делать не хочу. Я человек умственно престарелый и не для того достигал умственной престарелости, чтобы снова исполнять подобное говно. Я с ним покончил». — «Плевать я хотел на твои желания», — сообщил ему Отец. Дедушка звезданул по столу с избытком насилия и крикнул: «Не забывай, кто есть кто!» Я думал, что это положит конец обмену общением. Но Отец сказал что-то странное. «Пожалуйста». А потом он сказал что-то еще страннее. Он сказал: «Отец». Должен признаться, что есть еще столько много вещей, которые я не понимаю. Дедушка возвратился в стул и сказал: «Это последний раз. Больше никогда этим заниматься не буду».

И мы сделали планы заполучения героя на львовском вокзале 2 июля, в 15:00 пополудни. Затем на протяжении двух дней нам следовало пребывать в окрестностях Луцка. «Луцк? — сказал Дедушка. — Ты ничего не говорил про Луцк». — «Луцк», — сказал Отец. Дедушка стал

в задумчивости. «Он разыскивает город, из которого пришел его дедушка, — сказал Отец. — И какую-то Августину, которая уберегла его дедушку от войны. Он жаждет написать книгу о дедушкиной деревне». — «О, — сказал я, — значит, он наделен интеллектом?» — «Нет, — поправил Отец. — Мозги у него низкопробные. Американский офис информирует меня, что он им телефонирует каждый день и фабрикует многочисленные полуумные запросы о нахождении у нас пригодной к поеданию еды». — «Колбаса будет несомненно», — сказал я. «Конечно, — сказал Отец. — Он полуумный». Здесь я повторю, что герой не полу-, а многоумный еврей. «Где этот город?» — спросил я. «Он называется Трахимброд». — «Трахимброд?» — спросил Дедушка. «Это вблизи 50 километров от Луцка, — сказал Отец. — Он обладает картой и сангвиничен в координатах. Все должно быть просто».

После того как Отец отошел на покой, мы с Дедушкой еще несколько часов продолжали лицезреть телевизор. Мы оба люди, остающиеся в сознании сильно запоздночь. (Я был на волоске к написанию, что нас обоих услаждает оставаться в сознании запоздночь, но это недостоверно.) Мы лицезрели американскую телевизионную программу с русскими словами внизу экрана. Она была про китайца, преуспевшего во владении базукой. Мы также лицезрели прогноз погоды. Погодник сказал, что на следующий день погода будет очень абнормальной, но что на следующий день после вернется в норму. Молчание промеж меня и Дедушкой можно было резать ятаганом. Единственный раз, когда кто-то из нас заговорил, было во время рекламы МакПоркбюргера из Макдоналдса: он сделал ко мне разворот и сказал: «Мне не хочется десять часов рулить в какой-то уродливый город ради того, чтобы присматривать за каким-то очень избалованным евреем».

Сотворение мира наступает часто

18 МАРТА 1791 года повозка Трахима Б одной из своих двух оглобель пригвоздила, или не пригвоздила, Трахима ко дну реки Брод. Юные двойняшки Ф первыми углядели останки повозкикрушения, всплывшие на поверхность: извивающиеся змейки белых ниток, бархатную перчатку с растопыренными пальцами, пустые катушки, зашмуценное пенсне, ягоды малины и ежевики, фекалии, рюши, осколки вдребезги разбитого пульверизатора, обрывок резолюции, истекающий алой кровью чернил: *Я обязуюсь… Обязуюсь.*

Ханна шмыгнула носом. Чана шмыгнула в холодную воду, подтянув брючины с шерстяными подвязками на концах выше колен, каждым шагом разгребая всплывающие остатки чьей-то недавней жизни. *Что ты там делаешь?* — закричал опальный ростовщик Янкель Д, ковыляя в сторону девочек по чавкающей прибрежной тине. Одну руку он протягивал Чане, а другой, по обыкновению, прикрывал нитку с нанизанной на нее одинокой костяшкой счетов — бусиной его позора. Янкель принужден был всегда носить ее на шее с тех пор, как штетл обязал его к этому специальной прокламацией. *Выходи из воды немедленно! Это добром не кончится!*

Почтенный торговец фаршированной рыбой Битцл Битцл Р наблюдал за происходящим со своего ялика, который был привязан

бечевкой к одной из раскинутых им сетей. *Это ты, что ли, Янкель? Что-то стряслось?*

Дочери Многоуважаемого Раввина затеяли резвиться в воде, — закричал Янкель с берега. — *Боюсь, как бы не случилось беды.*

Чего тут только нет! — смеялась Чана, плескаясь промеж вещиц, расцветавших вокруг нее чудесным садом. Она выудила пару кукольных ручек и пару стрелок от настенных часов. Зонтичный остов. Ключ с бородкой. Предметы появлялись из глубины на гребнях воздушных пузырей, которые лопались, едва достигнув поверхности. Чуть более младшая и чуть более безрассудная из двойняшек запускала растопыренные пятерни в воду и каждый раз извлекала что-нибудь новенькое: желтенькую юлу, мутное зеркальце, лепестки утопшей незабудки, давно забившуюся и к тому же треснувшую перечницу, пакетик каких-то семян…

Но ее чуть более старшая и чуть более осторожная сестра Ханна, которая была бы совсем от Чаны неотличима, если бы не сросшиеся брови, стояла на берегу и плакала. Опальный ростовщик Янкель Д обнял ее, прижал к груди и зашептал: *Тшш, тшш.* А потом прокричал Битцлю Битцлю: *Греби что есть мочи к Многоуважаемому Раввину и без него не возвращайся. Да еще захвати Менашу-лекаря и Исаака-правоведа. Скорее!*

Из-за дерева появился сумасшедший сквайр Софьевка Н, под чьим именем штетл впоследствии попадет на карты и в мормонские переписи. Я все видел, все видел, — истерично сказал он. — *Я могу засвидетельствовать. Повозка неслась слишком быстро, а дорогу всю развезло — кто спорит, нехорошо опаздывать к себе на свадьбу, но еще хуже опаздывать на свадьбу к той, что могла бы стать твоей женой — и потом она вдруг взяла и сама себя перевернула, а если это и не совсем точно, то скажу так—повозка не сама себя перевернула, а была сама собой перевернута порывом ветра со стороны Киева, или Одессы, или еще откуда, а если и это вызывает сомнения, то я вам скажу, что произошло — и в этом могу поклясться своим именем, незапятнанным, как белая лилия, — ангел с крыльями цвета надгробий слетел с небес, чтобы забрать Трахима с собой, потому что слишком уж хорош был Трахим для этого мира. Ну, конечно, а кто из нас не слишком? Мы все друг для друга слишком хороши.*

Трахим? — переспросил Янкель, не мешая Ханне теребить

пальчиками бусину позора. — *Трахим-сапожник из Луцка? Разве он не умер полгода назад от чахотки?*

Гляньте! — крикнула Чана, хихикая, поднимая над головой куннилингусирующего валета из скабрезной колоды карт.

Нет, — сказал Софьевка. — *Того звали Трахом, через «о». А этот через «и». Трахом помер в ночь самых длинных ночей. Нет, постойте. Постойте. Он умер, потому что был художник.*

А это! — восторженно взвизгнула Чана, поднимая на вытянутой руке поблекшую карту созвездий.

Выходи из воды немедленно! — прокричал ей Янкель, повышая голос больше, чем следовало, будь то дочь Многоуважаемого Раввина или другая девочка. — *Ты простудишься!*

Чана устремилась к берегу. Усеянная звездами карта растворилась в мутной зеленой воде, медленно поплыла в глубину и, достигнув дна, легла, как вуаль, на лошадиную морду.

Разбуженный шумом, штетл захлопал ставнями — любопытство было единственным качеством, в одинановой степени присущим всем его жителям. Происшествие случилось неподалеку от каскада небольших водопадов, как раз у той самой черты, что обозначала границу между двух секторов штетла — Еврейским Кварталом и Кварталом На-Три-Четверти Общечеловеческим. Все так называемые священнодействия, как то: занятия религией, забивание кошерных животных, торговые сделки и т. д., — происходили на территории Еврейского Квартала. Действия, так или иначе сопряженные с тщетой повседневной жизни, как то: занятие науками, вершение правосудия, купля-продажа и т. д., — происходили исключительно в Квартале На-Три-Четверти Общечеловеческом. Соединяло кварталы здание Несгибаемой Синагоги. (Возведено оно было с таким расчетом, чтобы священный ларец располагался непосредственно над зыбкой линией Еврейско/Общечеловеческого раскола, что гарантировало каждому сектору обладание одним из двух хранившихся в ларце свитков Торы.) По мере того как соотношение сакрального и мирского менялось — обычно не более, чем на волосок в ту или другую сторону, если не считать одного исключительного часа после Покаянного Погрома 1764 года, когда практически все население сделалось мирским, — менялась и зыбкая линия границы, прочерчиваемая мелом от Радзивельского леса до реки. В соответствии с этим приходилось приподнимать и

передвигать здание синагоги. Но уже в 1783 году оно было поставлено на колеса, что позволило корректировать вечно меняющиеся представления штетла о еврейском и общечеловеческом без былой натуги.

Насколько я понимаю, произошло происшествие, — пропыхтел страдавший одышкой Шлоим В, смиренный торговец антиквариатом, живший исключительно на подачки односельчан, ибо со дня безвременной кончины жены был не в силах расстаться ни с одним из своих товаров: будь то канделябры, статуэтки или песочные часы.

Как ты об этом узнал? — спросил Янкель.

Битцл Битцл прокричал мне из лодки по пути к Многоуважаемому Раввину. Я сообщил всем, кому мог, по пути сюда.

Это хорошо, — сказал Янкель. — *Нам понадобится прокламация штетла.*

Но точно ли он мертв? — спросил кто-то.

Вполне, — заверил Софьевка. — *Ничуть не живее, чем был в тот день, когда его родители впервые повстречались друг с другом. Даже, пожалуй, мертвее, потому что тогда он, по крайней мере, был ядрышком в мошонке своего отца, пустотой в чреве своей матери.*

Ты не пробовал его спасти? — спросил Янкель.

Нет.

Пусть они не смотрят, — сказал Шлоим Янкелю, указывая на девочек. Он быстро скинул с себя одежду, обнажив изрядных размеров живот и спину, густо поросшую зарослями вьющихся черных волос, и нырнул в воду. Вверх взметнулись мокрые перья, поднятые на гребне произведенной им волны. Жемчуг без ниток, зубы без десен. Сгустки крови, Мерло, треснувший хрусталь люстры. Месиво, вздымавшееся навстречу, становилось все гуще, и вскоре он перестал видеть даже собственные ладони. *Где? Где?*

Нашел ты его? — спросил правовед Исаак М, когда Шлоим вновь замаячил на поверхности. — *И можно ли определить, сколько времени он там пробыл?*

Один он был или с женой? — спросила скорбящая Шанда Т, вдова покойного философа Пинхаса Т, который в своей единственной достойной упоминания работе «К Праху: из Человека Ты Вышел — в Человека и Возвратишься» доказывал, что теоретически жизнь и искусство могли бы поменяться местами.

Мощный порыв ветра пронизал штетл насквозь, заставив его присвистнуть. Грамотеи, силившиеся постичь смысл смутных текстов в плохо освещенных комнатах, оторвали от книг головы. Влюбленные, дававшие зароки и обещания, жаждавшие изменений и извинений, разом замолкли. Одинокий красильщик свечей Мордехай К утопил руки в чане с теплым голубым воском.

Была у него жена, — вставил Софьевка, запуская левую руку вглубь переднего кармана брюк. — *Хорошо ее помню. Такие роскошные сиськи. Бог ты мой, что за сиськи! Разве их забудешь? Обалденные, видит Бог, сисечки. Я хоть сейчас готов поменять все выученные мной за жизнь слова на возможность вновь сделаться младенцем и еще раз, да, да, да, присосаться к этим титечкам. Да, поменял бы! Поменял!*

Откуда ты знаешь такие подробности? — спросил кто-то.

Однажды, когда я был еще совсем мал, отец послал меня в Ровно с поручением. Как раз в дом к этому Трахиму. Фамилия его на языке не задержалась, но отчетливо помню, что Трахим этот — через «и» — был при молодой жене с роскошными сиськами, при небольшой квартирке с кучей безделушек в ней и со шрамом не то от глаза до рта, не то от рта до глаза. Одно из двух.

ТАК ТЫ СУМЕЛ РАЗГЛЯДЕТЬ ЕГО ЛИЦО, ПОКА ОН ПРОНОСИЛСЯ МИМО НА СВОЕЙ ПОВОЗКЕ? — возопил Многоуважаемый Раввин, и двойняшки бросились ему навстречу, чтобы поскорее спрятаться в складках его талеса. — *И ДАЖЕ ШРАМ?*

А позднее, ай-яй-яй, я вновь столкнулся с ним, уже будучи молодым человеком, прилагавшим себя во Львове. Трахим доставлял персики, насколько я помню, а может быть, и сливы, к домику школьниц через дорогу. А может, он был почтальоном. Так и есть, это были любовные письма.

Теперь-то он уж точно помер, — сказал лекарь Менаша, раскрывая саквояж с медикаментами. Он извлек оттуда несколько бланков свидетельства о смерти, но вновь налетевший ветер вырвал их у него из рук и унес к верхушкам деревьев. Некоторые бланки опадут грядущим сентябрем вместе с листьями. Остальные упадут вместе с деревьями несколько поколений спустя.

Будь он до сих пор жив, его все равно не высвободить, — произнес Шлоим из-за большого камня, за которым укрывался, обсыхая. — *Пока все содержимое не всплывет, к повозке не подобраться.*

ШТЕТЛ ДОЛЖЕН ПРИНЯТЬ ПРОКЛАМАЦИЮ, — провозгласил Многоуважаемый Раввин тоном, не терпящим возражений.

Так как все-таки записать потерпевшего? — спросил Менаша, слюнявя перо.

Можем ли мы утверждать, что он был женат? — спросила скорбящая Шанда, прижимая руку к сердцу.

Может, девочки что-нибудь видели? — спросил Аврум Р, чеканщик обручальных колец, сам так ни с кем и не обрученный (хотя Многоуважаемый Раввин уверял его, что знает одну молодую особу в Лодзи, которая могла бы составить ему счастье [навеки]).

Ничего девочки не видели, — сказал Софьевка. — *Я видел, что они ничего не видели.*

На этот раз двойняшки, не сговариваясь, зарыдали дуэтом.

Но не можем же мы полностью полагаться на слова этого, — сказал Шлоим, указывая пальцем на Софьевку, который парировал выпад вполне недвусмысленным жестом.

Девочек ни о чем не спрашивайте, — сказал Янкель. — *Они и так уже натерпелись, бедняжки.*

К этому моменту практически все триста с небольшим жителей штетла подтянулись к реке, готовые поспорить о том, о чем не имели ни малейшего представления. Чем меньше житель штетла знал, тем яростнее он спорил. Это было в порядке вещей. Месяц назад вопрос стоял о том, удастся ли сформировать у детей более благоприятную картину о мире, если заделать наконец дырку в бублике. Два месяца назад жестокий и комичный спор разгорелся по вопросу о типографском станке, а еще раньше — о самосознании поляков, что кончилось для одних слезами, для других — смехом и для всех вместе — новыми вопросами. Из-за спин этих вопросов выглядывали новые, а за ними еще. Вопросы от начала времен — когда бы оно ни было, — до их конца — когда бы он ни наступил. Из *праха?* В *прах?*

БЫТЬ МОЖЕТ, — сказал Многоуважаемый Раввин, вознося руки еще выше, возвышая голос еще громче, — *НАМ ВООБЩЕ НЕ СЛЕДУЕТ НИЧЕГО УЛАЖИВАТЬ. ЧТО, ЕСЛИ МЫ ОСТАВИМ СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕРТИ НЕЗАПОЛНЕННЫМ? ЧТО, ЕСЛИ МЫ, СОГЛАСНО ОБРЯДУ, ПРЕДАДИМ ТЕЛО ЗЕМЛЕ, СОЖЖЕМ ВСЕ, ЧТО ПРИБЬЮТ К БЕРЕГУ ВОЛНЫ, И ПОЗВОЛИМ ЖИЗНИ ПРОДОЛЖАТЬ СВОЕ ТЕЧЕНИЕ ВОПРЕКИ ЭТОЙ СМЕРТИ?*

Но без прокламации не обойтись, — сказала Фройда Й, торговка сладостями.

Обойтись, если штетл примет соответствующую прокламацию, — уточнил Исаак.

Может, все-таки следует сообщить его жене, — сказала скорбящая Шанда.

Может, все-таки следует заняться сбором останков, — сказал дантист Елизар З.

В разгар спора маленькая Ханна высунула голову из-под бахромы отцовского талеса, но ее голосок едва не потонул в общем гуле:

А я что-то вижу.

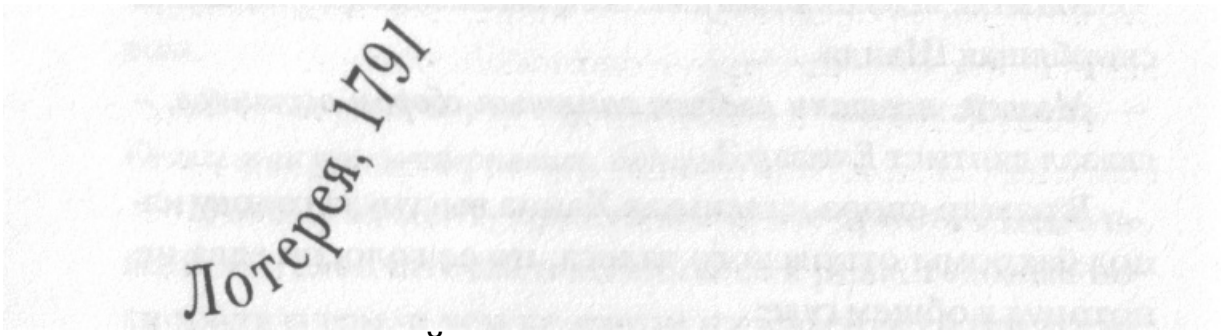
ЧТО? — спросил ее отец, утихомиривая собравшихся. — *ЧТО ТЫ ВИДИШЬ?*

Вон там, — указывая пальчиком на взбаламученную воду.

Там, посреди ниток и перьев, в окружении свечей, намокших спичек, пташек, пешек и шелковых кисточек, вздрагивавших, как медузы, колыхалась на волнах новорожденная девочка, все еще блестящая от слизи, все еще нежно-розового цвета — цвета сливовой мякоти.

Двойняшки растворились под талесом отца, точно призраки. Лошадь на дне реки, укутанная в саван затонувшего ночного неба, сомкнула тяжелые веки. Доисторический муравей в янтаре Янкелева кольца, пребывавший там без движения задолго до того, как Ной начал сколачивать свой ковчег, спрятал голову между своих многочисленных лапок, чтобы не сгореть от стыда.

Лотерея, 1791



НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ СПУСТЯ Битцл Битцл Р с группой крепких парней из деревни Колки выволок-таки повозку на берег; еще ни разу его сетям не доводилось приносить столько добычи. Однако среди останков тело так и не было обнаружено. На протяжении последующих ста пятидесяти лет штетл будет проводить ежегодное состязание по «поиску» Трахима, хотя приз за победу специальная прокламация упразднит уже в 1793 году по настоянию Менаши, который заявит, что после двух лет в воде всякий труп начинает распадаться на части, а значит, поиск его не только утрачивает смысл, но и чреват препротивными — и еще того хуже — множественными находками, что невероятно усложнит процедуру выявления победителя, поэтому состязание превратилось скорее в празднество, для которого несколько поколений вспыльчивых пекарей П выпекали особые мучные угощения, а девочки штетла наряжались подобно двойняшкам в тот судьбоносный день: шерстяные брючки с подвязками на концах и холщевые блузки с круглыми воротничками, отороченными голубой бахромой. Мужчины съезжались из дальнего далека, чтобы нырнуть в воду вслед за парусиновыми мешками, которые бросала в Брод Царица Реки. Мешки были набиты землей — все, кроме одного, с золотом.

Находились и те, кто полагал, что Трахима отыскать не удастся, что течение, вечно перемещавшее с места на место песок и гальку, позаботилось о его погребении. Совершая свои ежемесячные кладбищенские обходы, эти люди приносили на берег камушки и говорили что-то типа:

> *Бедный Трахим. Не довелось мне его хорошенько узнать. А мог бы.*

или

Мне тебя не хватает, Трахим. Хоть мы и не встречались.

или

Спи, Трахим, спи. И храни нашу мельницу от напастей.

Находились и те, кто считал, что Трахима не пригвоздило к речному дну одной из двух оглобель повозки, а унесло в открытое море вместе с самым главным его секретом, закупоренным в нем, как любовное послание в бутылке, на которую во время романтической освежающей прогулки суждено наткнуться однажды утром ничего не подозревающим влюбленным. Не исключено, что он или какая-нибудь его часть были выброшены на пляж Черного моря или на берег Рио, а то и добрались до самого Эллис Айленда.

А может, нашла и приютила его какая-нибудь вдова: купила ему удобное кресло, переодевала свитер каждое утро, брила щеки, покуда щетина не перестала расти, укладывала рядом с собой в постель каждый вечер, нашептывала сладкие глупости в пустоту, что некогда была ухом, смеялась вместе с ним за чашечкой черного кофе, плакала вместе с ним над желтеющими фотографиями, предлагала завести детей в приступе зеленой тоски, скучала по нему перед тем, как самой заболеть, завещала ему все свое состояние, думала только о нем на смертном одре, хоть и знала, что все сама себе нафантазировала, но верила все равно.

Иные утверждали, что тела и вовсе не было. Трахим, мошенник, задумал умереть, не умирая. Он нагрузил повозку скарбом, доехал до неприметного безымянного штетла (который вскоре прославится по всей Восточной Польше своим ежегодным празднеством, Днем Трахима, и станет носить его имя, как сиротка, ибо на карты и в мормонские переписи он попадет под именем Софьевка), в последний раз потрепал по гриве свою безымянную кобылу и пришпорил ее с обрыва в омут. Бежал ли он от долгов? От нежеланной, устроенной по сговору, женитьбы? От вранья, в котором сам запутался? И стала ли эта смерть важной вехой на его жизненном пути?

Конечно, нельзя забывать и тех, кто нажимал на умственную неполноценность Софьевки, на то, как он целыми днями сидит нагишом

в фонтане распростертой русалки, оглаживая одной рукой ее чешуйчатый тухес с таким трепетом, будто это не тухес, а головка новорожденного, оглаживая другой рукой свою собственную головку с таким видом, будто нет в мире ничего более естественного, чем кончать в кулак — неважно где и при каких обстоятельствах. Или как однажды его обнаружили на лужайке перед домом Многоуважаемого Раввина, с ног до головы обмотанного белыми нитками, и как он сказал, что завязал узелок на указательном пальце, чтобы не забыть нечто необычайно важное, но потом, боясь забыть про указательный палец, завязал другой узелок на мизинце, затем еще один — от шеи до талии, — но, опасаясь, что и этого будет недостаточно, протянул узелки от уха — через зуб — вокруг мошонки — к пятке, рассчитывая, что таким образом тело станет служить ему напоминанием о теле, но оно почему-то служило напоминанием только об узелках. Заслуживает ли его рассказ доверия?

А младенец? Моя пра-пра-пра-пра-прабабушка? Это еще запутаннее: ведь сравнительно легко найти объяснение тому, как жизнь в реке может оборваться, а вот как она может из нее возродиться?

Гарри В, непревзойденный логик и доморощенный извращенец, потративший столько лет (и с таким ничтожным результатом, что и вообразить трудно) на сочинение своего программного опуса «Сонм Приподнятых», в котором (как он считал) содержались неопровержимые логические доказательства того, что Бог без разбора любит даже неразборчивого любовника, — выдвинул многословную гипотезу о наличии в обреченной повозке еще одного человека: а именно Трахимовой жены. Допустим, развивал свою гипотезу Гарри, у нее стали отходить воды в тот самый момент, когда чета остановилась подкрепиться крутыми яйцами на лугу между двух штетлей; допустим также, что Трахим погнал лошадь с недопустимой быстротой, торопясь доставить жену к лекарю до того, как младенец, извиваясь, выпрыгнет из материнского чрева, точно трепещущий пескарь из пятерни рыболова. Когда же по все нарастающим волнообразным крикам он понял, что начались схватки, Трахим повернулся к жене, коснулся, предположим, своей мозолистой ладонью ее нежного личика, перестал, предположим, следить за извилистой дорогой и, сам того не заметив, съехал в реку. Допустим, повозка перевернулась, придавив собой пассажиров, но все же в какой-то момент между последним вздохом

матери и отчаянной попыткой отца высвободиться и всплыть на поверхность успел родиться ребенок. Все можно допустить. Но даже Гарри не мог найти объяснения тому, куда в таком случае подевалась пуповина.

В Дымках Ардиштов, этом клане мастеровых курильщиков из Ровно (куривших так много, что, даже когда они не курили, изо рта у них валил дым), приговоренных особой прокламацией штетла к существованию на крышах в качестве кровельщиков и трубочистов, — в Дымках Ардиштов свято верили, что моя пра-пра-пра-пра-прабабушка и была реинкарнацией Трахима. В минуту Страшного суда, когда распластанное Трахимово тело уже явлено было пред очи Хранителя величественных стрельчатых Ворот, выяснилось, что произошло недоразумение. Не все дела были доведены до конца. Душа оказалась не готова покинуть тело и была отослана назад, давая новому владельцу шанс исправить ошибки своего ближайшего предка. Смысла в этом, конечно, нет никакого. А где он есть?

Однако Многоуважаемого Раввина значительно больше волновало будущее малютки, нежели прошлое, и он не предложил никакого официального объяснения ее появлению ни штетлу, ни в *Книге Былого*, а просто взял ее под свою опеку до той поры, покуда не сыщется для нее постоянного пристанища. Он принес ее в здание Несгибаемой Синагоги, ибо когда-то поклялся, что даже ножка новорожденного не ступит в здание Синагоги Падших (где бы на тот момент она ни оказалась), и устроил ей временную колыбель в священном ковчеге, над которым мужчины в длинных черных лапсердаках продолжали истошно вопить молитвы. *СВЯТ, СВЯТ, СВЯТ ГОСПОДЬ СИЛ! МИР ПОЛНИТСЯ ЕГО СЛАВОЙ!*

Вопить прихожане Несгибаемой Синагоги принялись двести с лишним лет назад, с тех пор, как Досточтимый Раввин разъяснил им, что на протяжении всей нашей жизни мы постоянно идем ко дну и что молитвы, по сути, являются зовом о помощи, посылаемым из глубины спиритуальных вод. *И ЕСЛИ НАШЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СТОЛЬ ОТЧАЯННО,* говорил Досточтимый Раввин (начиная каждую фразу с неизменного «и», как будто то, что облекалось им в слова, было логическим продолжением его самых сокровенных раздумий), *НЕ НАДЛЕЖИТ ЛИ НАМ И ВЕСТИ СЕБЯ ПОДОБАЮЩЕ? НЕ НАДЛЕЖИТ ЛИ НАМ И ЗВУЧАТЬ, КАК ЛЮДЯМ, ПОПАВШИМ В*

ОТЧАЯННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ? И они завопили и вопили с тех пор без умолку на протяжении двухсот лет.

Вопили они и сейчас, не давая малышке и минуты покоя, раскачиваясь (в одной руке — молитвенник, в другой — веревка) над колыбелью на блоках, пристегнутых к их поясам, царапая потолок тульями своих черных шляп. *И ЕСЛИ МЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ХОТИМ ПРИБЛИЗИТЬСЯ К БОГУ,* разъяснял Досточтимый Раввин, *НЕ НАДЛЕЖИТ ЛИ НАМ И ВЕСТИ СЕБЯ ПОДОБАЮЩЕ? НЕ НАДЛЕЖИТ ЛИ НАМ И В САМОМ ДЕЛЕ ПРИБЛИЗИТЬСЯ?* В этом был определенный смысл. А накануне Иом Кипура, святейшего из праздников, в зазор под синагогальной дверью влетела муха и принялась свисающим прихожанам досаждать. Перелетая с лица на лицо, она жужжала, присаживалась на длинные носы, влезала в поросшие волосами уши. *И ЕСЛИ НАМ СВЫШЕ НИСПОСЛАНО ИСПЫТАНИЕ,* разъяснял Досточтимый Раввин, стараясь не растерять внимания собравшихся, *НЕ НАДЛЕЖИТ ЛИ НАМ ПРОЙТИ ЧЕРЕЗ НЕГО С ДОСТОИНСТВОМ? И НАСТОЯТЕЛЬНО ВАС ПРОШУ: НЕ ВЫПУСКАЙТЕ ИЗ РУК ВЕЛИКУЮ КНИГУ, ПОКУДА НЕ РУХНЕТЕ НА ЗЕМЛЮ!*

Но до чего же докучлива была муха, щекотавшая самые щекотливые места. *И КАК БОГ ПРИЗВАЛ АВРААМА УКАЗАТЬ ИСААКУ НА ОСТРИЕ НОЖА, ТАК И НАС ПРИЗЫВАЕТ ОН ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ ПОЧЕСЫВАНИЯ ЗАДОВ! И ЕСЛИ КОМУ НЕВТЕРПЕЖ — ЧЕШИТЕ, НО ТОЛЬКО, ВО ИМЯ ВСЕГО СВЯТОГО, ЛЕВОЙ РУКОЙ!* Одна половина поступила именно так, как разъяснял Досточтимый Раввин: выпустила сначала веревку, а потом уже Великую Книгу. Это были предшественники прихожан Несгибаемой Синагоги, чьи потомки на протяжении двухсот последующих лет ходили, утрированно прихрамывая, чтобы напоминать себе (но, что еще важнее — окружающим), как они прошли через Испытание: дескать, Священное Слово возобладало. (*ПРОСТИТЕ, РЕБЕ, О КАКОМ ИМЕННО СЛОВЕ ИДЕТ РЕЧЬ?* Досточтимый Раввин шлепает воспитанника обратным концом указки, за мгновение до этого скользившей по строчкам Торы: *И ТЫ ЕЩЕ ОСМЕЛИВАЕШЬСЯ СПРАШИВАТЬ!..*) Некоторые Несгибанцы зашли так далеко, что вообще перестали ходить, подчеркивая этим драматизм падения. Это, конечно, лишало их возможности посещать синагогу. *НАШИ*

МОЛИТВЫ — В ОТСУТСТВИИ МОЛИТВЫ, — говорили они. *НАША ВЕРНОСТЬ ЗАПОВЕДЯМ — В ИХ НАРУШЕНИИ.*

Те, кто предпочел выпустить молитвенник и благодаря этому не упал, стали предшественниками прихожан Синагоги Падших (прозванных так Несгибанцами). Они вечно теребили бахрому, специально пришиваемую к манжетам своих рубах, с тем, чтобы напоминать себе (но, что еще важнее — окружающим), как они прошли через Испытание: дескать, наши веревки всегда при нас, а *дух* Священного Слова все равно возобладает. (*Простите, но хоть один человек знает, о каком Священном Слове мы говорим?* Все недоуменно пожимают плечами и возвращаются к прерванному спору о том, как лучше разделить тринадцать ватрушек на сорок три человека.) Именно обычаи Падших претерпели изменения: на смену блокам пришли подушки; на смену молитвенникам на иврите — молитвенники на куда более понятном идиш; на смену Раввину — совместно проводимые службы и дискуссии, заканчивавшиеся (но еще чаще прерывавшиеся) застольем, выпивкой и сплетнями. Несгибанцы смотрели на Падших свысока, а те, похоже, готовы были пожертвовать любым еврейским законом в угоду тому, что они расплывчато называли *великим и необходимым примирением религии с жизнью*. Несгибанцы поносили Падших последними словами и грозили им вечными муками в лучшем из миров за их стремление к комфорту в этом. Но подобно молочнику Шмулю Ш, страдавшему хроническим гайморитом, Падшие на Несгибанцев чихать хотели. Вообще, за исключением тех редких случаев, когда они начинали напирать с противоположных сторон на стены синагоги, стремясь сделать штетл более набожным или более мирским, Несгибанцы и Падшие научились жить, полностью игнорируя друг друга.

Шесть дней подряд жители штетла, как Несгибанцы, так и Падшие, провели в очередях у входа в Несгибаемую Синагогу, чтобы поглядеть на мою прародительницу. Многие приходили по несколько раз. Мужчины могли обследовать малышку вблизи, потрогать ее, поагукать, даже подержать на руках. Женщин, естественно, внутрь Несгибаемой Синагоги не допускали, ибо, как давным-давно разъяснил Досточтимый Раввин, *И КАК ЖЕ УСТРЕМЛЯТЬСЯ НАМ К БОГУ СЕРДЦЕМ И УМОМ, ЕСЛИ ИНОЙ НАШ ОРГАН ТОЛКАЕТ НАС К НИЗМЕННЫМ ПОМЫСЛАМ САМИ ЗНАЕТЕ О ЧЕМ?*

Казалось, разумного компромисса удалось достичь в 1763 году, когда женщинам было позволено молиться в сыром и тесном синагогальном подполе под специально устроенным стеклянным полом. Но очень скоро мужчины, болтавшиеся над этим полом, стали переводить свои взоры со страниц Великой Книги на хоровод вырезов внизу. Черные брюки внезапно сделались тесны; столкновения и раскачивания участились; *иные органы* вторглись в фантазии *сами знаете о чем* и теперь грозили прорвать ткань святейшей из молитв: *СВЯТ, СВЯТ, СВЯТ ВСЕХ ПОДРЯД ГОСПОДЬ СИЛ! МИР ПОЛНИТСЯ ЕГО СЛАВОЙ!*

Досточтимый Раввин разъяснил сие недоразумение в одной из своих многочисленных послеполуденных проповедей. *И ДАВАЙТЕ ЖЕ ВСПОМНИМ МУДРЕЙШУЮ ИЗ БИБЛЕЙСКИХ ПРИТЧ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ РАЯ И АДА. И СОЗДАЛ БОГ НА ВТОРОЙ ДЕНЬ — КАК ВСЕ МЫ ЗНАЕМ, А ЕСЛИ НЕ ЗНАЕМ, ТО ДОЛЖНЫ, — ДВЕ ПРОТИВОСТОЯЩИХ ДРУГ ДРУГУ СФЕРЫ: СФЕРУ РАЯ И СФЕРУ АДА, КУДА ВСЕМ НАМ, ВКЛЮЧАЯ И ПАДШИХ — ЧТОБ ИМ ВЕК ОТ ПОТА НЕ ПРОСЫХАТЬ, — РАНО ИЛИ ПОЗДНО СУЖДЕНО ПЕРЕСЕЛИТЬСЯ. И НО НЕ СЛЕДУЕТ ЗАБЫВАТЬ, ЧТО НА СЛЕДУЮЩИЙ, ТРЕТИЙ, ДЕНЬ ВЗГЛЯНУЛ БОГ НА ДЕЛО РУК СВОИХ И УВИДЕЛ, ЧТО РАЙ ВЫШЕЛ У НЕГО НЕ СОВСЕМ ТЕМ РАЕМ, НА КОТОРЫЙ УПОВАЛ ОН В СВОИХ МОЛИТВАХ ДА И АД ПОЛУЧИЛСЯ НА АД НЕПОХОЖ. И ТОГДА, СОГЛАСНО МЕНЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ И ТРУДНОПОСТИЖИМЫМ ТЕКСТАМ, ОН, ОТЕЦ ВСЕХ ОТЦОВ, ПОДНЯЛ ЗАВЕСУ МРАКА, РАЗДЕЛЯВШУЮ ПРОТИВОСТОЯЩИЕ СФЕРЫ, ДОЗВОЛИВ БЛАЖЕННЫМ И ГРЕШНИКАМ УЗРЕТЬ ДРУГ ДРУГА ЧЕРЕЗ ОКНО.И, КАК ОН И РАССЧИТЫВАЛ, БЛАЖЕННЫЕ ВОЗРАДОВАЛИСЬ ПРИ ВИДЕ МУК ГРЕШНИКОВ, И РАДОСТЬ ИХ ВОЗРОСЛА ПРЕД ЛИКОМ ПЕЧАЛИ.И ГРЕШНИКИ УВИДЕЛИ БЛАЖЕННЫХ, УВИДЕЛИ РАКОВЫЕ ШЕЙКИ И ПРОШЮТО, УВИДЕЛИ, ЧЕМ НАБИВАЮТСЯ ЗАДНИЦЫ МЕНСТРУИРУЮЩИХ ШИКС, И СОВСЕМ О СЕБЕ ПОЖАЛЕЛИ.И УВИДЕЛ БОГ, ЧТО ТАК ОНО ХОРОШЕЕ. И НО ВСКОРЕ ОКНО СДЕЛАЛОСЬ ЧЕРЕСЧУР БОЛЬШИМ ИСКУШЕНИЕМ. ВМЕСТО ТОГО ЧТОБЫ ВКУШАТЬ ПРЕЛЕСТИ РАЙСКОГО ЦАРСТВА, БЛАЖЕННЫЕ УПИВАЛИСЬ ЗРЕЛИЩЕМ АДСКИХ ЖЕСТОКОСТЕЙ.И ВМЕСТО ТОГО ЧТОБЫ ОТ ЭТИХ ЖЕСТОКОСТЕЙ*

СТРАДАТЬ, ГРЕШНИКИ ТЕШИЛИ СЕБЯ СОЗЕРЦАНИЕМ РАЙСКИХ БЛАЖЕНСТВ.И СО ВРЕМЕНЕМ ТЕ И ДРУГИЕ ДОСТИГЛИ ПОЛНОГО РАВНОВЕСИЯ, ПРОДОЛЖАЯ ЗАВОРОЖЕННО ГЛЯДЕТЬ ДРУГ НА ДРУГА И НА САМИХ СЕБЯ.И ОКНО ПРЕВРАТИЛОСЬ В ЗЕРКАЛО, ОТ КОТОРОГО НИ БЛАЖЕННЫЕ, НИ ГРЕШНИКИ НЕ В СОСТОЯНИИ БЫЛИ ОТВЕСТИ ВЗОРЫ. И ТОГДА БОГ ВНОВЬ ОПУСТИЛ ЗАВЕСУ, НАВЕКИ ЗАКРЫВ ВРАТА МЕЖДУ ЦАРСТВАМИ, И ТАК ЖЕ И НАМ НАДЛЕЖИТ ПОСТУПИТЬ С НАШИМ ИСКУСИТЕЛЬНЫМ ОКНОМ: ЗАДЕРНУТЬ ЗАВЕСУ МЕЖДУ ЦАРСТВАМИ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН.

Подпол затопили отстойными водами реки Брод, а в торцовой стене синагоги продолбили отверстие размером с яйцо, через которое женщины, одна за другой, могли лицезреть священный ковчег и болтающиеся над ним мужские пятки, нередко изгвазданные в дерьме, хотя и без дерьма оскорблений было предостаточно.

Через это отверстие женщины штетла и рассматривали поочередно мою пра-пра-пра-пра-прабабушку. Озадаченные удивительно взрослыми чертами чада (верный знак дьявольских происков), многие из них пребывали в убеждении, что она не чадо, а исчадье. Но всего вероятнее, что на эти мысли навело их отверстие. На таком расстоянии и в такой неудобной позе (ладони вдавлены в стену, глаз внутри полого яйца) у них не было возможности удовлетворить ни один из своих материнских инстинктов. К тому же отверстие было слишком мало, чтобы вместить малышку целиком, поэтому им приходилось мысленно собирать ее в целое из разрозненных мозаичных фрагментов: вот пальчики, переходящие в ладошку, переходящую в запястье, переходящее в предплечье, воткнутое в плечевой сустав… Они возненавидели ее недостижимость, непостижимость, всю ее целиком.

На седьмой день Многоуважаемый Раввин заплатил четыре куриных ляжки и горсть синих камушков кошачьего глаза за то, чтобы в еженедельном информационном листке Шимона Т увидело свет следующее объявление: что по доселе не выясненной причине в штетл был подброшен младенец, что он вполне очарователен, воспитан и даже не воняет и что, заботясь о благе младенца, равно как и своем собственном, Многоуважаемый Раввин решительно намерен отдать его любому добропорядочному мужчине, готовому назвать его своей дочерью.

На следующее утро он обнаружил пятьдесят две записочки, распушенные, как петушиные перья, под входной дверью Несгибаемой Синагоги.

От изготовителя всяческих безделушек из медной проволоки Пешеля С, овдовевшего всего через два месяца после свадьбы, в день Погрома Порванных Одежд: *Если не ради девочки, то ради меня. Человек я добропорядочный и кое-чего заслуживаю.*

От одинокого красильщика свечей Мордехая К, чьи руки обтягивали несмываемые восковые перчатки: *Весь день я один-одинешенек у себя в мастерской. Не останется после меня свечных красильщиков. Не знаю, складно ли я выражаюсь.*

От безработного Падшего Лампла В, который расслаблялся на Пасху не потому, что того требовал обычай, а потому что с какой стати эта ночь должна отличаться от всех других? *От совершенства я, конечно, далек, но отцом буду отличным, и вы это знаете.*

От покойного философа Пинхаса Т, которого стукнуло по голове обвалившимся на мельнице брусом: *Верни ее в реку, отпусти ее ко мне.*

В маленьких, больших и даже неохватных вопросах еврейской веры Многоуважаемому Раввину не было равных: когда дело касалось религии, он разрешал казавшиеся неразрешимыми проблемы путем обращения к самым туманным, не поддающимся расшифровке текстам; но о самой жизни он мало что знал, и поэтому — равно как и потому, что в древних книгах ничего не говорилось о младенце, и еще потому, что не у кого было спросить совета (да и на что это будет похоже, если он, источник всевозможных советов, сам отправится за советом?), потому что младенец попал к нему из жизни, был жизнью, он совершенно не знал, как ему поступить. *ВСЕ ОНИ ЛЮДИ ПРИЛИЧНЫЕ, —* размышлял он. *ЗВЕЗД С НЕБА, МОЖЕТ, И НЕ ХВАТАЮТ, НО ВПОЛНЕ СЕРДОБОЛЬНЫЕ.КТО НЕ ЗАСЛУЖИВАЕТ ЕЕ МЕНЬШЕ ОСТАЛЬНЫХ?*

ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ — НИЧЕГО НЕ РЕШАТЬ, решил он и высыпал записки к ней в колыбель, дав зарок отдать мою пра-пра-пра-пра-пра-бабушку (а значит, в известной степени, и меня) автору той, которой она первой коснется. Но она не коснулась ни одной. Она и глазом в их сторону не повела. Она два дня пролежала не шелохнувшись, ни разу не заплакав, не разомкнув губ даже для еды. Мужчины в черных шляпах продолжали вопить молитвы со своих

блоков (*СВЯТ, СВЯТ, СВЯТ…*), продолжали раскачиваться над перемещенной Брод, продолжали сжимать Великую Книгу крепче веревок, вознося молитвы о том, чтобы кто-нибудь внял их молитвам, пока однажды, посреди ранней вечерней службы, достопочтимый торговец фаршированной рыбой Битцл Битцл Р не возопил о том, о чем все уже давно только и думали: *РАЗВЕ МОЖНО ПРИБЛИЗИТЬСЯ К БОГУ, НАХОДЯСЬ В ТАКОЙ БЛИЗОСТИ К ГОВНУ!*

Многоуважаемый Раввин не нашелся, что возразить и приостановил молитвы. Он опустился на застекленный пол и приоткрыл священный ковчег. Чудовищное зловоние вырвалось оттуда — всепроникающий, тошнотворный, нечеловеческий смрад, венец омерзения. Он вытек из священного ковчега, заполнил собой синагогу, разлился по всем улицам и закоулкам штетла, проник под каждую подушку в каждой спальне (просочившись на вдохе в ноздри спящих и до выдоха успев пораспугать их сладкие сны) и стек, в конце концов, в Брод.

Младенец по-прежнему молчал и не шевелился. Многоуважаемый Раввин поставил колыбель на пол, извлек из нее единственную пропитанную дерьмом записку и возгласил: *ПОХОЖЕ, ДЕВОЧКА ВЫБРАЛА СЕБЕ В ОТЦЫ ЯНКЕЛЯ!*

Мы оказались в хороших руках.

20 июля 1997
Дорогой Джонатан,

Уповаю написать это письмо хорошо. Как ты знаешь, я с английским непервосортен. По-русски идеи выражаются мной абнормально хорошо, но второй мой язык не такой высшей пробы. Я навставлял вещей, как ты меня проконсультировал, и истерзал тезаурус, который ты мне презентовал, как ты меня проконсультировал, когда мои слова выглядели слишком миниатюрно или неподобающе. Если тебя не радует исполненное мной, приказываю отправить его обратно. Я буду горбатить над ним с упорством, пока ты не будешь умиротворен.

Я окружил конвертом запрошенные тобой вещи, не утая открыток с видами Луцка, гроссбуха переписи населения шести деревень до перед войной и фотографий, которые ты оставил мне на хранение из осторожных целей. Это было очень-очень-очень правильно, скажешь нет? Я должен съесть кусок пирога позора за то, что случилось с тобой в поезде. Я знаю, какой знаменательной была для тебя, для нас обоих, эта коробка, и знаю, что ее содержимое не заменить. Воровство — постыдная вещь, но вещь, которая то и дело случается с людьми в украинских поездах. Поскольку имя укравшего коробку охранника не налипло на пальцы, добиться ее возвращения будет невозможно, и тебе следует признать, что она потеряна навсегда. Только, пожалуйста, не допусти, чтобы твои впечатления от Украины повредили твоему представлению об Украине, которое пускай остается как о суперклевой бывшей советской республике.

Пользуюсь случаем, чтобы изречь тебе мою благодарность за твое долготерпение и стоицизм в отношении меня во время нашего путешествия. Возможно, ты подсчитывал на переводчика с бóльшими способностями, а я знаю, что сработал посредственно. Мне следует съесть кусок пирога позора за то, что мы не нашли Августину, но ведь ты ухватываешь, как это было емкотрудно. Возможно, будь в нашем распоряжении больше дней, мы смогли бы ее обнаружить. Мы бы расследовали все шесть деревень и допросили много жителей. Мы бы

сдвинули с мест все камни. Но мы уже столько раз все это изрекали.

Спасибо за репродукцию фотографии Августины с семьей. Я бесконечно раздумывал про то, что ты сказал, как в нее влюбляешься. По правде, я в это недопроник, когда ты изрек это в Украине. Но я уверен, что теперь допроник. Я экзаменую ее один раз, когда утро, и один раз перед тем, как отправляюсь производить храпунчики, и в каждом случае открываю что-нибудь новое: как ее волос отбрасывает тени или как ее губы суммируют углы.

Я до того счастлив, что ты остался умиротворен первым разделом, который я тебе отпочтовал. Ты должен знать, что я исполнил исправления, которые ты затребовал. Я приношу извинения за последнюю строчку про то, как ты очень избалованный еврей. Она изменена и теперь гласит: «Мне не хочется десять часов рулить в какой-то уродливый город, чтобы присматривать за каким-то избалованным евреем». Я растянул первую часть о себе и выбросил слово «негры», как ты распорядился, хотя я, правда, к ним очень привязан. Мне радостно, что ты усладился предложением «Когда-нибудь и ты станешь делать для меня вещи, которые ненавидишь. Это потому, что мы семья». Однако должен осведомиться: что такое трюизм?

Я обмозговал твои слова о том, чтобы сделать часть о моей бабушке более растянутой. Поскольку ты прочувствовал это с такой силой тяжести, я решил, что будет о'кей включить те части, которые ты мне отпочтовал. Не могу сказать, что я высидел эти вещи, но могу сказать, что вожделел бы быть человеком, способным к высиживанию подобных вещей. Они очень красивые, Джонатан, и я почувствовал в них правду.

И спасибо, не могу не изречь, за то, что не упомянул неистину о том, какой я высокий. Я подумал, что это было бы превосходнее, если бы я был высоким.

Я усилился исполнить следующий раздел, как ты распорядился, заостряясь вниманием на всем, чему ты меня научил. Я также предпринял попытку быть неочевидным или чересчур утонченным, как ты мне продемонстрировал. В относительности валюты, которую ты приложил, должен тебя проинформировать, что я продолжу писать даже в ее отсутствие. Для меня громадная честь — писать для писателя, особенно когда писатель американский, как Эрнст Хемингуэй

или ты.

И упоминая твое сочинение: «Сотворение Мира Наступает Часто» было очень возвышенным началом. Некоторые части остались для меня непонятными, но я полагаю это потому, что они очень еврейские, и только еврейский человек способен понять что-то настолько еврейское. Вы потому считаете себя народом-избранником, что никто, кроме вас, не понимает шутих, которые вы про себя запускаете? По этому разделу у меня есть один небольшой вопрос, а именно: знаешь ли ты, что многие имена, которыми ты пользуешься, для Украины неверны? Имя Янкель я слышал, и Ханна тоже, но остальные очень странные. Ты их изобрел? Должен тебя проинформировать, что подобных накладок было много. Это потому, что ты юмористический писатель, или потому, что неосведомленный?

Никаких дополнительных ярких замечаний у меня нет, потому что мне необходимо обладать продолжением романа, чтобы быть ярким. Для настоящего времени, уведомляю тебя, что я в восхищении. Хочу известить, что даже после того, как ты презентуешь мне продолжение, я могу не изречь ничего глубокомысленного, но, несмотря на это, возможно, не буду совсем бесполезным. Возможно, если я сочту, что какие-то вещи звучат полуумно, я смогу тебе об этом сообщить, и ты сделаешь их полностью умными. После всего, о чем ты меня проинформировал, я уверен, что с удовольствием прочту останки и буду думать о тебе возвышеннее, если это вообще возможно. А, да, что такое куннилингус?

А теперь к небольшому личному делу. (Ты можешь пропустить эту часть, если она делает тебя скучным человеком. Я это пойму, хотя лучше меня об этом не информировать.) Дедушке нездоровится. Он окончательно изменил свое место жительства на наше. Он отходит на покой в постели Игорька вместе с Сэмми Дэвис Наимладшей, а Игорек отходит на покой на софе. Игорька это не нервирует, потому что он очень хороший мальчик и понимает намного больше, чем все мы думаем. У меня есть мнение, что Дедушка нездоров от меланхолии и что он слепой от меланхолии, хотя слепой он, конечно, не по-настоящему. Его меланхолия значительно усилилась после нашего возвращения из Луцка. Как ты знаешь, он был очень придавлен из-за Августины, даже больше, чей мы с тобой. Не говорить про Дедушкину меланхолию с Отцом все емкотруднее, потому что мы оба не раз

заставали его в слезах. Прошлой ночью мы сидели насестом за столом в кухне. Мы ели черный хлеб и собеседовались об атлетике. Сверху до нас доносился звук. Комната Игорька как раз над нами. Я был уверен, что мы слышим плач Дедушки, и Отец тоже был в этом уверен. Еще мы слышали тихую чечетку по потолку. (Когда все в норме, чечетка отличная, как у Днепропетровских Морячков, которые напрочь глухие, но эта чечетка меня не возбуждала.) Мы изо всех сил старались ее не замечать. Звук выдвинул Игорька из его покоя, и он пришел на кухню. «Привет, Неуклюжина», — сказал Отец, потому что Игорек снова пал и снова осинил себе глаз, на этот раз левый. «Я бы тоже хотел поесть черный хлеб», — сказал Игорек, не глядя на Отца. Хоть ему всего тринадцать, почти четырнадцать, он очень сообразительный. (Ты единственный человек, для которого я это отметил. Пожалуйста, ни для кого больше это не отмечай.)

Надеюсь, у тебя все хорошо и у тебя в семье все здоровы и процветают. Мы стали совсем как друзья, пока ты был в Украине, да? В другом мире мы могли бы быть настоящими друзьями. Я буду с нетерпением ждать твоего следующего письма и с нетерпением ждать следующего раздела романа. Я чувствую, что обвязан необходимостью снова съесть кусок пирога позора (у меня в животе скоро не останется места) за новый раздел, которым тебя одаряю, но пойми, что я старался наилучшайше и сделал лучшее из того, что мог, что было лучшим из того, что я мог бы сделать. Мне это так емкотрудно. Пожалуйста, будь правдив, но также, пожалуйста, будь великодушен, пожалуйста.

Бесхитростно,
Александр

Увертюра к встрече с героем и потом встреча с героем

КАК Я ПРЕДВКУШАЛ, мои подружки очень огорчились, что я не окажусь с ними для празднования первого дня рождения новой конституции. «Ночь Напролет, — сказала мне одна из подружек, — как мне предполагается удовлетворять себя в твоей пустоте?» Я имел понятие. «Бэби, — сказала мне другая из подружек, — это нехорошо». Я им всем сообщил: «Если возможно, я был бы здесь, только с тобой, навеки. Но я мужчина горбатящий и должен идти, куда велит долг. Нам необходима валюта для знаменитых ночных клубов, да? Это ради тебя я совершаю вещи, которые ненавижу. Вот что значит любить. Поэтому не нервируй меня». Но для правдивости, я ни на малейшую долю не печалился отправляться в Луцк, чтобы переводить для Джонатана Сафрана Фоера. Как я упомянул раньше, у меня обыкновенная жизнь. Но я никогда не был в Луцке или какой-либо из многообразных миниатюрных деревень, которые сохранились после войны. Я жаждал увидеть новые вещи. Я жаждал объемистых переживаний. И я знал, что буду наэлектричен встречей с американцем.

«Тебе надо взять с собой еду для дороги, Шапка», — сказал мне Отец. «Не обзывай меня этим», — сказал я. «А также питье и дорожные карты, — сказал он. — До Львова, где на вокзале вы подберете еврея, ехать возле десяти часов». — «Сколько валюты я получу за свои труды?» — осведомился я, потому что этот запрос давил на меня с избыточной силой тяжести. «Меньше, чем ты думаешь, что заслуживаешь, — сказал он, — и больше, чем ты заслуживаешь». Это меня очень занервировало, и я сообщил Отцу: «Тогда я, может, не хочу этим заниматься». — «Плевать я хотел на твои желания», — сказал он и удлинился положить свою руку мне на плечо. У меня в семье Отец — чемпион мира по прекращению собеседований.

Было согласовано, что мы с Дедушкой выдвинемся в путь в полночь 1 июля. Это презентует нам пятнадцать часов. Было согласовано — всеми, кроме нас с Дедушкой, — что нам следует путешествовать на львовский вокзал сразу по вступлении в город Львов. Было согласовано — одним Отцом, что Дедушка должен терпеливо

околачиваться в автомобиле, пока я буду околачиваться на железнодорожных путях в ожидании поезда героя. Я не знал, какой будет его наружность, и он не знал, как высок и аристократичен буду я. Это было тем, из чего после мы сделали много находчивых замечаний. Он сказал, что он очень волновался. Он сказал, что наложил в штаны кирпичей. Я сказал ему, что тоже наложил в штаны кирпичей, но, если хотите знать, почему, то не потому, что мог бы его не узнать. Американец в Украине плево узнавателен. Я наложил в штаны кирпичей, потому что он был американец, и я жаждал показать ему, что тоже мог бы быть американцем.

Я абнормально много раздумывал насчет видоизменения места жительства на Америку, когда я буду более старее. У них есть много бухгалтерских школ высшего качества, я знаю. Я это знаю, потому что один мой друг, Грегори, который общителен с другом племянника человека, который изобрел позицию шестьдесят девять, сообщил мне, что у них в Америке есть много бухгалтерских школ высшего качества, а он все знает. Мои друзья умиротворены оставаться в Одессе до конца своих дней. Они умиротворены состариться, как их родители, и стать родителями, как их родители. Их желания никогда не больше того, что они уже знают. О'кей, но только это не для меня, и для Игорька так тоже не будет.

За несколько дней до того, как должен был приехать герой, я осведомился у Отца, можно ли мне будет выдвинуться в Америку, когда я буду принужден окончить университет. «Нет», — сказал он. «Но мне хочется», — проинформировал его я. «Плевать я хотел на твои желания», — сказал он, и это обычно значит конец собеседованию, но не на этот раз. «Почему?» — спросил я. «Потому что твои желания мне неважны, Шапка». — «Нет, — сказал я, — почему мне нельзя выдвинуться в путь в Америку после университета?» — «Если ты хочешь знать, почему тебе нельзя выдвинуться в путь в Америку, — сказал он, делая холодильник открытым и расследуя в нем на предмет еды, — то это потому, что Прадед у тебя был из Одессы, и Дед был из Одессы, и Отец — я — был из Одессы, и твои сыновья из Одессы будут. Еще ты будешь горбатить в Турах Наследия, когда отуниверситетишь. Это обязательное трудоустройство, достаточно высокой пробы для Дедушки, достаточно высокой пробы для меня и достаточно высокой пробы для тебя». — «Но что если это не то, что я жажду? — сказал я. —

Что если я не хочу горбатить в Турах Наследия, но взамен хочу горбатить там, где смогу делать необыкновенное и зарабатывать много валюты взамен миниатюрного количества? Что если я не хочу, чтобы мои сыновья росли здесь, но чтобы взамен они росли в месте высшего качества, с вещами высшего качества и с добавочными вещами? Что если у меня будут дочки?» Отец удалил из холодильника три куска льда, закрыл холодильник и звезданул меня. «Приложи их к лицу, — сказал он, давая мне лед, — чтобы не выглядеть ужасно и не сфабриковать катастрофу во Львове». Это был конец собеседования. Мне следовало быть сообразительнее.

И я все еще не упомянул, что Дедушка потребовал взять с собой Сэмми Дэвис Наимладшую. Это была еще одна вещь. «Не валяй дурака», — проинформировал его Отец. «Я нуждаюсь в ней, чтобы видеть дорогу, — сказал Дедушка, указывая пальцем на свои глаза. — Я слепой». — «Ты не слепой, и суку с собой не берешь». — «Слепой, и сука едет с нами». — «Нет, — сказал Отец. — Ехать с сукой непрофессионально». Я бы мог изречь что-нибудь на стороне Дедушки, но не хотел снова пожалеть о своей глупости. «Значит так: либо я еду с сукой, либо не еду вообще». Дедушка поставил Отца в позу. Не Латышской Раскорякой, но как промеж молота и места, на котором куют, что, по правде, немного похоже на Латышскую Раскоряку. Промеж них был огонь. Мне доводилось видеть это и раньше, и ничто в мире не пугало меня сильнее. Наконец Отец уступил, хотя и с условием, что Сэмми Дэвис Наимладшая будет облачена в специальную рубашку, которую Отец для нее сфабрикует, с надписью: СУКА К УСЛУГАМ ТУРОВ НАСЛЕДИЯ. Это чтобы она выглядела профессионально.

Несмотря на то, что с нами в автомобиле была ненормальная сука, которая взяла за склонность бросаться телом об окна, ехать было трудно еще и потому, что автомобиль у нас говно и не может путешествовать быстрее, чем я бегаю, а это шестьдесят километров за один час. Нас обгоняли много автомобилей, отчего я чувствовал себя второсортным, особенно когда автомобили были нагружены семьями и когда они были велосипеды. В протяженность езды мы с Дедушкой не изрекали слов, что не является абнормальностью, потому что раньше мы тоже никогда не отличались словоизрекательностью. Я усиливался не нервировать его, но все равно нервировал. Для одного примера, я забыл свериться с картой, и мы пропустили наш въезд на супервей. «Пожалуйста, не

звездани меня, — сказал я, — но я допустил миниатюрный карточный просчет». Дедушка лягнул педаль тормоза, и мой лоб чокнулся со лбом стекла. Бóльшую часть минуты он ничего не говорил. «Я тебя просил вести этот автомобиль?» — спросил он. «У меня нет прав, чтобы вести этот автомобиль», — сказал я. (Держи это как секрет, Джонатан.) «Я тебя просил приготовить мне завтрак, пока ты посидишь там насестом?» — спросил Дедушка. «Нет», — сказал я. «Я тебя просил изобретать новую разновидность колеса?» — спросил он. «Нет, — сказал я. — Я бы в этом не преуспел». — «Сколько вещей я просил тебя сделать?» — спросил он. «Только одну», — сказал я, и я знал, что он писает яростью, писает повсюду, и что он будет орать на меня некоторую длительность времени, возможно, даже сотворит надо мной насилие, я другого не заслужил, это не новость. Но он этого не сделал. (К твоему сведению, Джонатан, он никогда не творил насилия ни надо мной, ни над Игорьком.) Если хотите знать, что он сделал, то он сделал разворот машины вокруг, и мы поехали назад, к тому месту, где я сформировал просчет. Двадцать минут это заняло. Когда мы прибыли на место, я проинформировал его, что мы прибыли. «Ты самоуверен?» — спросил он. Я сообщил ему, что я самоуверен. Он сдвинул автомобиль на обочину. «Мы остановимся здесь и поедим завтрак», — сказал он. «Здесь?» — спросил я, потому что это было невпечатляющее место, с несколькими метрами грязи промеж дорогой и бетонной стеной, которая отделяла дорогу от сельскохозяйственных угодий. «Я думаю, это место высокой пробы», — сказал Дедушка, и я знал, что не противоречить ему было элементарной вежливостью. Мы уселись насестом на траву и стали есть, в то время как Сэмми Дэвис Наимладшая предприняла попытку слизать с супервея желтые полосы. «Если еще раз напутаешь, — сказал Дедушка, жуя колбасу, — я остановлю машину, и ты выйдешь из нее с ногой в жопе. Это будет моя нога. Это будет твоя жопа. Понятна тебе эта вещь?»

Мы прибыли в Львов всего за одиннадцать часов, но все-таки сразу пропутешествовали к вокзалу, как распорядился Отец. Найти его было емкотрудно, и мы много раз становились потерянными людьми. Это дало Дедушке ярость. «Ненавижу Львов!» — сказал он. Мы пребывали там десять минут. Львов большой и впечатляющий, но не как Одесса. Одесса очень красивая, с множеством знаменитых пляжей, на которых девочки лежат на спинах и экспонируют свои первосортные груди.

Львов — это город вроде Нью-Йорка в Америке. По правде, Нью-Йорк был спроектирован по модели Львова. В нем есть очень высокие строения (целых шесть уровней), всесторонние улицы (вместимостью в целых три машины) и много мобильных телефонов. В Львове много статуй и много мест, на которых раньше располагались статуи. Я никогда не освидетельствовал места, оформленного таким количеством бетона. Все было бетон, всюду, и я вам скажу, что даже небо, бывшее серым, выглядело забетонированным. Это именно то, о чем мы с героем заговорим позже, когда испытаем отсутствие слов. «Ты помнишь весь этот бетон во Львове?» — спросил он. «Да», — сказал я. «Я тоже». В истории Украины Львов очень важный город. Если хотите знать почему, то я не знаю, почему, но я уверен, что мой друг Грегори знает.

Львов не так впечатляющ изнутри вокзала. Там я околачивался больше четырех часов, поджидая героя. Вообще-то все пять, потому что поезд у него был с промедлением. Меня нервировало, что приходится околачиваться на вокзале без дела и даже без плеера, но меня радовало, что не приходится быть в автомобиле с Дедушкой, который наверняка сделался ненормальным от ожидания, и с Сэмми Дэвис Наимладшей, которая всегда ненормальная. Станция не была обыкновенная, потому что с потолка свисали синие и желтые бумажки. Они свисали оттуда в честь первого дня рождения новой конституции. Это не преисполнило меня гордостью, но я был умиротворен, что герой лицезреет их, выгружаясь из пражского поезда. Он приобретет отличное представление о нашей стране. Возможно, он подумает, что желтые и синие бумажки свисают специально для него, потому что я знаю, что это еврейские цвета.

Когда поезд его наконец прибыл, обе мои ноги были несгибаемыми от пребывания вертикальным человеком такую длительность. Я бы, может, и присел насестом, но пол был очень грязный, а я был в бесподобных синих джинсах, надетых, чтобы обескорежить героя. От Отца я знал, из какого вагона он выгрузится, и, когда поезд прибыл, попробовал до него дойти, но с двумя несгибаемыми ногами это было очень трудно. Я держал табличку с его именем перед собой, и много раз припадал на ноги, заглядывая в глаза встречным.

Когда мы обнаружили друг друга, я был очень фраппирован его наружностью. «Это американец?» — подумал я. И еще: это еврей? Он был беспощадно низкого роста. Он был в очках и с уменьшительным

волосом, который нигде не был расщеплен, а располагался у него на голове, как шапка. (Если бы я был, как Отец, я мог бы даже обозвать его Шапкой.) Он не выглядел ни как американцы, которых мне доводилось освидетельствовать в журналах, с желтым волосом и мускулами, ни как евреи из исторических книг, без волос и костистые. На нем не было синих джинс или униформы. По правде, он вообще не отличался особенностями. Я был недоошеломлен по максимуму.

Он, должно быть, засвидетельствовал мою табличку, потому что звезданул меня по плечу и сказал: «Алекс?». Я сказал йес. «Ты мой переводчик, правильно?» Я попросил его быть медленным, потому что быстро я не понимал. По правде, в штанах у меня была целая кирпичная фабрика. Я предпринял попытку уравновеситься. «Урок номер один. Привет. Как поживаете?» — «Что?» — «Урок номер два. О'кей. Сегодня чудесная погода, не правда ли?» — «Ты мой переводчик, — сказал он, фабрикуя жесты. — Йес?» — «Йес, — сказал я, презентуя ему свою руку. — Александр Перчов. Ваш смиренный переводчик». — «Было бы нелюбезно сразу тебе накостылять», — сказал он. «Что?» — сказал я. «Я сказал, — сказал он, — было бы нелюбезно сразу тебе накостылять». — «О, да, — засмеялся я, — и тебе тоже было бы нелюбезно накостылять. Умоляю простить язык моего английского. Я с ним не высшей пробы». — «Джонатан Сафран Фоер», — сказал он, презентуя мне свою руку. «Что?» — «Меня зовут Джонатан Сафран Фоер». — «Жон-фан?» — «Сафран Фоер». — «Меня зовут Алекс», — сказал я. «Я знаю», — сказал он. «Тебе кто-нибудь двинул?» — осведомился он, засвидетельствовав мой правый глаз. «Это Отец был очень любезен мне накостылять», — сказал я. Я взял у него чемоданы, и мы выдвинулись в направлении автомобиля.

«Твоя поездка была умиротворительной?» — спросил я. «Еще бы, — сказал он, — двадцать шесть часов, факинг анбиливибл». Я решил, что эта девушка, Анн Биливибл, была очень величественная. «Хр-р-р-рапунчи-ки?» — спросил я. «Что?» — «Ты производил храпунчики?» — «Я не понимаю». — «Находить покой». — «Что?» — «Ты нашел покой?» — «А-а. Нет, — сказал он. — Ни минуты покоя». — «Что?» — «Ни. Минуты. Покоя». — «А охранники на границе?» — «Ерунда, — сказал он. — Я о них столько слышал, знаешь, что придут, прицепятся. Но они вошли, проверили паспорт и больше меня не беспокоили». — «Что?» — «Я слышал, что могут быть проблемы, но

проблем не было». — «Ты что-то раньше о них слышал?» — «О да, я слышал, что они жопы с факинг-дырками». Жопы с факинг-дырками! Я зарубил это у себя на лобном месте.

По правде, меня фраппировало, что у героя не было каких-либо правовых тяжб и трений с охранниками на границе. У них есть сомнительная привычка брать вещи без спроса у людей в поезде. Однажды Отец ехал в Прагу горбатить для Туров Наследия, и, пока он был на покое, охранники удалили из его чемодана много вещей высшей пробы, что ужасно, потому что много вещей высшей пробы у него нет. (Так странно думать, что Отца тоже кто-то может обидеть. Мне привычнее видеть его в роли обидчика.) Я был также проинформирован рассказами путешественников, которым пришлось презентовать охранникам валюту в обмен на свои документы. Для американцев это либо очень хорошо, либо очень плохо. Это очень хорошо, если охранник любит Америку и нагоняет ужас только затем, чтобы показать себя охранником высшей пробы. Этот тип охранника думает, что когда-нибудь они столкнутся с американцем в Америке, и что американец пригласит его на матч Чикаго Булз, и купит ему синие джинсы, и белый хлеб, и нежную туалетную бумагу. Этот охранник мечтает заговорить по-английски без акцента и обзавестись женой с неуступчивой грудью. Этот охранник готов признать, что не любит там, где живет.

Другой тип охранника тоже любит Америку, но ненавидит американца за то, что он американец. Это очень плохо. Такой охранник знает, что он никогда не поедет в Америку, и знает, что больше они никогда не встретятся с этим американцем. Он обворует американца и наведет ужас на американца, чтобы только показать ему, что он может. Это его единственный шанс сделать Украину больше Америки и сделать себя больше американца. Мне об этом сообщил Отец, и я уверен, что он уверен, что это верно.

Когда мы прибыли к автомобилю, Дедушка околачивался в нем с терпением, как распорядился Отец. Он был очень терпелив. Он храпел. Он храпел так объемисто, что мы с героем услышали его даже сквозь поднятые стекла, но приняли это за звук мотора. «Это наш водитель, — сказал я. — Он эксперт по вождению». Я обозрел огорчение в улыбке нашего героя. Это было во второй раз. Прошло четыре минуты. «С ним все о'кей?» — спросил герой. «Что? — сказал я. — Я не достигаю понимания. Говори более медленнее, пожалуйста». Я мог показаться

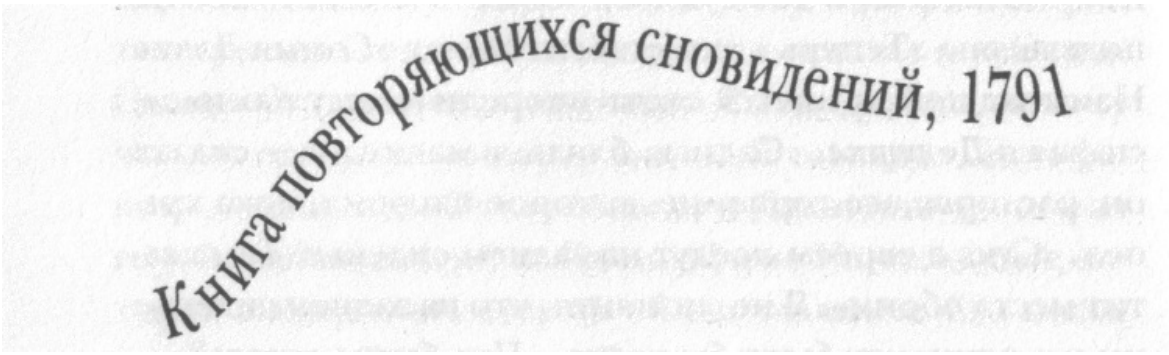
герою некомпетентным. «Здо…ров…ли…во…ди…тель?» — «С несомненностью, — сказал я. — Но должен сообщить, что водитель мне очень знаком. Он мой дедушка». В этот момент Сэмми Дэвис Наимладшая сделала себя очевидной, потому что она подпрыгнула с заднего сиденья наверх и объемисто залаяла. «Господи Иисусе», — с ужасом сказал герой и сдвинулся в удаление от автомобиля. «Не огорчайся, — проинформировал его я, в то время как Сэмми Дэвис Наимладшая звезданулась головой о стекло. — Это всего лишь сука-поводырь нашего водителя». Я указал пальцем на рубашку, в которую ее облачили, но она сжевала ее значительность, так что теперь она гласила: «СУКА К УСЛУГАМ». «Она ненормальная, — сказал я. — Но такая игрунья».

«Дедушка, — сказал я, двигая его руку, чтобы он пробудился. — Дедушка, он здесь». Дедушка развернул голову оттуда сюда. «Он всегда на покое», — сообщил я герою, надеясь, что это уменьшит его огорчение. «Это, должно быть, идет в руки», — сказал герой. «Что?» — спросил я. «Я сказал: это, должно быть, идет в руки». — «Что это значит, идти в руки?» — «Быть полезным. Приходиться кстати. И все же как насчет собаки?» Этой американской идиомой я теперь очень часто пользуюсь. Одной подружке в знаменитом ночном клубе я сообщил: «Мои глаза идут в руки, когда я обозреваю твою несравненную грудь». Я ощутил, что она ощутила, что я человек высшей пробы. Позднее мы предались страстным плотским утехам, и она нюхала свои колени, а также мои.

Я сумел выдвинуть Дедушку из его покоя. Если хотите знать как, то я защелкнул ему нос своими пальцами, чтобы он перестал дышать. Он не знал, где он. «Анна?» — спросил он. Так звали мою бабушку, которая умерла тому уже два года. «Нет, Дедушка, — сказал я. — Это я. Саша». Он загорелся от стыда. Я это ощутил, потому что он отвернул от меня лицо. «Я завладел Жон-фаном», — сказал я. «Э-э, вообще-то я Джонатан», — сказал герой, наблюдавший за Сэмми Дэвис Наимладшей, которая вылизывала стекла. «Я им завладел. Его поезд прибыл». — «О», — сказал Дедушка, и я ощутил, что он все еще отшвартовывается от сновидения. «Нам пора выдвигаться к Луцку, — предложил я. — Как Отец распорядился». — «Что?» — осведомился герой. «Я сообщил ему, что нам пора выдвигаться к Луцку». — «Да, Луцк. Мне сказали, что туда-то мы и направимся. А уже оттуда в

Трахимброд». — «Что?» — осведомился я. «Луцк, потом Трахимброд». — «Правильно», — сказал я. Дедушка положил руки на руль. Некоторую протяженность времени он смотрел перед собой. Он дышал очень большим дыханием, и его руки дрожали. «Да?» — осведомился я у него. «Заткнись», — проинформировал он меня. «Где будет находиться собака?» — осведомился герой. «Что?» — «Где… будет… находиться…собака?» — «Я не понимаю». — «Я боюсь собак, — сказал он. — У меня с ними не сложилось». Я сообщил об этом Дедушке, половина которого все еще оставалась внутри сна. «Собак никто не боится», — сказал он. «Дедушка информирует меня, что собак никто не боится». Герой сдвинул наверх рубашку, чтобы экспонировать мне останки какой-то раны. «Это от укуса собаки», — сказал он. «Что от укуса?» — «Это». — «Что?» — «Эта штука». — «Какая штука?» — «Вот. Похоже на две скрещенные черточки». — «Я не вижу». — «Вот», — сказал он. «Где?» — «Прямо здесь», — сказал он, и я сказал: «О да», хотя по правде по-прежнему ничего не засвидетельствовал. «Моя мама боится собак». — «Ну и?» — «Поэтому я тоже боюсь собак. С этим ничего не поделаешь». Теперь я ухватил ситуацию. «Сэмми Дэвис Наимладшей придется ехать впереди между нами», — сказал я Дедушке. «Садись, блядь, в машину», — сказал он, растеряв все терпение, которое накопил, пока храпел. «Сука с евреем поедут на заднем сиденье. Там хватит места обоим». Я не упомянул, что на заднем сиденье им и в одиночку было бы тесно. «Что будем делать?» — спросил герой, опасаясь сблизиться с автомобилем, а на заднем сиденье Сэмми Дэвис Наимладшая устраивала себе кровь во рту от пережевывания своего хвоста.

Книга повторяющихся сновидений, 1791



ИЗВЕСТИЕ о его счастливом жребии настигло Янкеля Д, когда Падшие заканчивали свою еженедельную службу.

Важно, чтобы мы помнили, — сказал картофелевод и нарколептик Дидл С, обращаясь к собравшимся, которые раскинулись на подушках в его гостиной. (Синагога Падших относилась к числу блуждающих и каждый Шаббат находила себе приют в доме одного из прихожан.)

Что помнили? — спросил школьный учитель Цадик П, брызгая желтой от мела слюной на каждом слоге.

«Что», — сказал Дидл, — *в данном случае не так принципиально, как память сама по себе. Воспоминание как действие, как процесс, как признание нашего прошлого… Воспоминания — это короткие обращения к Богу, если бы мы во все это верили… Не зря же тут говорится нечто подобное или подобное нечто тому, о чем я пытаюсь сказать… Надо же, я ведь только что даже пальцем специально заложил… В руках держал, не сойти мне с этого места. Никому не попадалась* Книга Предшествующих? *Ну я же секунду назад видел один из ее начальных томов… Черт!.. Кто-нибудь может мне подсказать, на чем я остановился? Все, полнейший конфуз и замешательство… Ну почему я каждый раз сажусь в лужу именно у себя дома…*

Память, — пришла на помощь скорбящая Шанда, но Дидл уже успел скоропостижно заснуть. Она разбудила его и прошептала: *Память.*

Вот именно, — с ходу включился Дидл, стремительно пролистывая стопку бумагу себя на паперти, каковая на самом деле была куриной клетью. *Память. Память и воспроизводство. И, конечно же, сны. Что значит бодрствовать, как не истолковывать наши сны, и что значит*

видеть сны, как не истолковывать наше бодрствование? Самый замкнутый из возможных кругов! Сны, да? Или нет? Да, да. Потому что сегодня первый Шаббат. Первый Шаббат месяца. А значит, как и во всякий первый Шаббат месяца, нам надлежит пополнить Книгу Повторяющихся Сновидений. *Да? Ну скажите же кто-нибудь: я не совсем обосрался?*

Вот уже две недели подряд мне снится один и тот же на редкость удивительный сон, — сказала Лиля Ф, происходившая от Падшего, который выпустил из рук Великую Книгу.

Чудесно, — сказал Дидл, извлекая Том IV *Книги Повторяющихся Сновидений* из священного ковчега, бывшего на самом деле обыкновенной дровяной плитой.

И мне снится, — подал голос Шлоим. — *Даже несколько.*

Мне тоже снился повторяющийся сон, — сказал Янкель.

Чудесно, — сказал Дидл. — *Расчудесно. В таком темпе мы скоро еще один том закончим.*

Но прежде, — прошептала Шанда, — *нам надлежит перечитать записи прошлого месяца.*

Но прежде, — сказал Дидл, вновь принимая на себя полномочия раввина, — *нам надлежит перечитать записи прошлого месяца. Движение вперед невозможно без движения назад.*

Только покороче, а то я свой сон забуду, — сказал Шлоим. — *Странно, что я вообще его помню.*

Сколько сочтет нужным, столько пусть и читает, — сказала Лиля.

Сколько сочту нужным, столько и прочту, — сказал Дидл, испачкав палец в саже, покрывавшей массивный кожаный переплет. Он распахнул том ближе к концу, взял в руку серебряную указку (на самом деле — оловянный нож) и принялся читать нараспев, скользя лезвием по строчкам их сновидений.

> **4:512** — *Сон о сексе без боли.* Четыре ночи назад мне снились стрелки часов, сыпавшиеся с неба, точно дождевые капли, луна в виде зеленого глаза, зеркала и насекомые, любовь без конца. Было не столько ощущение заполненности, которого мне так не хватает, сколько ощущение отсутствия пустоты во мне. Сон оборвался, когда я осознала, что муж уже

вошел в меня. **4:513** — *Сон об ангелах, которым снятся люди.* После обеда я задремал, и мне приснилась лестница. Спящие ангелы, как сомнамбулы, бродили вверх-вниз по ее ступеням; глаза их были закрыты, дыхание — медленное и тяжелое, поникшие крылья свисали вдоль боков. Я столкнулся с одним пожилым ангелом, отчего он пробудился и вздрогнул. Ангел был похож на моего дедушку, который умер в прошлом году, а перед этим каждую ночь молил Бога, чтобы это произошло во сне. Надо же, сказал мне ангел, ты мне только что снился. **4:514** — *Сон о полете, как ни глупо это прозвучит.* **4:515** — *Сон о вальсе изобилия, голода и изобилия.* **4:516** — *Сон о птицах без плоти (46).* Не знаю, сочтете ли вы это сном или воспоминанием, потому что так оно и было на самом деле, но стоит мне заснуть, как я вновь вижу комнату, в которой оплакивала смерть сына. Те из вас, кто был со мной в комнате, — вы, конечно, вспомните, как мы сидели в молчании, не притрагиваясь к еде. Вы вспомните, как в оконное стекло внезапно врезалась птица и, пробив его, упала на пол. Вы вспомните, те, кто был в той комнате, как она дернула крыльями, прежде чем испустить дух, и как на полу осталось пятнышко крови, когда ее унесли. Но кто из вас первым обнаружил негатив птицы, отпечатавшийся в окне? Кто первым увидел контур, оставленный птицей, контур, кровавивший палец любого, кто осмеливался его обвести, контур, доказывавший существование птицы убедительнее, чем сама птица? Кто из вас пошел со мной, когда, продолжая оплакивать смерть сына, я вышла из комнаты, чтобы предать птицу земле собственными руками? **4:517** — *Сон о влюбленности, свадьбе, смерти, любви.* Когда я вижу этот сон, мне всегда кажется, что он длится часами, хотя на самом деле он длится всего пять минут — между тем, когда я возвращаюсь с поля, и тем, когда меня будят к ужину. Мне снится, как я впервые встретил свою жену пятьдесят лет назад, все в мельчайших подробностях. Мне снится наша свадьба; я даже могу разглядеть слезы гордости на щеках моего отца. Все в точности так, как было. Но потом мне снится моя собственная смерть, хотя считается, что такие вещи не снятся,

но мне врать незачем. Мне снится, как, склонившись над моим смертным одром, жена говорит, что по-прежнему меня любит, и хотя она думает, что я ее не слышу, я ее слышу, а она говорит, что ничего в нашей жизни не стала бы менять. И у меня такое чувство, будто все это со мной уже не раз было, все привычно, даже сама смерть, и что после нее все это еще много раз повторится, — мы вновь встретимся, поженимся, родим детей, будем радоваться тем же успехам и огорчаться тем же неудачам, снова и снова, не в силах что-либо поменять. И вот я опять в нижней точке этого неостановимого колеса, и в тот самый миг, когда смерть опускает мне веки, как тысячи раз делала это раньше, как тысячи раз сделает это потом, — я просыпаюсь. **4:518** — *Сон о вечном движении.* **4:519** — *Сон о низких окнах.* **4:520** — *Сон о безопасности и покое.* Мне приснилось, будто я родился от незнакомки. Она родила меня в тайном пристанище, вдали от всего, что я узнаю, когда вырасту. Как только это случилось, она передала меня моей матери, чтобы ни у кого не возникло подозрений, и мать сказала: Ты дала мне сына, дар жизни, благодарю тебя. И поскольку я зародился в теле чужой женщины, тело матери никогда меня не пугало, и я мог обнимать его, не испытывая стыда, одну лишь любовь. И поскольку я вышел не из материнской утробы, желание вернуться домой никогда не вело меня к матери, и мне ничто не мешало сказать Мама, имея в виду только мама, ничего больше. **4:521** — *Сон о птицах без плоти (47).* В этом сне, который снится мне каждую ночь, царят сумерки, я занимаюсь любовью с женой, с моей реальной женой, той самой, что прожила со мной тридцать лет. Всем известно, как я ее люблю, я люблю ее до безумия. Сначала я ласкаю руками ее бедра, потом скольжу вверх по талии и животу и касаюсь грудей. Всем известно, какая она красавица, и во сне она точно такая, как в жизни, такая же красавица. Я смотрю на свои руки, ласкающие ее грудь, — мозолистые, грубые руки мужчины, все в прожилках, дрожащие, суетливые, — и вспоминаю — сам не пойму почему, но так каждую ночь — вспоминаю двух белых птенцов, которых мать привезла мне в подарок из Варшавы,

когда я был еще совсем крохой. Мы им разрешали летать по дому и садиться, где вздумается. Помню, как я смотрю на мать со спины, пока она жарит мне яичницу, и птенцы сидят у нее на плечах, по одному на каждом, и их клювики у самых ее ушей, точно они намереваются поделиться с ней секретом. Она поднимает правую руку вверх, начинает шарить, не глядя, на верхней полке в поисках какой-то приправы, ухватывая что-то невидимое, ускользающее, дрожащее, и одновременно следит за тем, чтобы яичница не подгорела. **4:522** — *Сон о встрече с самим собой в более молодом возрасте.* **4:523** — *Сон о животных, всякой твари по паре.* **4:524** — *Сон, за который мне не будет стыдно.* **4:525** — *Сон о том, что мы сами себе отцы.* Не знаю зачем, но я пошел к Брод и посмотрел на свое отражение в воде. У меня не было сил оторваться. Что меня так приковывало? Что я так любил? И вдруг я узнал его. Как просто. Из воды на меня смотрело лицо отца, но вместо моего лица, оно видело лицо своего отца, а его лицо видело лицо своего отца, и так далее, и так далее, пока отражения не добирались до начала начал, то есть до лика Божия, по чьему образу и подобию все мы и были созданы. Мы сгорали от любви к самим себе, каждый из нас, мы страдали от огня, который сами же разжигали — наша любовь была недугом, от которого только любовь и могла исцелить…

Громкий стук в дверь прервал напевное чтение. Двое людей в черных шляпах стремительно прохромали в гостиную; никто из собравшихся даже встать им навстречу не успел.

МЫ ЗДЕСЬ ПО ПОРУЧЕНИЮ НЕСГИБАЕМОЙ СИНАГОГИ! — выкрикнул тот, что был выше ростом.

НЕСГИБАЕМОЙ СИНАГОГИ! — эхом отозвался тот, что был ниже и коренастее.

Шаши, — сказала Шанда.

ЗДЕСЬ ЛИ ЯНКЕЛЬ? — еще громче, будто ей назло, выкрикнул тот, что был выше ростом.

ДА, ЗДЕСЬ ЛИ ЯНКЕЛЬ? — эхом отозвался тот, что был ниже и коренастее.

Здесь, здесь я, — сказал Янкель, поднимаясь с подушки. Он решил,

что Многоуважаемому Раввину потребовалась финансовая консультация, за которой он уже не раз обращался в прошлом, ибо удовольствие быть набожным в те дни обходилось недешево. — *Чем могу быть полезен?*

ТЫ БУДЕШЬ ОТЦОМ РЕЧНОГО МЛАДЕНЦА! — выкрикнул тот, что был выше.

ТЫ БУДЕШЬ ОТЦОМ! — эхом отозвался тот, что был ниже и коренастее.

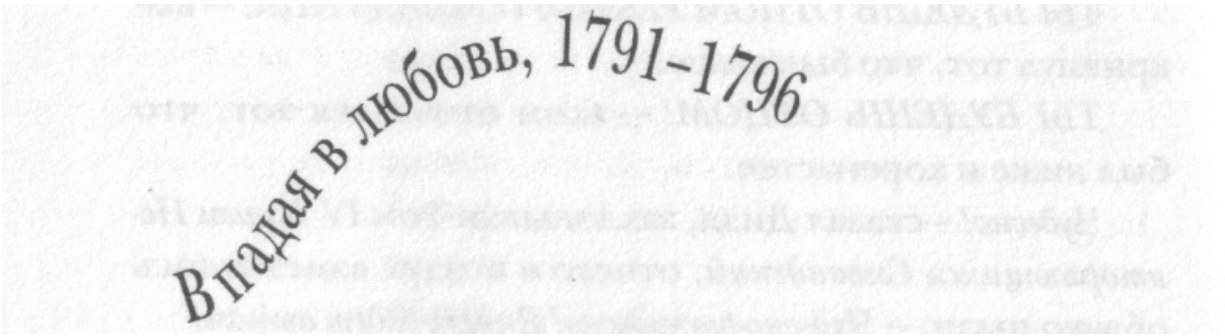
Чудесно! — сказал Дидл, захлопывая Том IV *Книги Повторяющихся Сновидений,* отчего в воздух взметнулось облако пыли. — *Чудесно-расчудесно! Янкель будет отцом!*

Мазл-тов! — запели прихожане. — *Мазл-тов!*

Внезапно Янкелем овладел страх смерти. Он был острее, чем когда угасли от старости его родители; острее, чем когда погиб на мельнице его единственный брат или умирали дети; острее, чем даже тогда, когда ребенком он впервые осознал, что ему надо попытаться понять, как это можно быть неживым — не оставленным в темноте и не лишенным чувствительности, а вообще несуществующим; что это значит — не быть.

Падшие поздравляли его, похлопывали по спине, не замечая, что он плачет. *Спасибо,* — все повторял и повторял он, ни разу не задавшись вопросом, кого, собственно, он благодарит. — *Огромное вам спасибо.* Он получил младенца, а я — пра-пра-пра-пра-пра-прапрадедушку.

Впадая в любовь, 1791—1796



В ТОТ ВЕЧЕР опальный ростовщик Янкель Д принес малютку домой. *Вот мы и дома,* — сказал он, — *поднимаемся на крыльцо. Вот так. Это твоя входная дверь. А это ручка на входной двери: видишь, я ее сейчас поворачиваю. Это место для обуви, которую мы снимаем, входя в помещение. А сюда мы вешаем пиджаки.* Он говорил с ней так, будто она могла его понимать, не сюсюкая, не коверкая слов, избегая односложных предложений. *То, чем я тебя сейчас кормлю, называется молоко. Его нам приносит Мордехай-молочник, с которым ты как-нибудь познакомишься. Он берет молоко у коровы, что довольно странно и даже противоестественно, если вдуматься, так что лучше не вдумываться… То, чем я поглаживаю твою мордашку, называется рука. Некоторые из нас левши, некоторые — правши. Кто ты, мы пока не знаем, потому что сейчас за тебя все делаю я… Это поцелуй. Чтобы он получился, губы надо сложить трубочкой и к чему-нибудь прижать. Можно к другим губам, можно к щеке, можно еще к какому-нибудь месту — по обстоятельствам… Это мое сердце. Ты касаешься его левой рукой. Не потому, что ты левша, хотя это совсем не исключено, а потому, что я прижимаю к нему твою левую ручку. Сейчас ты чувствуешь, как оно бьется. Благодаря этому я живу.*

Он устроил ей колыбель в глубоком противне, напихав в него мятых газет, и каждый раз бережно задвигал его в духовку, чтобы шум, производимый каскадом небольших водопадов за окнами, не тревожил ее покоя. Дверь духовки он оставлял открытой и часами сидел, наблюдая, точно пекарь, поджидающий, когда замешенное для хлеба тесто начнет всходить. Он наблюдал, как часто поднимается и опускается ее крошечная грудка, как пальчики на ее руках то распрямляются, то собираются в кулачки, как она жмурится без всякой

видимой причины. *Видит ли она сны?* — размышлял он. — *И если да, то какие сны могут сниться младенцу? Должно быть, ей снится жизнь до рождения, так же, как мне — загробная.* Когда он доставал ее из колыбели, чтобы покормить или просто подержать на руках, ее маленькое тельце было сплошь в татуировках типографского набора. ВРЕМЕНАМ РАЗНОЦВЕТНЫХ РУК НАСТАЕТ КОНЕЦ! МЫШЬ БУДЕТ ПОВЕШЕНА! Или ОБВИНЯЕМЫЙ В ИЗНАСИЛОВАНИИ СОФЬЕВКА ОПРАВДЫВАЕТСЯ ТЕМ, ЧТО ОКАЗАЛСЯ ВО ВЛАСТИ ПЕНИСА, «ОТБИВШЕГОСЯ ОТ РУК». Или ПОГИБШИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ НА МЕЛЬНИЦЕ АВРУМ Р ОСТАВЛЯЕТ СИРОТОЙ СБЕЖАВШЕГО ОТ НЕГО СОРОКАВОСЬМИЛЕТНЕГО СИАМСКОГО КОТА. КОТ РЫЖЕВАТО-КОРИЧНЕВЫЙ, В МЕРУ УПИТАННЫЙ, НО НЕ РАСКОРМЛЕННЫЙ, ЛАСКОВЫЙ, МОЖЕТ БЫТЬ, ЧУТОЧКУ РАСКОРМЛЕННЫЙ, ОТКЛИКАЕТСЯ НА КЛИЧКУ «МАФУСАИЛ», НУ, БУДЬ ПО-ВАШЕМУ, ЖИРНЫЙ, КАК БОРОВ. НАШЕДШИЙ МОЖЕТ ОСТАВИТЬ ЕГО СЕБЕ БЕЗ ВСЯКОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ. Порой, баюкая малютку на руках, он прочитывал ее от корки до корки и так узнавал о мире все, что ему полагалось узнать. То, что не было написано на ней, его не интересовало.

Янкель потерял двоих детей: первого отобрала у него лихорадка, второго — ветряная мельница, на которой с тех пор, как ее построили, каждый год погибал кто-нибудь из жителей штетла. Еще Янкель потерял жену: правда, ее отобрала не смерть, а другой мужчина. Однажды вечером он вернулся домой из библиотеки и на половике перед входом поверх надписи ШАЛОМ! обнаружил записку: *Иначе поступить не могла.*

Лиля Ф ковырялась в земле, окучивая одну из своих ромашек. Битцл Битцл стоял у окна своей кухни, притворяясь, что отдраивает разделочную доску. Шлоим В пялился сквозь верхнюю колбу песочных часов, с которыми все никак не находил сил расстаться. Никто не проронил ни слова, пока Янкель читал записку; никто не проронил ни слова и потом, как будто исчезновение его жены было делом само собой разумеющимся, или как будто никто из них раньше не замечал, что у него была жена.

Почему бы ей не подсунуть ее под дверь? — размышлял он. — *Или хотя бы сложить?* Внешне эта записка ничем не отличалась от других,

когда-либо ею написанных, типа *Попробуй починить дверной молоточек* или *Не волнуйся, скоро вернусь.* Было даже странно, что записка столь радикального содержания — *Иначе поступить не могла* — выглядела совершенно так же, как все предыдущие: банально, обыденно, никак. Он мог бы возненавидеть ее за то, что она оставила записку на всеобщее обозрение, он мог бы возненавидеть ее за прямоту, за отсутствие в тексте даже намека на страдание, на то, что, да, дескать, это важно, да, это самая мучительная записка в моей жизни, да, я скорей умру, чем соглашусь написать ее еще раз. Где следы высохших слез? Где надрыв?

Но поскольку жена была его первой и единственной любовью и поскольку так уж повелось в их крошечном штетле — всегда прощать свою первую и единственную любовь, — Янкель заставил себя понять ее поступок или сделать вид, что понял. Он ни разу не позволил себе упрекнуть ее за бегство в Киев вместе с заезжим и усатым чиновником, вызванным в штетл для содействия в упорядочении позорного и запутанного судопроизводственного процесса, на котором Янкель проходил в качестве обвиняемого; в конце концов, чиновник мог посулить ей золотые горы, мог увезти ее подальше, в тихое место, где не было бы ни мыслей, ни свидетельских показаний, ни согласованного признания вины. Нет, не то. Где бы не было Янкеля. Она хотела быть там, где не было Янкеля.

На протяжении нескольких недель после ее побега он пытался избавиться от одного и того же навязчивого видения: чиновник, ебущий его жену. На полу посреди продуктов, приготовленных для стряпни. Стоя, в одних носках. На траве, в саду их нового огромного дома. Ему слышались такие ее стенания, которые в постели с ним она никогда не издавала, и воображалась такая степень ее услады, до которой чиновник, будучи настоящим мужчиной, смог ее довести, а он, будучи ненастоящим, не смог. *Сосет ли она его член?* — размышлял он. — *Сознаю, что мысль идиотская и, кроме боли, ничего не сулит, но не могу от нее отделаться. И когда сосет — не может не сосать, — чем он в этот момент занят? Откидывает ли назад ее волосы, чтобы не мешали смотреть? Касается ли ее грудей? Думает ли о ком-то другом? Если думает, я его растерзаю.*

Под неотрывными взглядами штетла — Лиля окучивает, Битцл Битцл скребет, Шлоим отмеряет песочное время, — он скатал записку в

комок, формой похожий на слезу, сунул его за лацкан пиджака и вошел в дом. *Что же мне теперь делать?* — подумал он. — *Надо, наверное, покончить с собой.*

Жить было невыносимо, но умирать еще невыносимее. Невыносимо было воображать, как она занимается с кем-то любовью, но так же невыносимо было этого не воображать. То же и с запиской: невозможно было ее хранить, но и уничтожить казалось невозможным. Он пробовал ее потерять. Он оставлял ее в пустых, заплаканных воском, подсвечниках; каждую Пасху совал ее между пластинками мацы; ронял на свой заваленный бумагами стол в надежде, что в следующий раз ее не обнаружит. Но она неизменно обнаруживалась. Однажды он пытался незаметно выдавить ее из кармана брюк, сидя на скамье у фонтана распростертой русалки, но, когда полез за носовым платком, записка по-прежнему была в кармане. В другой раз он вложил ее вместо закладки в ненавидимый им роман, но несколько дней спустя она оказалась между страниц одной из тех западных книг, которые, кроме него, никто в штетле не читал и которую записка навсегда для него отравила. Уничтожить записку оказалось так же непросто, как свести счеты с жизнью. Она всегда возвращалась. Она оставалась с ним, точно была его частью, как родинка или конечность. Она была на нем, она была в нем, она была им, она была гимн: *Иначе поступить не могла.*

Со временем он потерял уйму всевозможных клочков бумаги, не говоря уже о ключах, ручках, рубашках, очках, часах, столовых приборах. Он потерял башмак, любимые опаловые запонки (бахрома на его падших манжетах колосилась, не зная удержу), три года вдали от Трахимброда, мириады идей, которые он так и не собрался записать (большинство из них — гениальные, остальные — просто с глубоким смыслом), волосы, осанку, пару родителей, пару детей, одну жену, целое состояние карманной мелочи и такое количество возможностей, что замучаешься считать. Он даже имя потерял: до бегства из штетла, то есть от рождения и до первой смерти, все звали его Сафран. Казалось, не было такой вещи, которую он не сумел бы потерять. Только этот клочок не исчезал, и образ распростертой жены, и еще мысль о том, что жизнь могла бы стать несравнимо лучше, если бы он нашел силы с ней покончить.

До процесса Янкель — в ту пору Сафран — пользовался всеобщим уважением. Он исполнял обязанности президента (а также секретаря,

казначея и единственного члена) Комитета Приятных и Изящных Искусств, а также являлся основателем, бессменным председателем и единственным педагогом Школы Высокопарного Образования, занятия которой проходили у него дома и посещались одним только Янкелем. Нередко в его честь (хоть и не обязательно в его присутствии) в иных домах устраивались обеды с многочисленными сменами блюд, или состоятельные члены общины заказывали заезжему художнику его портрет маслом. Портреты всегда получались краше оригинала. Им все восторгались, его все любили, но никто не знал. Он был вроде книги, которую приятно держать в руках, о которой можно говорить, даже не читая, которую приятно рекомендовать.

По совету своего адвоката Исаака М, который рисовал в воздухе кавычки вокруг каждого слога каждого сказанного им слова, Янкель, судимый за нарушение правил ростовщичества, признал себя виновным по всем пунктам в надежде, что это смягчит наказание. Кончилось тем, что он потерял лицензию. Но лицензия — это полбеды. Кроме нее он потерял свое доброе имя, которое, как все знают, здоровья дороже. Прохожие презрительно усмехались ему в лицо и шипели сквозь зубы оскорбления типа: негодяй, обманщик, шавка, прохвост. Его не ненавидели бы так истово, если бы до этого с той же истовостью не боготворили. А поскольку вместе с Заурядным Раввином и Софьевкой он был одним из невидимых столпов, на которых держался штетл невидимым столпом, его падение с неизбежностью привело к ощущению утраченного равновесия и пустоты.

Сафран скитался по соседним деревням, нанимаясь на работу то в качестве преподавателя теории и практики игры на клавесине, то в качестве парфюмерного консультанта (прикидываясь слепым и глухим в надежде, что от него не станут требовать рекомендательных писем), то в качестве худшего в мире предсказателя будущего: *Я не собираюсь кормить вас россказнями про радужные перспективы…* Каждое утро он просыпался с желанием жить правильно, вести честное, исполненное смысла существование, быть — как бы просто это ни звучало и как бы невозможно на деле ни было — счастливым. Но по мере старения дня его сердце перемещалось из грудной клетки в область живота. К полудню ему начинало казаться, что все в этой жизни неправильно, не по нему, и возникало острое желание побыть одному. К вечеру он достигал желаемого: он был один в океане своего горя, один в омуте

своей бесцельной вины, один даже в своем одиночестве. *Я не грущу,* — снова и снова повторял он. — *Я не грущу.* Как будто надеялся однажды убедить себя в этом. Или обмануть. Или убедить других — единственное, что хуже самой печали, — это когда ты не можешь скрыть ее от других. *Я не грущу. Я не грущу.* А ведь жизнь его, подобно пустой белой комнате, была полна неограниченными возможностями для счастья. Когда он засыпал, сердце сворачивалось в изножье его кровати, точно домашний зверек, живущий сам по себе. Но наутро оно вновь оказывалось в клетке, за решеткой ребер, немного отяжелевшее, ослабевшее, но, как и прежде, работающее без сбоев. К полудню Янкелем вновь овладевало желание не быть здесь, не быть самим собой, быть не здесь и не самим собой. *Я не грущу.*

После трех лет скитаний он вернулся в штетл (я — неопровержимое доказательство того, что всякий, покинувший родные места, рано или поздно в них возвращается) и зажил тихо и неприметно, уподобившись бахроме Падших, пришитой к одному из манжетов Трахимброда, обреченный носить на шее эту чудовищную бусину, клеймо его позора. Он стал называть себя Янкелем, по имени чиновника, сбежавшего с его женой, и попросил, чтобы никто никогда не называл его больше Сафраном (хотя ему и мерещилось, что шепотом, за глаза, его то и дело так называют). К нему вернулось большинство старых клиентов, и хоть они и отказывались брать у него ссуды под процент времен его расцвета, Янкель-Сафран сумел-таки вновь утвердиться в родимом штетле, к чему в конечном итоге стремится каждый изгнанник.

Когда черношляпники вручили ему малютку, он вдруг и сам почувствовал себя заново рожденным, точно получил шанс зажить без стыда, забыть о необходимости постоянно искать оправдания допущенным ошибкам, шанс вновь стать невинным, просто и невозможно счастливым. Он дал ей имя Брод — в честь реки, подарившей столь удивительное рождение, и повязал ей на шею нитку с нанизанной на нее крошечной костяшкой счетов, чтобы она не чувствовала себя посторонней в обществе человека, который отныне становился ее семьей.

Когда моя пра-пра-пра-пра-пра-прабабушка подросла, она этого, конечно, не помнила, и никто ей ничего не рассказывал. Янкель придумал историю о ранней кончине ее матери — *без страданий, во*

время родов, — а на возникавшие многочисленные вопросы отвечал так, чтобы как можно меньше ее ранить. Это от матери ей достались такие изумительные оттопыренные уши. И чувство юмора, так восхищавшее знакомых мальчишек, она тоже унаследовала от нее. Он рассказывал Брод об их поездках на вакации (как в Венеции жена вынимала ему занозу из пятки, как в Париже он делал ее набросок красным карандашом у высокого фонтана), он показывал ей их любовную переписку (письма, якобы полученные им от матери Брод, он писал левой рукой), он баюкал ее перед сном сказками об их удивительном романе.

Ты влюбился в нее с первого взгляда, Янкель?

Я влюбился в нее еще до того, как увидел — по запаху.

Расскажи еще раз, какая она была.

Копия — ты. Такая же красавица, и глаза, как у тебя, разноцветные. Один — голубой, другой — карий, как твои. Те же выдающиеся скулы, та же нежная кожа.

А какая была ее самая любимая книга?

Книга Бытия, конечно же.

Она верила в Бога?

Она бы ни за что не сказала.

А пальцы у нее были длинные?

Вот такие.

А ноги?

Вот такие.

Расскажи еще раз, как она дула тебе на лицо перед каждым поцелуем.

Тут и рассказывать нечего: она всегда дула мне на губы, прежде чем поцеловать, как будто я был горячим пирожком и она собиралась меня скушать!

Смешная она была? Смешнее меня?

Не было в мире человека смешнее. И ты в точности такая же.

Она была красивая?

Случилось то, что и должно было случиться: Янкель влюбился в свою выдуманную жену. Он мог теперь проснуться среди ночи, тоскуя по весу, никогда не отяжелявшему постели рядом с ним, припоминая весомость жестов, никогда ею не сделанных, изнывая без невесомости ее неруки поперек его слишком реального торса, что делало его

вдовствующие воспоминания еще более убедительными, а боль, которую они причиняли, еще более невыносимой. Он чувствовал, что он ее потерял. И он ее *действительно* потерял. По ночам он перечитывал письма, которые она никогда ему не писала.

Мой самый любимый Янкель,

Как ни сладостна тоска, так сильно тосковать по мне незачем, потому что скоро я уже буду дома, с тобой. До чего же ты глупенький. Говорили тебе об этом? Ах, если б ты только знал, до чего ты глупенький! Может, потому я так сильно в тебя и влюбилась, что сама порядочная дурында.

Здесь все чудесно. Все, как ты и обещал, красота неописуемая. Люди добры, и питание отменное, о чем упоминаю лишь потому, что знаю, как ты всегда волнуешься, не забываю ли я поесть. Не забываю, не волнуйся.

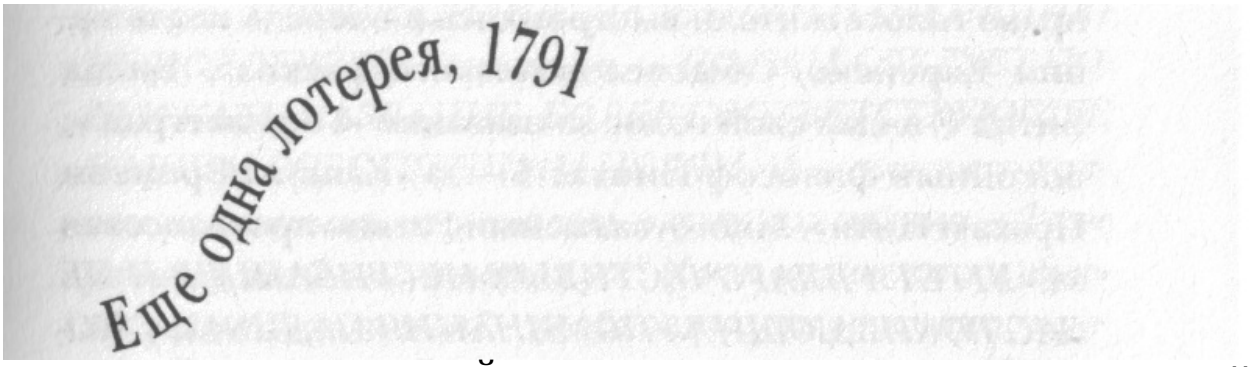
Очень скучаю по тебе. Скажу даже — невыносимо.

Каждый день, каждый миг думаю только о том, как мне тебя не хватает, и это меня доканывает. Но, конечно, скоро я возвращусь и перестану скучать, перестану убиваться от мысли, что что-то важное, самое-самое важное, не рядом, а то, что рядом — не со мной. Перед отходом ко сну я каждый раз целую подушку, воображая, что это ты. Ты бы обязательно так делал, я знаю. Может, потому-то и я так делаю.

Это почти сработало. От частого повторения вымышленные факты сделались совсем неотличимыми от невымышленных. И только невымышленная записка все возвращалась и возвращалась к нему, не позволяя достичь такой простой и невозможной вещи, как счастье. *Иначе поступить не могла.* Брод обнаружила записку, когда ей было всего несколько лет от роду. Непостижимым образом она проникла к ней в правый карман, как будто у записки могли быть для этого свои соображения, как будто четыре накорябанных на ней слова действительно желали разрушить реальность. *Иначе поступить не могла.* Брод либо почувствовала безмерную важность записки, либо не придала ей вообще никакого значения, потому что, не сказав Янкелю ни слова, она оставила ее на столике возле его кровати, где он той же ночью на нее и наткнулся, откладывая в сторону очередное письмо не ее матери, не его жены. *Иначе поступить не могла.*

Я не грущу.

Еще одна лотерея, 1791



МНОГОУВАЖАЕМЫЙ РАВВИН заплатил половину чертовой дюжины яиц и горсть черники за то, чтобы Шимон Т поместил в своем еженедельном информационном листке следующее объявление: что-де взбалмошной львовской магистратуре приспичило дать имя безымянному штетлу; что имя сие будет фигурировать на новых картах и при проведении переписей; что оно не должно уязвлять чересчур чувствительных граждан украинского и польского происхождения или быть труднопроизносимым и что решение необходимо принять до конца недели.

РЕФЕРЕНДУМ! — провозгласил Многоуважаемый Раввин. — *ЭТО ТРЕБУЕТ РЕФЕРЕНДУМА.* Ибо, как разъяснил некогда Досточтимый Раввин: *И ЕСЛИ ИСХОДИТЬ ИЗ ТОГО, ЧТО КАЖДЫЙ ВМЕНЯЕМЫЙ, МОРАЛЬНО УСТОЙЧИВЫЙ, МАЛОМАЛЬСКИ ОБРАЗОВАННЫЙ, ВЛАДЕЮЩИЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ, СОБЛЮДАЮЩИЙ ПОСТ, ДОСТИГШИЙ ЗРЕЛОСТИ ЕВРЕЙ МУЖСКОГО ПОЛА РОЖДАЕТСЯ СО СВОИМ НЕПОВТОРИМЫМ ГОЛОСОМ, НЕ ДОЛЖНЫ ЛИ ВСЕ ЭТИ ГОЛОСА БЫТЬ УСЛЫШАННЫМИ?*

На следующее утро возле Несгибаемой Синагоги был выставлен ящик для бюллетеней, а все имевшие право голоса жители выстроились в очередь вдоль линии Еврейско/Общечеловеческого раскола. Битцл Битцл Р подал свой голос за название «Гефилтеград[3]»; покойный философ Пинхас Т — за «Капсула Времени Праха и Нити». Многоуважаемый Раввин проголосовал за «*ШТЕТЛ БЛАГОЧЕСТИВЫХ НЕСГИБАНЦЕВ И НЕ ЗАСЛУЖИВАЮЩИХ УПОМИНАНИЯ ПАДШИХ С КОТОРЫМИ НИ ОДИН УВАЖАЮЩИЙ СЕБЯ ЕВРЕЙ ДЕЛА ИМЕТЬ НЕ СТАНЕТ, ЕСЛИ ТОЛЬКО ОН НЕ ЛЮБИТЕЛЬ*

ИСКАТЬ ПРИКЛЮЧЕНИЙ НА СВОЮ ГОЛОВУ».

Сумасшедший сквайр Софьевка Н, у которого времени было полно, а дел никаких, вызвался весь день присматривать за ящиком, а вечером доставить его в львовскую магистратуру. Утром пришел указ: расположенный в двадцати трех километрах на юго-восток от Львова, в четырех километрах к северу от Колков и стелющийся вдоль линии польско-украинской границы, как ветка вдоль плетня, штетл именовать отныне Софьевкой. К ужасу будущих софьевцев, новое название признавалось окончательным и обжалованию не подлежало. Оно и останется со штетлом до самого конца.

Конечно же, никто в Софьевке штетл Софьевкой не называл. Пока ему не присвоили это удручающее официальное имя, ни у кого и мысли не возникало, что штетлу непременно нужно как-нибудь называться. Но после понесенного оскорбления — а разве не оскорбление нести в века имя недоумка? — жители поняли, как их штетл называться *не* будет. Некоторые сразу же окрестили его Несофьевкой и называли его так даже после того, как ему выбрали другое имя.

Многоуважаемый Раввин объявил повторный референдум. *ОФИЦИАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ*, — сказал он. — *НО НАМ СЛЕДУЕТ ПОДЫСКАТЬ НАЗВАНИЕ, БОЛЕЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕНАШИМ СОБСТВЕННЫМ ЦЕЛЯМ.* И хотя никто толком не понимал, что имелось в виду под целями — *Развераньше у нас были какие-то цели? И как соотносится с общими целями моя личная?* — необходимость еще одного референдума никто под вопрос не ставил. Возле Несгибаемой Синагоги вновь появился ящик для бюллетеней, только присматривали за ним на этот раз двойняшки — дочери Многоуважаемого Раввина.

Страдающий артритом слесарь Ицхак В проголосовал за «Пограничинск». Правовед Исаак М — за «Благонравск». Лиля Ф, потомок первого Падшего, выпустившего из рук Великую Книгу, уговорила двойняшек тайком принять от нее бюллетень с надписью «Пинхас». (Двойняшки тоже проголосовали: Ханна за «Чана», Чана — за «Ханна».)

Вечером Многоуважаемый Раввин пересчитал бюллетени. За каждое название было подано равное число голосов — по одному: Малый Луцк, *НЕСГИБАННЫЙ КРАЙ*, Новые Горизонты, Черта Оседлости, Иешуа, Замочный Ключ… Посчитав, что фиаско и без того

безмерно затянулось, и уговаривая себя, что именно так поступил бы Господь, окажись он в его положении, Многоуважаемый Раввин решил тянуть записку вслепую и назвать штетл так, как в ней будет написано.

Досточтимый Раввин кивнул, пробегая глазами ставший уже знакомым почерк. *ЯНКЕЛЬ ОПЯТЬ ПОБЕДИЛ*, — сказал он. — *ЯНКЕЛЬ НАЗВАЛ НАС ТРАХИМБРОД.*

23сентября 1997
Дорогой Джонатан,

Меня сделало розовым до мурашек получить твое письмо и узнать, что ты восстановлен в университете для заключительного года. Что до меня, то мне по-прежнему предстоит два года занятий в кругу останков. Я не знаю, что буду исполнять после. Многое из того, о чем ты проинформировал меня в июле, сохраняет для меня знаменательность, как, например, то, что ты изрек про поиск мечты, и как если у тебя есть хорошая и осмысленная мечта, ты обязан отправляться на ее поиски. Должен сказать, что тебе это более проще.

Я не умирал от жажды упомянуть это, но упомяну. Скоро у меня будет достаточно валюты для покупки авиаваучера в Америку. Отец об этом не знает. Он думает, что я рассеиваю все, чем владею, в знаменитых дискотеках, но взамен них я часто иду на пляж и сижу там насестом по много часов, чтобы не рассеивать валюту. Когда я сижу насестом на пляже, я думаю о том, как тебе повезло.

Вчера Игорьку исполнилось четырнадцать. За день тому назад он сделал себе сломанную руку, на этот раз из-за забора, на который влезал, если ты можешь в это поверить. Мы все упрямо старались сделать его радостным человеком, и Мама приготовила торт высшей пробы, у которого было много уровней, и даже устроили маленький праздник. Дедушка, конечно, наличествовал. Он осведомился, как ты, и я сообщил ему, что ты возвращаешься в университет в сентябре, то есть сейчас. Я не информировал его о том, как охранник украл коробку Августины, потому что знал, что ему станет стыдно, а вести о тебе его обрадовали, а он никогда нерадостен. Он хотел через меня осведомиться, возможная ли это вещь, чтобы ты отпочтовал еще одну репродукцию фотографии Августины. Он сказал, что возместит тебе валютой за любые расходы. Я очень огорчаюсь из-за него, о чем уже проинформировал тебя в предыдущем письме. Его здоровье терпит разгром. Он не обладает энергией, чтобы часто нервироваться, и обычно в молчании. По правде, я бы предпочел, если

бы он на меня наорал или даже звезданул.

Отец купил Игорьку новый велосипед на его день рождения, что является подарком высшего качества, потому что я знаю, что Отец не обладает валютой для таких подарков, как велосипед. «Бедный Неуклюжина, — сказал он, удлиняясь положить свою руку Игорьку на плечо. — Он должен радоваться в день рождения». Я окружил конвертом изображение велосипеда. Сообщи, если он суперклевый. Пожалуйста, будь правдив. Я не рассержусь, если ты сообщишь мне, что он не суперклевый.

Вчера ночью я постановил не идти ни во что знаменитое. Вместо этого я сидел насестом на пляже. Но я не был в обычном одиночестве, потому что я взял с собой фотографию Августины. Должен признаться, что я экзаменую ее с большой повторяемостью и упорствую в размышлениях над тем, что ты сказал про то, как в нее нельзя не влюбиться. Она красивая. Ты прав.

Довольно моей миниатюрной болтовни. Я делаю из тебя скучного человека. Теперь я буду говорить по поводу своего повествования. Я ощутил, что ты был не так уж умиротворен вторым разделом. За это я ем очередной кусок позорного пирога. Но твои поправки были до того легкие. Спасибо, что проинформировал меня, что надо говорить просто «наложить в штаны», или «обосраться», и еще «прийтись кстати» вместо «идти в руку». Мне очень полезно знать правильные идиомы. Это необходимо. Я знаю, что ты просил меня не видоизменять ошибки, потому что они звучат юмористически, а юмор — единственный правдивый способ рассказать печальный рассказ, но я думаю, что я их видоизменю. Пожалуйста, не сердись на меня.

Я переоформил все остальные приказанные тобой поправки. Я вставил все, как ты распорядился, в часть про когда я первый раз тебя встретил. (Ты по правде думаешь, что мы сопоставимы?) Как ты приказал, я удалил предложение «Он был беспощадно низкого роста» и вставил на его место «Подобно мне, он не был высок». И после предложения ««О», — сказал Дедушка, и я ощутил, что он все еще отшвартовывается от сновидения» я добавил, как ты приказал: «О Бабушке?».

Я уверен, что с этими изменениями вторая часть моего повествования безупречна. Я не смог не заметить, что ты снова отпочтовал мне валюту. За это я снова тебя благодарю. Но, как

попугай, повторяю, что уже изрекал: если ты не умиротворен тем, что я тебе отпочтовываю и хотел бы, чтобы валюта была отпочтована назад, я ее отпочтую незамедлительно. У меня нет другого способа гордости.

Над этой следующей секцией я горбатил очень усердно. Она была емкотруднее всех. Я предпринял попытку угадать некоторые из вещей, которые ты заставил бы меня видоизменить, и видоизменил их самостоятельно. Например, я не использовал слово «нервировать» с такой периодичностью, потому что ощутил, что оно делает тебя на нервах, когда прочитал в твоем письме: «Перестань употреблять слово «нервировать». Оно меня достало». Я также изобрел вещи, которыми надеялся тебя умиротворить, вещи смешные и вещи печальные. Я уверен, что ты проинформируешь меня, когда в своих изобретениях я забреду слишком далеко.

Озабоченный своим сочинением, ты выслал мне много страниц, но должен тебе сообщить, что я прочел каждую из них. Книга Повторяющихся Сновидений *— красивая вещь, и должен сказать, что сон про то, как мы сами себе отцы, ввел меня в меланхолию. Это именно то, чего ты добивался, да? Конечно, я не Отец, так что, возможно, я редкая птица для твоего романа. То, что я лицезрею, когда смотрюсь в свое отражение, это не Отец, а негатив Отца.*

Янкель. Он хороший человек, да? Почему, ты думаешь, он обмошенничал того человека столько много лет назад? Возможно, ему беспощадно потребовалась валюта. Я знаю, как это бывает, хотя я бы никогда не стал никого мошенничать. Я нашел стимулирующим, что ты произвел вторую лотерею, на этот раз, чтобы обозвать штетл. Это заставило меня подумать над тем, как бы я обозвал Одессу, если бы имел власть. Я думаю, что обозвал бы ее Алекс, потому что тогда все бы знали, что я Алекс и что город называется Алекс, и значит, я должен быть человеком высшей пробы. Еще я мог бы назвать ее Игорек, потому что люди стали бы думать, что мой брат — человек высшей пробы, каков он и есть, но людям было бы полезно так думать. (Это странно, но я желаю для своего брата все, что желаю для себя, только еще упрямее.) Возможно, я назвал бы ее Трахимброд, потому что тогда Трахимброд смог бы существовать, а также потому, что здесь все купили бы твою книгу, и ты мог бы стать знаменитым.

Мне сожалительно заканчивать это письмо. Из того, чем мы

располагаем, это самая ближайшая вещь к разговору. Надеюсь, ты будешь умиротворен третьим разделом, и, как всегда, прошу у тебя прощения. Я предпринял попытку быть правдивым и прекрасным, как ты мне сообщил.

А, да! Есть один дополнительный пункт. Я не удалил Сэмми Дэвис Наимладшую из своего повествования, хоть ты и рекомендовал, чтобы я ее удалил. Ты изрек, что рассказ будет более «утонченным» в ее отсутствие, и я знаю, что утонченный — это как культурный, элегантный и хорошо воспитанный, но хочу тебя проинформировать, что Сэмми Дэвис Наимладшая — очень выдающийся персонаж, обладающий пестрыми аппетитами и зонами страсти. Давай полицезреем ее эволюцию и потом решим.

Бесхитростно,
Александр

Выдвигаясь к Луцку

СЭММИ ДЭВИС НАИМЛАДШАЯ конвертировала свое внимание от пережевывания хвоста к попытке начисто вылизать очки героя, которые, я вам скажу, нуждались в чистке. Я пишу попытке, потому что герой не проявлял общительности. «Не мог бы ты, пожалуйста, забрать от меня эту собаку, — сказал он, сворачивая тело в мяч. — Пожалуйста. Я на самом деле не люблю собак». — «Она всего лишь делает с тобой игры, — сообщил я ему, когда она расположила свое тело над ним и лягнула его задними ногами. — Это знаменует, что ты ей нравишься». — «Пожалуйста», — сказал он, предпринимая попытку удалить ее. Теперь она прыгала вверх и вниз у него на лице. «Она мне, честно, не нравится. Мне не до игр. Она мне очки сломает».

Теперь будет к месту упомянуть, что Сэмми Дэвис Наимладшая нередко проявляет общительность к своим новым друзьям, но подобного мне свидетельствовать не приходилось. Я умозаключил, что она полюбила героя. «Ты облачен в одеколон?» — спросил я. «Что?» — «Ты облачен в одеколон?» Он развернул тело так, чтобы его лицо было в сиденье, подальше от Сэмми Дэвис Наимладшей. «Может быть, самую малость», — сказал он, защищая зад головы руками. «Потому что она любит одеколон. Он делает ее сексуально стимулированной». — «Господи Исусе». — «Теперь она пытается сделать тебе секс. Это хороший знак. Это знаменует, что она не укусит». — «Помогите», — сказал он, в то время как Сэмми Дэвис Наимладшая развернулась, чтобы сделать с ним шестьдесят девять. В протяженности этого Дедушка все еще продолжал возвращаться из своего сна. «Она ему не нравится», — сообщил я Дедушке. «Нет, нравится», — сказал он, и все. «Сэмми Дэвис Наимладшая! — позвал я. — Сидеть!» И знаете что? Она села. На героя. В позиции шестьдесят девять. «Сэмми Дэвис Наимладшая! Сядь на своей половине сиденья! Слезь с героя!» Я думаю, что она доуразумела, потому что удалила себя от героя и возвратилась на другую сторону, где принялась звездаться лицом о стекло. А возможно, она слизала с героя весь одеколон и больше не интересовалась им сексуально, а только по-дружески. «Вы чувствуете этот отвратительный запах?» — осведомился герой, удаляя мокрость с задней стороны своей шеи. «Нет», — сказал я. Неистина, подходящая к

случаю. «Пахнет чем-то просто чудовищно. Так пахнет, как будто кто-то умер в этом автомобиле. Что это такое?» — «Понятия не имею», — сказал я, хотя я имел понятие.

Я не помышляю, что в автомобиле был хотя бы один человек, который удивился, когда мы оказались потерянными промежду львовским вокзалом и супервеем, ведущим в Луцк. «Я ненавижу Львов», — сказал Дедушка, развернувшись, чтобы сообщиться с героем. «Что он говорит?» — спросил меня герой. «Он говорит, что осталось недолго», — сказал я другую подходившую к случаю неистину. «Недолго до чего?» — спросил герой. Я сказал Дедушке: «Со мной ты не обязан быть добр, но не впутывай еврея». Он сказал: «Я могу говорить ему все, что захочу. Он не поймет». Я развернул голову вертикально для блага героя. «Он говорит, что осталось недолго до того, как мы выедем на супервей в Луцк». — «А оттуда? — спросил герой. — Как долго оттуда до Луцка?» Он приклеил свое внимание к Сэмми Дэвис Наимладшей, которая продолжала звездаться головой об окно. (Но здесь к месту упомянуть, что она была хорошей сукой, потому что звездалась головой только о свое окно, а когда ты в автомобиле, сука — не сука, на своей половине сиденья можешь делать, что тебе вздумается. И еще она перестала столько пердеть.) «Скажи, чтоб он заткнул свою пасть, — сказал Дедушка. — Я не могу вести, когда он разговаривает». — «Наш водитель говорит, что в Луцке много строений», — сообщил я герою. «Нам грандиозно платят, чтобы мы слушали, как он разговаривает», — сообщил я Дедушке. «Мне не платят», — сказал он. «Мне тоже, — сказал я. — Но кому-то ведь платят». — «Что?» — «Он говорит, что от супервея не больше двух часов до Луцка, где мы найдем какой-нибудь ужасный отель для ночи». — «Что ты имеешь в виду, когда говоришь ужасный?» — «Что?» — «Я… сказал… что… ты… имеешь… в… виду… когда… говоришь… что… отель… будет… ужасным?» — «Скажи, чтобы он заткнул свою пасть». — «Дедушка говорит, что тебе следует выглянуть в окно, если ты хочешь что-нибудь увидеть». — «Что насчет ужасного отеля?» — «О, я умоляю тебя забыть, что я это сказал». — «Я ненавижу Львов. Я ненавижу Луцк. Я ненавижу еврея на заднем сиденье этого автомобиля, который я ненавижу». — «Ты не делаешь наше положение более проще». — «Я слепой. Мне полагается быть умственно престарелым». — «Что вы там говорите? И что это за чертов запах?» —

«Что?» — «Скажи, чтобы он заткнул свою пасть или я срулю нас с дороги». — «Что… вы… там… говорите?» — «Еврея надо заставить замолчать. Я убью нас». — «Мы говорили, что поездка, возможно, немного затянется». Она захватила пять долгих часов. Если хотите знать почему, то это потому, что Дедушка — это сначала Дедушка, а водитель потом. Он часто делал нас потерянными, а себя на нервах. Мне пришлось переводить его ярость в полезную для героя информацию. «Блядь», — сказал Дедушка. Я сказал: «Он говорит, если ты посмотришь на статуи, то увидишь, что некоторых больше нет. Раньше там стояли коммунисты». — «На хуй, блядь, заебало!» — крикнул Дедушка. «О, — сказал я, — он хочет, чтобы ты знал, что то здание, то здание и вон то очень важные». — «Почему?» — осведомился герой. «Ебенать!» — сказал Дедушка. «Он не может вспомнить», — сказал я.

«Не могли бы вы включить немного кондиционирования?» — приказал герой. Я был унижен до максимума. «Этот автомобиль не располагает кондиционированием, — сказал я. — Я поедаю пирог позора». — «Можно тогда хоть стекла опустить? Здесь очень душно и пахнет, будто кто-то сдох». — «Сэмми Дэвис Наимладшая выпрыгнет». — «Кто?» — «Наша сука. Ее зовут Сэмми Дэвис Наимладшая». — «Это шутка такая?» — «Нет, по правде, выпрыгнет». — «Я имею в виду его имя». — «*Ее* имя», — исправил я, потому что первосортен с личными местоимениями. «Скажи, чтобы он залепил губы», — сказал Дедушка. «Он говорит, что сука получила имя в честь его любимого певца, которым был Сэмми Дэвис-младший». — «Еврей», — сказал герой. «Что?» — «Сэмми Дэвис-младший был еврей». — «Это невозможно», — сказал я. «Новообращенец. Он пришел к еврейскому Богу. Смешно». Я сообщил об этом Дедушке. «Сэмми Дэвис-младший не был евреем! — завопил он. — Он был негр из Крысиной Стаи!» — «Наш еврей уверен, что был». — «Музыкант? Еврей? Это невозможная вещь!» — «Так он меня информирует». — «Дин Мартин Младшая! — завопил Дедушка заднему сиденью. — Иди сюда! Давай, моя девочка!» — «Мы можем, пожалуйста, опустить стекла? — сказал герой. — Нет больше сил жить с этим запахом». Я слизал с тарелки последние крошки пирога позора. «Это всего лишь Сэмми Дэвис Наимладшая. Автомобиль вынуждает ее ужасно пердеть, потому что в нем нет ни рессор, ни подвески, но если мы опустим стекла, она выпрыгнет, а она нам нужна, поскольку эта сука —

поводырь для нашего слепого водителя, который также мой дедушка. Чего ты не понимаешь?»

В протяженность этой пятичасовой автомобильной поездки от львовского вокзала до Луцка герой и объяснил мне, зачем он приехал в Украину. Он извлек несколько вещей из своей боковой сумки. Сначала он экспонировал мне фотографию. Она была желтой, и сложенной, и имела избыточное число фиксаторов, фиксировавших ее в одно. «Видишь? — сказал герой. — Это мой дедушка здесь, Сафран». Он указал пальцем на молодого человека, который, могу сказать, выглядел совсем как герой и мог бы быть героем. «Это смято во время войны». — «Кем смято?» — «Да не смято, а снято. Фото снято во время войны». — «Я понимаю». — «Эти люди рядом с ним — семья, которая спасла его от нацистов». — «Что?» — «Они… спасли… его… от… на… цистов». — «В Трахимброде?» — «Нет, но где-то за пределами Трахимброда. Он избежал нацистского рейда на Трахимброд. Все остальные были убиты. Он потерял жену и грудного ребенка». — «Они потерялись?» — «Они были убиты нацистами». — «Но если это было не в Трахимброде, зачем мы направляемся в Трахимброд? И как мы отыщем эту семью?» Он объяснил мне, что мы ищем не семью, а эту девочку. Только она и могла остаться в живых.

Он подвинул палец вдоль лица девочки на фотографии, когда упомянул о ней. Она стояла ниже и правее от его дедушки на изображении. Рядом с ней был мужчина, который, я уверен, был ее отцом, а сзади была женщина, которая, я уверен, была ее матерью. Ее родители выглядели очень по-русски, а она — нет. Она выглядела американкой. Она была молодой девочкой, возможно, лет пятнадцати. Но я допускаю, что и более старее. Она могла быть такой же старой, как мы с героем, и дедушка героя мог быть того же возраста. Я смотрел на девочку многократность минут. Она была до того красивая. Волосы у нее были каштановые и покоились на плечах. Глаза выглядели печальными и очень умными.

«Я хочу увидеть Трахимброд, — сказал герой. — Увидеть, на что похожи места, где вырос мой дедушка, где бы и я сейчас жил, если бы не война». — «Ты был бы украинцем». — «Точно». — «Как я». — «Вероятно». — «Только не как я, потому что ты бы был фермером в невпечатляющем городке, а я живу в Одессе, которая совсем как Майами». — «Я и хочу увидеть, на что он сейчас похож. Не думаю, что

там остались евреи, но, может быть, и остались. И потом, в штетлах жили не только евреи, найдем кого расспросить». — «Где жили?» — «В штетлах. Штетл — это как деревня». — «Почему ты не обзовешь его просто деревней?» — «Это еврейское слово». — «Еврейское слово?» — «На идиш. Как шмак». — «Что значит шмак?» — «Если кто-то делает что-то, с чем ты не согласен, то он шмак». — «Научи меня еще чему-нибудь». — «Поц». — «Что это значит?» — «Это как шмак». — «Научи меня еще чему-нибудь». — «Шмендрик». — «Что это значит?» — «Это тоже как шмак». — «Ты знаешь какие-нибудь слова, которые не как шмак?» Он задумался на мгновение. «Шалом, — сказал он. — Хотя это три слова, и к тому же на иврите, а не на идиш. Все остальное, что приходит на ум, в общем-то шмак. У эскимосов есть четыреста слов, обозначающих снег, а у евреев четыреста слов, обозначающих шмак». Я залюбопытствовал: что такое эскимос?

«Так мы будем знакомиться с достопримечательностями штетла?» — спросил я героя. «Я полагал, что поиск следует начать именно там». — «Поиск?» — «Августины». — «Кто это Августина?» — «Девочка из фотографии Единственная, кто еще может оставаться в живых» — «А-а… Мы будем искать Августину, которая, как ты думаешь, спасла твоего дедушку от нацистов». — «Да». На мгновение стало очень тихо. «Я бы хотел ее найти», — сказал я. Я ощутил, что мои слова умиротворили героя, хотя я не произносил этого, чтобы его умиротворить. Я произнес их, чтобы быть достоверным. «А потом, — сказал я, — если мы ее найдем?» Герой стал задумчивым человеком. «Я не знаю, что потом. Наверное, скажу ей спасибо». — «За спасение твоего дедушки?» — «Да» — «Это будет очень странно, да?» — «Что?» — «Когда мы ее найдем». — «Если мы ее найдем». — «Мы ее найдем» — «Вряд ли», — сказал он. «Тогда зачем мы ищем?» — запросил я, но прежде чем он успел ответить, я перебил себя другим запросом. «И откуда ты знаешь, что ее зовут Августина?» — «Вообще-то я этого точно не знаю На обороте, видишь, здесь, написано несколько слов, по-моему, дедушкиным почерком. Но, может, и нет. Это на идиш. Здесь говорится: «Это я с Августиной, 21 февраля, 1943». — «Это очень трудно для чтения». — «Да» — «Почему, ты думаешь, он делает заметку только об Августине, а не о двух других людях на фотографии?» — «Я не знаю». — «Это странно, да? Это странно, что он отмечает только ее. Ты думаешь, он ее любил?» — «Что?» — «Потому

что он только ее отмечает». — «Ну и?» — «Ну и, возможно, он ее любил». — «Забавно, что ты так подумал. У нас, должно быть, мозги устроены одинаково». (Спасибо, Джонатан.) «Вообще-то, я много об этом думал, хотя и без всякого повода. Ему было восемнадцать, а ей — сколько? — вокруг пятнадцати? Он только что потерял жену и дочь во время нацистского рейда на его штетл». — «Трахимброд?» — «Да. Может быть, надпись и не связана с изображением. Дедушка мог использовать обратную сторону снимка как обрывок». — «Обрывок?» — «Бумагу, потерявшую важность. Чтобы на ней записать». — «А-а». — «Так что я понятия не имею. Маловероятно, чтобы он ее любил. Но, правда, есть какая-то странность в этом изображении, какая-то близость между ними, хоть они и не смотрят друг на друга? То, как они не смотрят друг на друга. В этом столько мощи, ты не находишь? И его слова на обороте». — «Да». — «И то, что мы оба подумали о возможности его любви к ней, тоже странно». — «Да», — сказал я. «Одна моя часть хочет, чтобы он ее любил, а другая моя часть ненавидит саму мысль об этом». — «Что это за часть, которая ненавидит, чтобы он ее любил?» — «Знаешь, хочется думать, что некоторые вещи в жизни не подлежат замене». — «Я не понимаю. Он женился на твоей текущей бабушке, значит, что-то было заменено». — «Но это другое». — «Почему?» — «Потому что она моя бабушка». — «Твоей бабушкой могла быть Августина». — «Нет, она могла быть бабушкой только кому-то другому. Может быть, что и есть. У них с дедушкой могли быть дети». — «Не говори такого о своем дедушке!» — «Но я ведь знаю, что до этого у него были дети, что ж тут особенного?» — «Что если мы откроем твоего брата?» — «Не откроем». — «И как ты обрел эту фотографию?» — спросил я, держа ее на просвет окна. «Два года назад бабушка отдала ее маме и сказала, что это та самая семья, которая спасла моего дедушку от нацистов». — «Почему только два года назад?» — «Что ты имеешь в виду?» — «Что в ней стало по-новому, что она отдала ее твоей маме?» — «А-а, понимаю, о чем ты спрашиваешь. У нее были свои причины». — «Какие это причины?» — «Я не знаю». — «Ты осведомился у нее про надпись на обороте?» — «Нет. Мы ни о чем таком спрашивать ее не могли». — «Почему нет?» — «Она хранила эту фотографию пятьдесят лет. Если б она хотела что-то нам о ней рассказать, она бы рассказала». — «Теперь я понимаю». — «Я ей даже о своей поездке в Украину не мог сообщить. Она думает, что я

по-прежнему в Праге». — «Почему так?» — «У нее об Украине нехорошие воспоминания. Ее штетл, Колки, всего в нескольких километрах от Трахимброда. Я полагаю, мы его тоже навестим. Но вся ее семья была убита, целиком — мать, отец, сестры, бабушка с дедушкой». — «Ее спас украинец?» — «Нет, она бежала еще до войны. Она была молода и ушла из семьи». Ушла из семьи. Я зарубил это у себя на лобном месте. «Меня удивляет, что никто не спас ее семью», — сказал я. «Ничего удивительного. В то время украинцы к евреям относились ужасно. Едва ли не хуже нацистов. Это был другой мир. В начале войны многие евреи хотели идти к нацистам, чтобы те защитили их от украинцев». — «Это неправда». — «Правда». — «Не могу поверить в то, что ты говоришь». — «Загляни в книги по истории». — «Книги по истории такого не сообщают». — «Но что же делать, если так было. Украинцы славились ужасным отношением к евреям. И поляки тоже. Слушай, я не хочу тебя обидеть. К тебе это вообще не относится. Мы говорим про пятьдесят лет назад». — «Я думаю, что ты ошибаешься», — сообщил я герою. «Не знаю, что на это сказать». — «Скажи, что ты ошибаешься». — «Не могу». — «Ты должен».

«Вот мои карты», — сказал он, извлекая несколько клочков бумаги из своей сумки. Он указал пальцем на тот, что был мокрым от Сэмми Дэвис Наимладшей. Я надеялся, от ее языка. «Вот Трахимброд, — сказал он. — На некоторых картах он также называется Софьевка. Вот Луцк. Вот Колки. Это старая карта. Большинство мест, которые нам нужны, на новых картах отсутствуют. На, — сказал он и презентовал ее мне. — Можешь посмотреть, куда нам ехать. Это все, что у меня есть: карты и фотография. Не так много». — «Я тебе обещаю, что мы найдем Августину», — сказал я. Я ощутил, что это сделало героя умиротворенным. Меня это тоже сделало умиротворенным. «Дедушка», — сказал я, снова разворачиваясь к переду. Я объяснил ему все, что герой изрек для меня. Я проинформировал его об Августине, и о картах, и о бабушке героя. «Колки?» — спросил он. «Колки», — сказал я. Я удостоверился включить все подробности и также изобрел несколько новых, чтобы Дедушка более лучше понял рассказ. Я ощутил, что рассказ ввел Дедушку в сильную меланхолию. «Августина», — сказал он и толкнул Сэмми Дэвис Наимладшую ко мне. Он тщательно исследовал фотографию, пока я фиксировал руль. Он поднес ее к самому лицу, как будто хотел ее понюхать или дотронуться до нее

глазами. «Августина». — «Это та, которую мы разыскиваем», — сказал я. Он двинул головой туда и сюда. «Мы найдем ее», — сказал он. «Я знаю», — сказал я. Хотя я не знал, и Дедушка тоже.

Когда мы достигли отеля, темнота уже приступила к сгущению. «Ты должен оставаться в автомобиле», — сообщил я герою, потому что иначе отелевладелец мог узнать, что герой американец, а Отец сообщил мне, что они берут с американцев с излишком. «Почему?» — спросил он. Я сообщил ему, почему. «Откуда они узнают, что я американец?» — «Скажи ему, чтобы оставался в автомобиле, — сказал Дедушка. — А не то они возьмут с него дважды». — «Я усиливаюсь», — сообщил я ему. «Я бы хотел войти с тобой, — сказал герой. — Посмотреть, что за место». — «Зачем?» — «Просто посмотреть. Увидеть, на что это похоже». — «Ты сможешь увидеть, на что это похоже, после того как нас поселят». — «Я бы предпочел сделать это сейчас», — сказал он, и я должен признаться, что он начинал быть у меня на нервах. «Хули ему еще непонятно?» — спросил Дедушка. «Он хочет войти со мной». — «Почему?» — «Потому что он американец». — «Ничего, если я войду?» — снова спросил он. Дедушка повернулся к нему и сказал мне: «Он платит. Если он хочет платить с излишком, пусть платит с излишком». Поэтому я прихватил его с собой, когда вошел в отель, чтобы заплатить за два номера. Если хотите знать, почему за два номера, то один был для нас с Дедушкой, а другой — для героя. Отец сказал, чтобы мы поступили именно так.

Когда мы вошли в отель, я сказал герою не разговаривать. «Не разговаривай», — сказал я. «Почему?» — спросил он. «Не разговаривай», — сказал я голосом, лишенным объемности. «Почему?» — спросил он. «Я тебя наставлю позднее. Шшшш». Но он продолжал осведомляться, почему ему нельзя разговаривать, и я был уверен, что отелевладелец его услышал. «Мне необходимо лицезреть ваши документы», — сказал отелевладелец. «Ему необходимо лицезреть твои документы», — сказал я герою. «Почему?» — «Дай их мне». — «Почему?» — «Если мы хотим иметь номер, он должен лицезреть наши документы». — «Я не понимаю». — «Здесь нечего понимать». — «Какая-нибудь проблема? — осведомился у меня отелевладелец. — Потому что это единственный отель в Луцке, который все еще обладает номерами в эту пору ночи. Вы желаете попробовать счастья на улице?»

Мне наконец удалось возобладать над героем, чтобы он дал мне

документы. Он сохранял их в специальной сумочке у себя на ремне. Позднее он сообщил мне, что сумочка называется пидараской, и что пидараски в Америке не модны, и что он облачился в пидараску только потому, что так сказал ему путеводитель, который рекомендовал держать документы ближе к центру тела. Как я был уверен, отелевладелец взял с героя специальный иностранный тариф. Я не просветил об этом героя, потому что знал, что он начнет фабриковать запросы, покуда ему не придется платить четыре раза, а не два, или покуда мы не останемся вообще без номеров и будем вынуждены отойти на покой в автомобиле, к чему Дедушка уже и без того пристрастился.

Когда мы возвратились к автомобилю, Сэмми Дэвис Наимладшая жевала на заднем сиденье хвост, а Дедушка снова производил храпунчики. «Дедушка, — сказал я, поправляя его руку, — мы обрели номер». Мне пришлось сдвинуть его с избытком насилия, чтобы его пробудить. Когда он сделал глаза открытыми, он не понял, где он. «Анна?» — спросил он. «Нет, Дедушка, — сказал я. — Это я, Саша». Он загорелся стыдом и спрятал от меня лицо. «Мы получили номер», — сказал я. «С ним все о'кей?» — спросил меня герой. «Да, он изнурен усталостью». — «Но завтра он будет о'кей?» — «Конечно». Но, по правде, Дедушка не был сам на себя не похож. А может, наоборот, похож. Я не знал, когда он похож на себя, а когда нет. Я вспомнил одну вещь, о которой мне сообщил Отец. Когда я был маленьким мальчиком, Дедушка говорил, что я похож на комбинацию Отца, Мамы, Брежнева и себя самого. Меня это всегда очень смешило, но только не в этот момент в автомобиле перед отелем в Луцке.

Я сказал герою не оставлять никаких чемоданов в машине. У людей в Украине есть одна плохая, но популярная привычка брать вещи без спроса. Я читал, что город Нью-Йорк очень опасный, но должен сказать, что Украина опаснее. Если хотите знать, кто вас охраняет от людей, которые берут без спроса, то это полиция. Если хотите знать, кто вас защищает от полиции, то это люди, которые берут без спроса. И нередко это одни и те же люди.

«Давайте поедим», — сказал Дедушка и приступил к вождению. «Ты голодный?» — спросил я героя, который вновь сделался сексуальным объектом Сэмми Дэвис Наимладшей. «Снимите ее с меня», — сказал он. «Голодный ли ты?» — повторил я. «Пожалуйста!»

— взмолился он. Я позвал ее и, когда она не ответила, звезданул ей по морде. Она сдвинулась на свою половину сиденья, потому что теперь доуразумела, что значит быть тупой с неподходящим сексуальным объектом, и приступила к вытью. Думаешь, мне было не погано? «Я умираю от голода», — сказал герой, поднимая голову с колен. «Что?» — «Да, я голодный». — «Значит, ты голодный?» — «Да». — «Хорошо. Наш водитель…». — «Можешь называть его дедушкой. Все равно мы теперь одна братия». — «Вы с ним не братья». — *«Братия.* Я сказал: бра-ти-я». — «Что значит братия?» — «Сообщество». — «Что значит сообщество?» — «Компания». — «Компания — понимаю». — «Вот я и говорю: можешь называть его дедушкой».

Мы стали очень заняты разговором. Когда я развернулся обратно к Дедушке, я увидел, что он снова экзаменует Августину. Промежду ним и фотографией была печаль, и ничто на свете не пугало меня сильнее. «Мы поедим», — сообщил я ему. «Хорошо», — сказал он, держа фотографию в самой близи лица. Сэмми Дэвис Наимладшая упорствовала в вытье. «Только вот что», — сказал герой. «Что?» — «Вам следует знать…». — «Да?» — «Я… как бы это сказать…». — «Что?» — «Я…» — «Ты очень голодный, да?» — «Я вегетарианец». — «Я не понимаю». — «Я не ем мяса». — «Почему нет?» — «Просто не ем». — «Как ты можешь не есть мяса?» — «Не ем — и все». — «Он не ест мяса», — сообщил я Дедушке. «Нет, ест», — проинформировал он меня. «Нет, ешь», — соответственно проинформировал я героя. «Нет. Не ем». — «Почему нет?» — вновь осведомился я. «Просто не ем. Вообще». — «Свинина?» — «Нет». — «Мясо?» — «Никакого мяса». — «Бифштекс?» — «Нет». — «Куры?» — «Нет». — «Ты ешь телятину?» — «Боже упаси. Абсолютно никакой телятины». — «Как насчет колбасы?» — «И колбасу не ем». Я сообщил об этом Дедушке, и он презентовал мне очень обеспокоенный взгляд. «С ним что-то не так?» — спросил он. «С тобой что-то не так?» — спросил я героя. «Такой уж я есть», — сказал он. «Гамбургер?» — «Нет». — «Язык?» — «Так что он сказал с ним не так?» — спросил Дедушка. «Такой уж он есть». — «А колбасу он ест?» — «Нет». — «Не ест колбасы?!» — «Нет. Он говорит, что не ест колбасы». — «По правде?» — «Так он говорит». — «Но колбасу…» — «Я знаю». — «Ты, по правде, вообще не ешь колбасы?» — «Никакой колбасы». — «Никакой колбасы», — сообщил я Дедушке. Он закрыл глаза и попробовал положить руки вокруг живота, но из-за

руля места для этого не было. Он выглядел так, как будто заболел из-за того, что герой отказывался есть колбасу. «Ладно, пусть он сам заключает, что ему есть. Мы пойдем в наиболее приближенный ресторан». — «Ты шмак», — проинформировал я героя. «Ты это слово употребляешь неправильно», — сказал он. «Нет, правильно», — сказал я.

«Что значит, он не ест мяса?» — спросила официантка, и Дедушка положил голову себе в руки. «С ним что-то не так?» — спросила она. «С которым? С тем, что не ест мяса, с тем, у кого голова в руках, или с сукой, жующей свой хвост?» — «С тем, что не ест мяса». — «Такой уж он есть». Герой спросил, о чем мы разговариваем. «У них ничего нет без мяса», — проинформировал я его. «Он вообще никакого мяса не ест?» — вновь осведомилась у меня официантка. «Ну, такой уж он есть», — сообщил я ей. «Колбасу?» — «Никакой колбасы», — ответил официантке Дедушка, разворачивая головой отсюда туда. «Может, тебе съесть немного мяса, — предложил я герою, — потому что у них нет ничего, что не мясо». — «Даже картошки или что-нибудь типа того?» — спросил он. «У вас есть картошка? — спросил я официантку. — Или что-нибудь типа того?» — «Картошку даем только с мясом», — сказала она. Я сообщил об этом герою. «А просто тарелку картошки нельзя получить?» — «Что?» — «Не могу ли я получить две-три картошки без мяса?» — спросил я официантку, и она сказала, что пойдет к повару и осведомится. «Спроси, ест ли он печень?» — сказал Дедушка.

Официантка возвратилась и сказала: «Вот что я имею вам сказать. Мы можем сделать уступку и дать ему две картошки как основное блюдо, но только в сопровождении мяса в качестве гарнира. Повар говорит, что это обсуждению не подлежит. Ему придется съесть». — «Две картошки хватит?» — спросил я героя. «О, более чем». Мы с Дедушкой оба заказали по свиному бифштексу и еще один для Сэмми Дэвис Наимладшей, которая становилась все общительнее с ногой героя.

Когда еда прибыла, герой попросил меня удалить мясо с его тарелки. «Я бы предпочел до него не дотрагиваться», — сказал он. Это дало мне по нервам по максимуму. Если хотите знать, почему, то это потому, что я посчитал, что герой посчитал, что он был слишком хорош для нашей еды. Я взял мясо с его тарелки, потому что знал, что Отец пожелал бы, чтобы я поступил именно так, и я ничего не изрек. «Скажи

ему, что завтра мы начнем очень рано», — сказал Дедушка. «Рано?» — «Чтобы у нас было как можно больше дневных часов на поиски. Ночью будет емкотрудно». — «Мы завтра начнем очень рано», — сказал я герою. «Это хорошо», — сказал герой, лягнув ногой. Я был очень фраппирован желанием Дедушки выдвинуться в путь рано утром. Он ненавидел не пребывать на покое запоздночь. Он вообще ненавидел не пребывать на покое. Он также ненавидел Луцк, и автомобиль, и героя, и, с недавнего времени, меня. Чем раньше мы выедем, тем больше времени ему предстояло среди всего этого не спать. «Дай мне проинспектировать его карты», — сказал он. Я попросил у героя карты. Запуская руку в свою пидараску, он снова лягнул ногой, что заставило Сэмми Дэвис Наимладшую войти в общение с ножкой стола, и сдвинуло с мест тарелки. Одна из картошек героя устремилась к полу. Достигнув пола, она произвела звук. ШЛЕП. Потом она перекувырнулась, а потом стала неподвижной. Мы с Дедушкой проэкзаменовали друг друга. Я не знал, что делать. «Случилась ужасная вещь», — сказал Дедушка. Герой продолжал лицезреть картошку на полу. Это был грязный пол. Это была одна из двух его картошек. «Это чудовищно, — сказал Дедушка совсем тихо и отодвинул в сторону свою тарелку. — Чудовищно». Он был прав.

Официантка возвратилась к нашему столу с колами, которые мы заказали. «Вот ваши…», — начала она, но затем засвидетельствовала картошку на полу и удалилась со свистом пули. Герой продолжал лицезреть картошку на полу. Я не знаю наверняка, но прикидываю, что он прикидывал, что он мог бы ее поднять, положить обратно на тарелку и съесть, или он мог бы оставить ее на полу, уверить себя в том, что недоразумения не происходило, съесть свою единственную картошку и сфальсифицировать радость, или он мог бы отпихнуть ее ногой к Сэмми Дэвис Наимладшей, которой хватало аристократизма не слизывать ее с грязного пола, или он мог бы сообщить официантке о добавке, что означало бы еще один кусок мяса, который мне пришлось бы удалять с его тарелки, потому что мясо ему отвратительно, или он мог бы просто съесть кусок мяса, удаленный с его тарелки ранее, на что я надеялся. Но то, что он сделал, не было ни одной из этих вещей. Если хотите знать, что он сделал, то он не сделал ничего. Мы оставались в молчании, продолжая лицезреть картошку. Дедушка вставил в нее вилку, поднял с пола и положил себе на тарелку. Он разрезал ее на четыре части и дал

одну Сэмми Дэвис Наимладшей, одну мне и одну — герою. Он отрезал часть от своей части и съел ее. Потом он посмотрел на меня. Мне не хотелось, но я знал, что надо. Сказать, что это не было объедением, было бы преувеличением. Потом мы посмотрели на героя. Он посмотрел на пол, а потом на свою тарелку. Он отрезал часть от своей части и посмотрел на нее. «Добро пожаловать в Украину», — сказал ему Дедушка и звезданул меня по спине, что было вещью, доставившей мне усладу. Потом Дедушка начал смеяться. «Добро пожаловать в Украину», — перевел я. Потом я начал смеяться. Потом герой начал смеяться. Мы смеялись долго и усиленно. Мы завладели вниманием всех, кто был в ресторане. Мы смеялись усиленно и еще усиленнее. Я засвидетельствовал, что каждый из нас фабриковал в глазах слезы. Но много времени должно было уйти в зад, чтобы я до-уразумел, что у всех нас были различные причины для смеха, у каждого — своя, и ни одна из этих причин не имела отношения к картошке.

Есть кое-что, о чем я не упомянул ранее и о чем сейчас подходящий случай упомянуть. (Пожалуйста, Джонатан, я умоляю тебя не экспонировать это ни одной душе. Не знаю, почему я пишу здесь об этом.) Однажды ночью я возвратился домой из знаменитого ночного клуба и пожелал лицезреть телевизор. Я удивился, услышав, что телевизор уже включен, потому что было запоздночь. Я помыслил, что это был Дедушка. Как я уже проиллюминировал ранее, он очень часто приходил в наш дом, когда не мог отойти на покой. Это было до того, как он пришел насовсем. Случалось то, что он приступал к отходу на покой, лицезрея телевизор, но потом, через несколько часов, поднимался и возвращался к себе домой. Если я сам не мог отойти на покой и, не могя отойти на покой, слышал Дедушку лицезреющим телевизор, я не знал на другой день, был ли он в доме накануне ночи. Возможно, он был там каждую ночь. Поскольку я этого не знал, я думал о нем как о призраке.

Я никогда не приветствовал Дедушку во время лицезрения телевизора, потому что не хотел к нему вмешиваться. Поэтому в ту ночь я шел медленно и без звуков. Я был уже на четвертой ступеньке, когда услышал что-то странное. Это был не совсем плач. Это был полуплач. Я с медленностью погрузился на четыре ступеньки вниз. Я прошел на цыпочках через кухню и стал обозревать из-за угла промежду кухней и телевизионной. Первым я освидетельствовал телевизор. Он

экспонировал футбольный матч. (Я не помню, кто состязался, но уверен, что наши выигрывали.) Я освидетельствовал руку на стуле, в котором Дедушка любит лицезреть телевизор. Но это была не Дедушкина рука. Я попытался увидеть больше и чуть не перевернулся. Я знаю, что мне следовало распознать звук, который был полуплачем. Это был Игорек. (До чего же я тупой дурак.)

Это сделало меня страдающим человеком. И я вам скажу, почему. Я знал, почему он полуплакал. Знал очень хорошо и хотел подойти к нему и сказать, что я тоже, случалось, полуплакал, совсем как он, и что сколько бы ему ни казалось, что он никогда не вырастет, чтобы, подобно мне, быть человеком высшей пробы, с избытком подружек и стольких многих знаменитых мест для посещения, — он вырастет. Он будет в точности, как я. И посмотри на меня, Игорек, синяки проходят, и ненависть проходит, и уверенность, что ты получаешь в жизни только то, что заслуживаешь, тоже.

Но я не мог сообщить ему ни одной из этих вещей. Я сел насестом на полу кухни, всего в нескольких метрах расстояния от него, и приступил к смеху. Я не знаю, почему я смеялся, но я не мог остановиться. Я нажал рукой на рот, чтобы не фабриковать шума. Мой смех становился больше и больше, пока у меня не скрутило живот. Я предпринял попытку встать, чтобы пойти к себе в комнату, но побоялся, что мне будет слишком тяжело удержать под контролем смех. Я оставался там много-много минут. Мой брат упорствовал в полуплаче, отчего мой молчаливый смех все усиливался. Теперь я в состоянии понять, что точно такой же смех произошел со мной в ресторане Луцка, смех, в котором был тот же мрак, что в смехе Дедушки и смехе героя. (Прошу о снисходительности за это написание. Возможно, я удалю его до того, как отпочтую тебе эту часть. Прости.) Что же до Сэмми Дэвис Наимладшей, то она свою часть картошки так и не съела.

Мы с героем столько много говорили за ужином, в основном об Америке. «Сообщи мне о вещах, которые есть у вас в Америке», — сказал я. «О чем ты хочешь узнать?» — «Мой друг Грегори информирует меня, что в Америке много хороших школ для бухгалтерии. Это правда?» — «Наверное. Я точно не знаю. Могу узнать для тебя, когда вернусь». — «Спасибо», — сказал я, потому что теперь у меня в Америке был контакт и мне не грозило одиночество, а затем: «Что ты хочешь производить?» — «Что я хочу производить?» — «Да.

Кем ты станешь?» — «Не знаю». — «Еще как знаешь». — «Всем понемногу». — «Что значит всем понемногу?» — «Я еще не решил». — «Отец информирует меня, что ты пишешь книгу об этой поездке». — «Я люблю писать». Я звезданул его в спину. «Ты писатель!» — «Шшшшшш». — «Но ведь это хорошая карьера, да?» — «Что?» — «Написание. Очень благородная». — «Благородная? Я не знаю». — «Какие-нибудь из твоих книг опубликовали?» — «Нет, но я еще очень молод». — «Какие-нибудь из твоих рассказов опубликовали?» — «Нет. Ну, есть один или два». — «Как ты их обозвал?» — «Проехали». — «Это первосортный заголовок». — «Нет. Это я тебе говорю — проехали». — «Мне бы очень хотелось прочесть твои рассказы». — «Вряд ли они тебе понравятся». — «Почему ты это говоришь?» — «Они даже *мне* не нравятся». — «А-а». — «Это школярские вещи». — «Что значит школярские вещи?» — «Это ненастоящие рассказы. Я еще только учился писать». — «Но однажды ты научишься, как писать». — «Надо надеяться». — «Это как стать бухгалтером». — «Возможно». — «Почему ты хочешь писать?» — «Я не знаю. Раньше я думал, что это то, ради чего я родился. Нет, так я, конечно, никогда не думал. Это просто расхожее выражение». — «Нет, не выражение. Я вправду чувствую, что рожден, чтобы быть бухгалтером». — «Тебе везет». — «Возможно, ты рожден, чтобы писать?» — «Не знаю. Может быть. У нас так не принято говорить. Дешевка». — «Так говорить принято и не дешевка». — «Очень трудно себя выразить». — «Я это понимаю». — «Я хочу себя выразить». — «То же верно и обо мне». — «Я ищу свой голос». — «Он у тебя во рту». — «Я хочу делать что-то, чего не придется стыдиться». — «Что-то, чем ты бы гордился, да?» — «Необязательно. Я только не хочу, чтобы было стыдно». — «Есть много русских писателей высшей пробы, да?» — «О, да, конечно. Полно». — «Толстой, да? Он написал *Войну,* и еще он написал *Мир* — книги высшей пробы, и еще он получил Нобелевскую премию Мира за писательство, если я не так ошибаюсь». — «Толстой. Белый. Тургенев». — «Вопрос». — «Да?» — «Ты пишешь, потому что у тебя есть что сказать?» — «Нет». — «И если мне будет позволено коснуться другой темы: сколько валюты получает бухгалтер в Америке?» — «Точно не знаю. Но полагаю, что много, если он или она хороши в своем деле». — «Она!» — «Или он». — «Есть ли в Америке бухгалтеры негры?» — «Есть бухгалтеры афроамериканцы. Лучше не надо употреблять этого слова, Алекс». — «А

гомосексуальные бухгалтеры?» — «Гомосексуальное есть все. Есть даже гомосексуальные мусорщики». — «Сколько валюты получает гомосексуальный бухгалтер негр?» — «Тебе не следует употреблять это слово». — «Какое слово?» — «После слова бухгалтер». — «Что?» — «Слово на «н». Дело не в слове, а в…» — «Негр?» — «Шшшш». — «Я торчу от негров». — «Тебе, правда, не стоит так говорить». — «Но я от них торчу до предела. Они люди высшего сорта». — «Все дело в слове. У него отрицательная окраска». — «У негра?» — «Пожалуйста». — «Что отрицательного в окраске негра?» — «Шшшш». — «Сколько стоит чашка кофе в Америке?» — «О, по-разному. Может стоить доллар». — «Один доллар! Это же задаром! В Украине чашка кофе стоит пять долларов!» — «Но я еще не упомянул о капучинах. Они могут стоить и пять, и шесть долларов». — «Капучино, — сказал я, повышая руки над головой, — нету на него максимума». — «Есть ли в Украине латте?» — «Что такое латте?» — «О, в Америке на него сейчас самая мода. Серьезно, его можно купить повсюду». — «Есть ли в Америке мокко?» — «Конечно, но его пьют одни дети. Мокко не так моден в Америке». — «Да, здесь почти то же самое. Еще у нас есть мокачино». — «Да, конечно. В Америке они тоже есть. Эти могут стоить и семь долларов». — «Пользуются ли эти вещи большой любовью?» — «Мокачино?» — «Да». — «Я думаю, они для людей, которые хотят пить напиток с кофе, но также любят горячий шоколад». — «Я это понимаю. Как насчет девочек в Америке?» — «Как насчет девочек?» — «Они очень неформальны со своими передками, да?» — «Так многие думают, но никому из тех, кого я знаю, такие не попадались». — «Ты очень часто предаешься плотским утехам?» — «А ты?» — «Это я у тебя осведомился. Часто?» — «А ты?» — «Я осведомился первее. Часто?» — «Вообще-то нет». — «Что ты имеешь под вообще-то нет?» — «Я не монах, но и не Джон Холмс[4]». — «Я знаю об этом Джоне Холмсе». Я развел руки по сторонам. «С пенисом высшей пробы». — «Он самый», — сказал он и засмеялся. Я его развеселил своей шутихой. «В Украине такой пенис имеет каждый». Он опять засмеялся. «Даже женщины?» — спросил он. «Это твоя шутиха?» — спросил я. «Да», — сказал он. Тогда я засмеялся. «У тебя когда-нибудь была девушка?» — спросил я героя. «А у тебя?» — «Это я у тебя осведомляюсь». — «Вроде как была», — сказал он. «Что ты знаменуешь своим вроде как?» — «Ничего формального. Не то, чтобы прямо

девушка-девушка. Я встречался с одной или двумя. Не хочу обязательств». — «Мои дела в таком же состоянии, — сказал я. — Я тоже не хочу обязательств. Не хочу быть прикованным наручниками только к одной». — «Точно, — сказал он. — В смысле, я с девочками развлекался». — «Конечно». — «Минетики». — «Да, конечно». — «Но когда у тебя девушка, ну, ты знаешь». — «Я очень хорошо знаю».

«Вопрос, — сказал я. — Ты думаешь, что женщины в Украине высшей пробы?» — «Я пока очень немногих видел. — «У вас в Америке есть такие же?» — «В Америке что хочешь можно найти». — «Я об этом слышал. У вас в Америке много мотоциклов?» — «Конечно». — «А факсов?» — «Повсюду». — «У тебя есть факс?» — «Нет. Факсы очень passé». — «Что значит passé?» — «Они несовременны. С бумагой столько возни». — «Возни?» — «Хлопот». — «Я понимаю, о чем ты сообщаешь, и гармонизирую. Я бы тоже не стал пользоваться бумагой. Меня от нее сразу в сон клонит». — «А у меня от нее беспорядок». — «Да, это правда, сначала беспорядок, а потом сон». — «Другой вопрос. Есть ли у большинства молодых людей в Америке внушительные автомобили? Лотус Эспри Ви-8 с Двойным Турбо?» — «Вообще-то нет. У меня, во всяком случае. У меня говнистая Тойота». — «В смысле, коричневая?» — «Нет, это такое выражение». — «Как может автомобиль быть выражением?» — «Говенный может. Мой и воняет говном, и выглядит говенно». — «А если ты хороший бухгалтер, ты можешь купить внушительную машину?» — «Несомненно. Хороший бухгалтер может купить практически все, что захочет». — «Какая у хорошего бухгалтера жена?» — «Кто его знает». — «С тугими сиськами?» — «С уверенностью не скажу». — «Но допускаешь?» — «Не исключаю». — «Я от них торчу. Я торчу от тугих сисек». — «Но бывают еще бухгалтеры — иногда даже и очень хорошие, — у которых уродливые жены. Так уж в жизни устроено». — «Если бы Джон Холмс был первосортным бухгалтером, за него бы любая замуж пошла, да?» — «Наверное». — «У меня очень большой пенис». — «О'кей».

После ужина в ресторане мы поехали обратно в отель. Я уже знал, что отель не отличается внушительностью. В нем не было ни зоны для плавания, ни знаменитой дискотеки. Когда мы сделали открытой дверь в номер, я ощутил, что герой огорчен. «Симпатично, — сказал он, потому что ощутил, что я ощущаю, что он огорчен. — Серьезно. Это ведь только на одну ночь». — «У вас в Америке нет таких отелей!» —

запустил я шутиху. «Нет», — сказал он и засмеялся. Мы были совсем как друзья. Насколько я могу упомнить, я впервые почувствовал себя всецело хорошо. «Убедись, что ты обезопасил дверь, когда мы пойдем к себе в номер, — сообщил я ему. — Не хочу делать тебя оцепеневшим от ужаса человеком, но здесь слишком много людей, которые любят брать вещи американцев без спроса, а также устраивать им киднепинг. Спокойной ночи». Герой опять засмеялся, но это потому, что не знал, что это не было шутихой. «Пошли, Сэмми Дэвис Наимладшая», — призвал суку Дедушка, но она не отошла от двери. — Пошли». Ничего. «Пошли!» — пророкотал он, но она не сместилась. Я попробовал для нее спеть, чем она обычно услаждается, особенно когда я пою «Билли Джин» Майкла Джексона. «Ши из джаст э герл ху клеймз зет айм зе уан».[5] Но ничего. Она только сильнее толкнула головой дверь в номер героя. Дедушка предпринял попытку удалить ее силой, но она приступила к вытью. Я постучал в дверь, и у героя изо рта торчала зубная щетка. «Сегодня вечером Сэмми Дэвис Наимладшая будет производить храпунчики вместе с тобой», — сообщил я ему, хотя знал, что это не увенчается успехом. «Нет», — сказал он и больше ничего не сказал. «Она отказывается покидать твою дверь», — сообщил я ему. «Тогда пусть спит в коридоре». — «Ты мог проявить благотворительность». — «Не заинтересован». — «Всего на одну ночь». — «И на одну это слишком. Она меня убьет». — «Это маловероятно». — «Она же чокнутая». — «Да, я не могу оспаривать, что она чокнутая. Но она также и сострадательная». Я знал, что мне не удастся возобладать. «Слушай, — сказал герой, — если она хочет спать в номере, я с радостью посплю в коридоре. Но если в номере я, то я в номере один». — «Возможно, вы оба могли бы спать в коридоре», — предложил я.

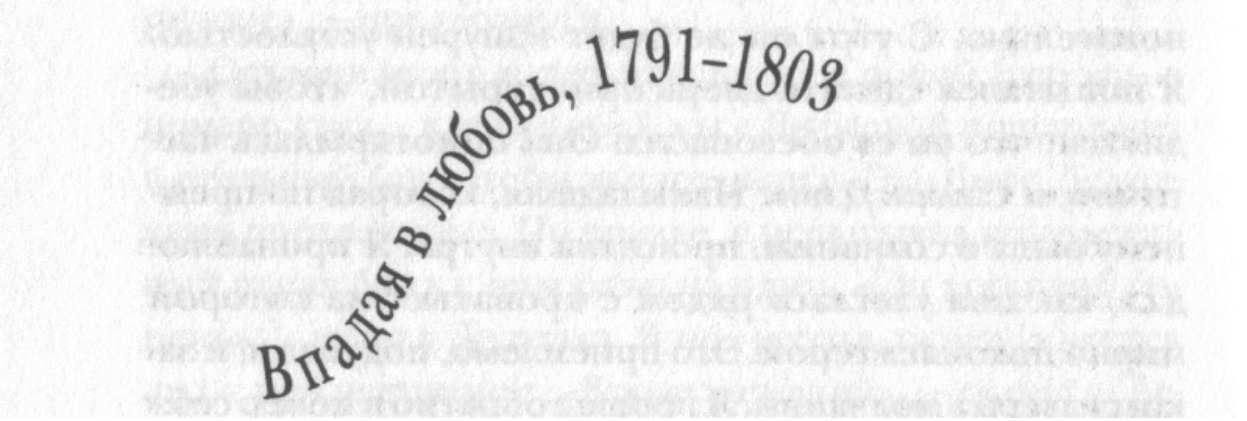
Оставив героя и суку отходить на покой (героя — в номере, суку — в коридоре), мы с Дедушкой пошли вниз в отельный бар, чтобы выпить водки. Это было Дедушкино предложение. По правде, я испытывал миниатюрный страх быть с ним один на один. «Он хороший парень», — сказал Дедушка. Я не ощутил, осведомляется ли он или наставляет. «Вроде хороший», — сказал я. Дедушка задвигал рукой по лицу, которое за день стало покрыто волосом. Тогда-то я и заметил, что руки у него по-прежнему дрожали, что они продолжали дрожать весь день. «Мы должны несгибаемо постараться ему помочь». — «Должны», —

сказал я. — «Мне бы очень хотелось найти Августину», — сказал он. «И мне тоже».

Больше мы в ту ночь не разговаривали. Мы выпили каждый по три водки и посмотрели прогноз погоды, который был в телевизоре за баром. Завтра погоду обещали нормальную. Меня это умиротворило. Это сделает поиск более проще. После водки мы пошли наверх к нашему номеру, который был с фланга от номера героя. «Я буду отходить на покой на кровати, а ты будешь отходить на покой на полу», — сказал Дедушка. «Конечно», — сказал я. «Я сделаю свой будильник на шесть утра». — «Шесть?» — осведомился я. Если хотите знать, почему я осведомился, то это потому, что для меня шесть — это не утро, а запоздночь. «Шесть», — сказал Дедушка, и я знал, что это был конец разговора.

Пока Дедушка полоскал зубы, я пошел убедиться, что все было приемлемо с номером героя. Я послушал у двери, чтобы определить, приступил ли он к производству храпунчиков, и не услышал ничего абнормального, только ветер, проникающий в окна, и звук насекомых. Хорошо, сказал я своему лобному месту, он на покое основательно. С утра он не будет изнурен усталостью. Я попытался сделать дверь приоткрытой, чтобы убедиться, что он ее обезопасил. Она приоткрылась частично, и Сэмми Дэвис Наимладшая, которая по-прежнему была в сознании, проникла внутрь. Я пронаблюдал, как она улеглась рядом с кроватью, на которой мирно покоился герой. Это приемлемо, подумал я, и закрыл дверь в молчании. Я прошел обратно в номер себя и Дедушки. Огни были уже потушены, но я ощутил, что он еще не отошел на покой. Он ворочался всем телом. Простыни двигались и подушки шумели, когда он ворочался снова и снова, снова и потом опять. Я слышал его большое дыхание. Я слышал движение его тела. Так продолжалось всю ночь. Я знал, почему он не может отойти на покой. Это была та же причина, по которой и я не мог отойти на покой. Мы оба рассматривали один и тот же вопрос: что он делал во время войны?

Впадая в любовь, 1791 — 1803



С ТЕХ ПОР КАК ТРАХИМБРОД перестал быть безымянным штетлом, что-то неуловимо изменилось в нем. Внешне все выглядело, как раньше. Несгибанцы по-прежнему вопили, свисали и прихрамывали, и по-прежнему смотрели свысока на Падших, которые по-прежнему теребили бахрому на манжетах своих рубах и продолжали поглощать печенье и ватрушки по окончании, а чаще во время богослужений. Скорбящая Шанда по-прежнему скорбела о своем покойном муже-философе Пинхасе, который по-прежнему играл заметную роль в политической жизни штетла. Янкель по-прежнему пытался жить правильно, по-прежнему повторял, что не грустит, но грустил по-прежнему. Синагога по-прежнему перекатывалась, по-прежнему стараясь угнаться за кочующей линией Еврейско/Общечеловеческого раскола. Софьевка как был сумасшедшим, так и оставался, по-прежнему мастурбируя вкривь и вкось, по-прежнему обвязывая себя узелками в надежде, что тело послужит напоминанием о теле, но оно по-прежнему служило напоминанием только об узелках. И все же вместе с именем в штетл пришло незнакомое ранее ощущение собственной значимости, зачастую проявлявшееся самым постыдным образом.

Женщины штетла задирали свои внушительные носы перед моей пра-пра-пра-пра-пра-прабабушкой. За глаза они называли ее *грязнулей* и *водянушкой*. И хотя повышенная суеверность не позволяла им открыть ей истинную историю ее происхождения, они сделали все, чтобы у нее не появилось друзей среди сверстников (своим детям они говорили, что она не такая веселая, как старается показаться, и не так добра, как ее

поступки) и чтобы она могла общаться только с Янкелем или с теми из мужчин штетла, кого не пугала перспектива быть застуканным женой. В таковых не было недостатка. Даже самоуверенейший кавалер терял под ногами почву в ее присутствии. За каких-нибудь десять лет жизни она сделалась самым вожделенным созданием в штетле, и молва о ней растеклась ручейками по соседним деревням.

Я воображал ее неоднократно. Низкорослая даже для своего возраста, но не по-детски очаровательно, а скорее как ребенок, не выросший из-за хронического недоедания. То же можно сказать и о ее худобе. Каждый вечер, перед отходом ко сну, Янкель пересчитывает ей ребрышки, как будто одно могло за день испариться, чтобы стать семенем и почвой для зарождения нового спутника ее жизни, который похитит у него Брод. Ест она хорошо и вполне здорова, во всяком случае, никогда не болеет, хотя внешне напоминает хронически больную девочку, или девочку, стиснутую в биологических клещах, или изнуренную голодом — одна кожа да кости и какая-то внутренняя скованность. Волосы у нее черные и густые, а губы — тонкие, остро очерченные, бескровные. Как может быть по-другому?

К ужасу Янкеля, Брод настояла на том, чтобы самой остричь эти черные густые волосы.

Как это неженственно, — сказал он. — *С такой короткой стрижкой ты похожа на мальчика.*

Не говори глупости, — сказала она.

Неужели тебе все равно?

Конечно, мне не все равно, когда ты говоришь глупости.

Я о твоих волосах, — сказал он.

По-моему, очень мило.

Может ли быть милым то, что никто не находит милым?

Я нахожу, что это мило.

Ты одна?

Для мило это немало.

А как же мальчики? Разве тебе не хочется им нравиться?

Мне бы хотелось нравиться только тем мальчикам, которым я нравилась и до стрижки.

А она и в самом деле очень милая, — сказал он. — *По-моему, она просто прекрасна.*

Еще одно слово — и я начну отращивать волосы.

Я знаю, — засмеялся он и, притянув ее голову зауши, поцеловал в лоб.

По мере того, как Брод обучалась шитью (по книге, которую Янкель привез ей из Львова), она все чаще отказывалась носить одежду, которая не была бы изготовлена ее собственными руками, а когда он купил ей книгу о внутреннем устройстве животных, она поднесла одну из иллюстраций к самому его лицу и сказала: *Ты не находишь, Янкель, что это странно: как это мы их едим?*

Никогда не пробовал иллюстраций.

Я про животных. Ты не находишь, что это странно? Даже удивительно, как мне не приходило это в голову раньше. Так же и с именем: сначала его долго не замечаешь, а когда наконец заметишь, начинаешь повторять снова и снова и просто диву даешься, как можно было все это время жить и не удивляться, что тебя назвали именно так и что все вокруг зовут тебя только этим именем.

Янкель. Янкель. Янкель. Не слышу ничего странного.

Не буду их есть. По крайней мере, до тех пор, пока это не перестанет казаться странным.

Брод всему противилась, никому не уступала и любой вызов оставляла без ответа.

Не думаю, что ты это делаешь из упрямства, — сказал ей как-то за обедом Янкель, когда она отказалась съесть первое прежде десерта.

А вот из упрямства!

За это ее и любили. Любили все, даже те, кто ее ненавидел. Необычайные обстоятельства ее появления на свет разжигали в мужчинах любопытство, а ее умение ими манипулировать, отточенность жестов и повороты фраз, ее нежелание замечать или оставлять без внимания их существование заставляли их преследовать ее на улицах, глазеть на нее из окон, грезить о ней (а не о своих женах и даже не о самих себе) по ночам.

Да, Йошке. Все мужчины на мельнице силачи и смельчаки.

Да, Файвел. Да, я хорошая девочка.

Да, Сол. Да, да, я люблю сладости.

Да, о да, Ицик. О, да.

У Янкеля не хватало мужества открыть ей, что не он был ее отцом и что в День Трахима ее нарекали Царицей Реки не только потому, что она, бесспорно, была самой любимой девочкой штетла, но и потому, что

на дне реки, носившей одно с ней имя, лежал ее настоящий отец, ее *папа,* за которым и ныряли в воду усердные мужчины. Вот он и выдумывал новые истории — буйные, с неукрощенной фантазией и вычурными персонажами. Его истории были до того неправдоподобны, что ей приходилось в них верить. Конечно, она была еще совсем дитя, и прах ее первой смерти не успел с нее полностью облететь. Что ей оставалось делать? А он уже был присыпан прахом своей второй смерти. Что оставалось делать *ему?*

Не без помощи сгоравших от вожделения мужчин и сгоравших от ненависти женщин моя далекая прародительница постепенно становилась собой, совершенствуясь в своих увлечениях: плетение, садоводство, чтение всякой попадавшейся под руку книги (а каких только не было книг в огромной Янкелевой библиотеке, занимавшей целую комнату, в которой они громоздились стопками от пола до потолка, и которая со временем станет первой публичной библиотекой Трахимброда). Но она была не только самой сообразительной жительницей Трахимброда, к которой обращались, когда нужно было найти решение наитруднейших задач математики и логики (*СВЯТОЕ СЛОВО,* обратился к ней однажды из темноты Многоуважаемый Раввин, — *ЧТО ЭТО ЗА СЛОВО, БРОД?*), но также и самой одинокой и самой печальной. Она была гением печали, она отдавалась ей целиком, разделяя ее на бесчисленные подвиды, упиваясь ее едва уловимыми оттенками. Она была призмой, преломлявшей печаль на бесконечное множество составляющих.

Ты грустишь, Янкель? — спросила она однажды утром за завтраком.

Конечно, — ответил он, дрожащая ложка с кусочком дыни на полпути к ее открытому рту.

Почему?

Потому что ты болтаешь вместо того, чтобы завтракать.

А раньше ты грустил?

Конечно.

Почему?

Потому что ты завтракала, а не болтала, а я всегда грущу, когда не слышу твоего голоса.

А когда ты смотришь, как люди танцуют, тебе бывает грустно?

Конечно.

И мне бывает. Как ты думаешь, почему?

Он поцеловал ее в лоб, чуть приподнял за подбородок ее голову. *Ешь,* — сказал он. — *Поздно уже.*

Как ты думаешь, Битцл Битцл часто грустит?

Не знаю.

А скорбящая Шанда?

О да, она грустит часто.

Ну, это и так ясно, да? А Шлоим грустит?

Кто знает.

А двойняшки?

Возможно. Нас это не касается.

А Бог грустит?

Грустит — значит существует, не так ли?

Я знаю, — сказала она, легонько шлепая его по плечу. — *Может, я для того и спросила, чтобы узнать наконец, веришь ли ты в Бога.*

*Тогда скажем так: если Бог есть, то поводов для грусти у Него предостаточно. А если Его нет, то вот ему и повод погрустить*ъ. *Так что, возвращаясь к твоему вопросу: скорее всего, Бог грустит.*

Янкель! — она обвила руками его шею, точно хотела проникнуть в него или вобрать его в себя.

Брод открыла 613 печалей: каждая по-своему уникальна, каждая — особое душевное состояние, одну не спутать с другой, как печаль в целом не спутать с яростью, восторгом, чувством вины или разочарованием. Печаль у Зеркала. Печаль Взращенных в Неволе Птиц. Печаль оттого, что Твою Грусть Замечают Родители. Печаль Смешного. Печаль Любви, Не Находящей Выхода.

Она барахталась в повседневности, подобно утопающему, хватаясь за все что угодно — лишь бы спастись. Каждый миг своей жизни она вела упорную и отчаянную борьбу за оправдание собственного существования. Она разучивала невообразимо сложные мелодии песен на скрипке, до того сложные, что казалось, уж их-то никогда не сыграть, — и всякий раз прибегала к Янкелю в слезах: *Я и эту освоила! Какой ужас! Видно, мне самой надо сочинить мелодию, которую даже я не смогла бы исполнить!* Вечерами она просиживала за книгами по искусству, которые Янкель покупал ей в Луцке, но по утрам выходила к завтраку с надутыми губами: *Все это хорошо и даже прекрасно, но не предел красоты. Если, конечно, не заниматься самообманом. Это всего*

лишь лучшее из того, что существует. Как-то днем она провела несколько часов, неотрывно глядя на входную дверь.

Ждешь кого-нибудь? — спросил Янкель.

Какого она цвета?

Янкель встал вплотную к двери, так что кончик его носа уткнулся в дверной глазок. Лизнув одну из досок, он пошутил: *На вкус — несомненно красная.*

Красная, да?

Вроде бы.

Брод спрятала лицо в ладони. *Но почему бы ей не быть хоть чуточку краснее?*

С каждым прожитым днем Брод приходила к убеждению, что мир был создан не для нее и что, по невыясненной причине, ей никогда не удастся почувствовать себя счастливой, не кривя при этом душой. Ей казалось, что любовь заполняет ее до краев, все прибывая, все накапливаясь. Но не находя выхода. Стол, очарование слоновой кости, радуга, лук, прическа, моллюск, Шаббат, насилие, заусенец, мелодрама, канава, мед, салфетка… Все это оставляло ее равнодушной. Она честно смотрела миру в глаза, честно искала предмет, на который могла бы обрушить потоки переполнявшей ее любви, но всякий раз вынуждена была признаваться: *Я тебя не люблю.* Шест в изгороди, покрытый клочками коричневой коры: *Я тебя не люблю.* Слишком длинное стихотворение: *Я тебя не люблю.* Суп в глубокой тарелке: *Я тебя не люблю.* Физика, мысль о тебе, законы твои: *Я тебя не люблю.* Ничто не поднималось над обыденностью. Каждый предмет оставался не более чем предметом, втиснутым в границы собственных форм.

На какой бы странице мы ни раскрыли ее дневник (а она вела его постоянно и держала при себе неотлучно не из страха потерять или из опасений, что кто-то наткнется на него и прочитает, а для того, чтобы в день, когда найдется, наконец, нечто, достойное записи и запоминания, не оказалось вдруг, что записать-то и некуда), всюду обнаружим оттенки одного и того же чувства: *Я не влюблена.*

Вот ей и пришлось довольствоваться *идеей* любви — любить свою любовь к предметам, чье существование было ей глубоко безразлично. Объектом ее любви стала сама любовь. Она любила себя в любви; она любила любить любовь, подобно тому, как любовь любить любит, и таким образом смогла примирить себя с миром, столь безжалостно

обманувшим многие из ее ожиданий. Не мир стал для нее великой и спасительной ложью, а ее стремление сделать его прекрасным и справедливым, жить своей жизнью, в своем мире, удаленном от того, где, как казалось, существовали все остальные.

Мальчики, юноши, мужчины и старики штетла дежурили под ее окнами в любое время дня и ночи, предлагая ей помощь в изучении наук (в чем она, конечно же, не нуждалась, в чем они и не смогли бы помочь, даже если б она им позволила), или по саду (который разрастался, как заколдованный, который буйствовал цветами алых тюльпанов и роз, безудержных оранжевых бальзаминов), или интересуясь, не хочет ли Брод, случаем, прогуляться к реке (что она — благодарю покорно — могла прекрасно проделать без посторонней помощи). Она никогда не говорила «да» и никогда не говорила «нет», но лишь натягивала и ослабляла, натягивала и ослабляла нити, с помощью которых повелевала ими, как марионетками.

Натяжение: *От чего бы я сейчас не отказалась,* — говорила она, — *так это от стакана чая со льдом.* Результат: мужчины срывались с мест, торопясь принести ей чаю. Тот, кто оказывался первым, мог удостоиться невесомого поцелуя в лоб (ослабление), или (натяжение) обещания прогулки (точная дата которой будет объявлена дополнительно), или (ослабление) простенького *Спасибо, всего хорошего.* Она тщательно регулировала равновесие под своим окном, не позволяя мужчинам ни слишком приблизиться, ни чересчур отдалиться. Они были ей жизненно необходимы не для удовлетворения ее прихотей, не ради вещей, которые они приносили Янкелю и ей и которые сам Янкель позволить себе не мог, а в качестве затычек в плотине, трещавшей под натиском правды, которую она знала: она не любила жизнь. Не было ни одного достойного повода продолжать ее.

Когда повозка Трахима Б съехала в реку, Янкелю шел семьдесят второй год, и дом его больше годился для похорон, чем для рождения. Брод читала при мутном канареечном свете масляных ламп, приглушенных талесами из тюля, и мылась в ванной с полоской наждака на дне, предотвращавшей скольжение. Он обучал ее литературе и азам математики, пока она не превзошла его в своих знаниях, смеялся вместе с ней, даже когда ему было не до смеха, читал ей по ночам, наблюдая, как она засыпает, и был единственным человеком, которого она могла назвать другом. Брод переняла его неровную походку, его

старческие интонации, даже его манеру тереть отраставшую к вечеру щетину на подбородке, хотя на ее подбородке щетина не отрастала ни днем, ни ночью.

Я тут тебе несколько книг купил в Луцке, — сказал он ей однажды, оставляя за притворяемой дверью ранние сумерки и весь мир.

Мы не можем себе это позволить, — сказала она, принимая у него из рук тяжелую сумку. *— Завтра мне придется их вернуть.*

Но и позволить себе не иметь их мы не можем. Что мы не можем позволить больше: иметь или не иметь? По мне, мы так и так в проигрыше. А раз в проигрыше, то уж лучше при книгах.

Ты смешон, Янкель.

Я знаю, — сказал он, — *потому что еще я купил тебе компас у знакомого архитектора и несколько томиков французской поэзии.*

Я же не читаю по-французски.

Чем не прекрасный повод научиться?

Без учебника?

Ну, почему… Зря, что ли, я его покупал, — сказал он, извлекая со дна сумки толстый коричневый том.

Ты невозможен, Янкель.

Очень даже возможен.

Спасибо, — сказала она, целуя его в лоб — единственное место, куда она когда-либо кого-либо целовала, куда кто-либо когда-либо целовал ее, и если бы не многочисленные прочитанные ею романы, она так бы и пребывала в убеждении, что других мест для поцелуев просто не существует.

Многие вещи, купленные для нее Янкелем, ей приходилось возвращать втайне от него. Он никогда этого не замечал, потому что сразу забывал о своих покупках. Это Брод пришла в голову идея превратить их частную библиотеку в публичную, и за книги, выдаваемые на дом, взимать небольшую плату. Вырученные деньги вкупе с тем, что ей удавалось сохранить от подношений влюбленных в нее мужчин, только и позволяли им сводить концы с концами.

Янкель старался изо всех сил, чтобы Брод не чувствовала себя посторонней, не думала о разнице разделявших их лет, о различиях пола. Отправляясь по малой нужде, он оставлял дверь туалета открытой (и мочился, присаживаясь, тщательно подтираясь по завершении); порой он намеренно обрызгивал штаны водой и выходил со словами:

Видишь, и со мной такое бывает, не подозревая, что Брод выходила из туалета в забрызганных штанах ему в утешение. Когда Брод свалилась с качелей в парке, Янкель разодрал себе колени о наждак на дне ванны и сказал: *И я вот упал.* Когда у нее обозначилась грудь, он задрал свою рубаху, обнажив старые, обвисшие перси, и сказал: *Ты не исключение.*

Таков был мир, в котором она взрослела, а он старился. Трахимброд стал их прибежищем, средой их обитания, отличной от всего остального мира. Никогда здесь не употребляли бранных слов, не размахивали кулаками. Больше того, никогда здесь не употребляли гневных слов и ни от чего не открещивались. И даже еще того больше, здесь никогда не употребляли неласковых слов и во всем находили лишь новое доказательство того, что все может быть так, а совсем не обязательно иначе; раз нет в этом мире любви, мы создадим новый мир, и обнесем его тяжелыми стенами, и обставим мягкой пурпурной мебелью, и оснастим дверным молоточком, чей стук будет подобен тому, что издает алмаз, падающий на фетр ювелира, чтобы нам никогда его не слышать. Люби меня, потому что не существует любви, а все, что существует, я испробовал.

Но моя такая далекая и такая одинокая прабабушка Янкеля не любила, во всяком случае, если употреблять слово «любовь» в его самом простом и самом невозможном значении. В действительности она ведь его совсем не знала. А он совсем не знал ее. Друг в друге они хорошо изучили лишь свои собственные черты, но не черты другого. Разве мог догадаться Янкель, какие сны видит Брод? Разве могла догадаться Брод, разве хотела догадаться, в какие странствия пускается по ночам Янкель? Друг для друга они оставались совсем посторонними людьми, как мы с моей бабушкой.

Но…

Но ведь ни тот, ни другой не смогли бы найти для своей любви более достойного адресата. Потому и отдавали ее друг другу без остатка. Он раздирал колени и говорил: *И я вот упал.* Она обрызгивала штаны водой, чтобы он не чувствовал себя исключением. Он дал ей бусину. Она ее носила. И когда Янкель говорил, что готов умереть за Брод, он не лукавил, он действительно был готов умереть, только не за Брод, а за свою любовь к ней. И слова: *Я люблю тебя, Отец* Брод произносила не по наивности и не из расчета, а наоборот: ей хватало мудрости и честности, чтобы вот так солгать. Великой и спасительной

лжи — будто бы наша любовь к предметам сильнее, чем наша любовь к нашей любви к предметам, — они ответили взаимностью, сознательно разыгрывая по ролям пьесу, которую сами себе написали, сознательно выдумывая и веря в небылицы, необходимые, чтобы жить.

Ей было двенадцать, ему по меньшей мере восемьдесят четыре. Даже если он дотянет до девяноста, прикидывал Янкель, ей будет всего восемнадцать. А он знал, что до девяноста не дотянет. Он скрывал, что слабеет, скрывал, что его одолевают боли. Кто позаботится о ней, когда его не станет? Кто споет ей перед сном колыбельную, кто будет пощипывать ей спинку не как-нибудь, а именно так, как ей нравится, задолго после того, как она уснет? Как она узнает о своем настоящем отце? Может ли он быть уверен, что она не станет жертвой ежедневного насилия — случайного или преднамеренного? Может ли он быть уверен, что она никогда не изменится?

Он делал все, чтобы замедлить свое стремительное угасание. Он старался побольше есть, даже когда есть не хотелось, а в перерывах между едой делать по глотку водки, даже когда чувствовал, что желудок от нее скручивает узлом. Вечерами он совершал долгие прогулки, убеждая себя, что боль в ногах идет ему на пользу, и каждое утро раскалывал по одному полену, убеждая себя, что руки ноют вовсе не от слабости, а от физической нагрузки.

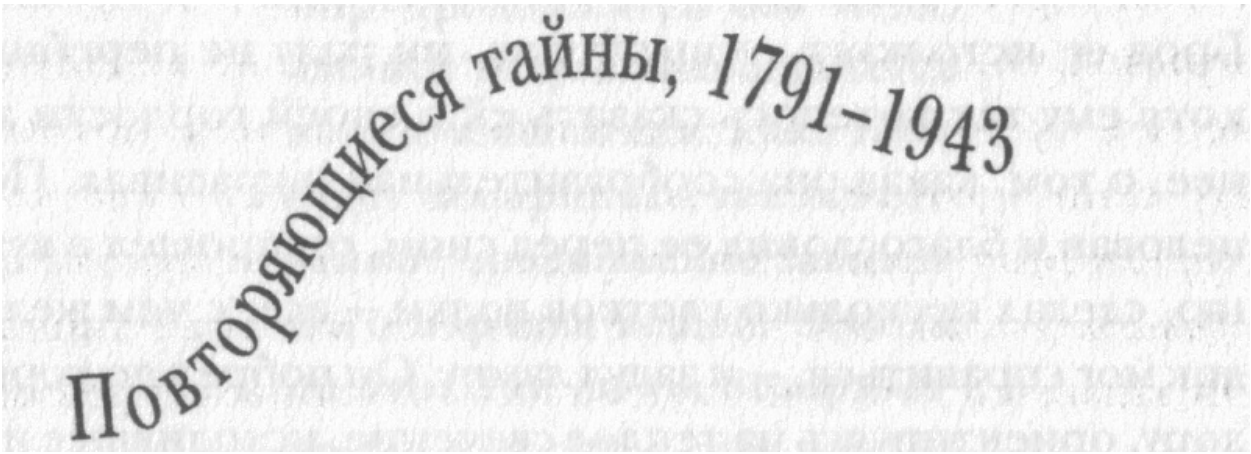
Напуганный участившимися провалами в памяти, он начал урывками записывать историю своей жизни на потолке спальни, используя вместо карандаша губную помаду Брод, которую обнаружил завернутой в носок в ящике ее письменного стола. Отныне первое, что он видел, разлепляя глаза по утрам, было его прошлое, и оно же было последним видением перед тем как ему заснуть. *Раньше ты был женат, но она тебя бросила* — над конторкой. *Ты ненавидишь зеленые овощи* — в дальнем углу потолка. *Ты Падший* — на стыке потолка и дверного проема. *Ты не веришь в загробную жизнь* — по кругу на свисающей с потолка лампе. Ему так не хотелось, чтобы Брод узнала, до какой степени его мозг стал похож на лист стекла, как он запотел от сумятицы, как мысли соскальзывают с него, как он перестает понимать так многое из того, о чем она ему рассказывает, как он все чаще забывает свое имя, как отмирает в нем по клеточкам, по частям, даже то, что связано с ней.

4:812 *Сон о вечной жизни с Брод.* Этот сон мне снится каждую ночь. Даже когда наутро я не могу его припомнить, я знаю, что он был, как знают по вмятине, оставленной головой на опустевшей подушке, что ночью рядом с тобой лежала возлюбленная. Мне снится не то, как она стареет бок о бок со мной, а то, как мы вместе неподвластны старости. Она никогда не оставляет меня, я никогда не оставляю ее. Я боюсь смерти, это правда. Боюсь, что мир продолжится без меня, что мое отсутствие останется незамеченным или, хуже того, будет воспринято как естественное продолжение заведенного порядка вещей. Эгоизм ли это? Так ли уж безнравственно мечтать о том, чтобы конец света для всех наступил одновременно с моим? Я не говорю о конце света, который наступит только для меня, я хочу, чтобы глаза всех закрылись вместе с моими глазами. Иногда мой Сон о вечной жизни с Брод на самом деле есть Сон о нашей совместной смерти. Я знаю, что загробной жизни нет. Я не дурак. И знаю, что нет Бога. Ее компания мне там ни к чему, мне важно знать, что моя компания ей здесь не понадобится или не не понадобится. Мне видятся сцены из ее жизни после меня, и я сгораю от ревности. Она выйдет замуж, родит детей и познает то, к чему я так и не смог приблизиться, — все то, что должно было сделать меня счастливым. Конечно, я не могу поведать ей об этом сновидении, но до чего же хочется. Она — единственное, чем я дорожу.

В постели он прочитал ей сказку и выслушал, как Брод ее истолкует, — выслушал, ни разу не перебив, хотя ему так хотелось сказать ей о своей гордости за нее, о том, какая она сообразительная и красивая. Поцеловав и благословив ее перед сном, он прошел в кухню, сделал несколько глотков водки — все, с чем желудок мог справиться, — и задул лампу. Он побрел по коридору, ориентируясь на теплое свечение, исходившее из-под двери его спальни. Он дважды споткнулся: сначала — о стопку книг Брод, лежавших на полу у входа в ее комнату, потом — о ее же ранец. Переступая порог своей комнаты, он подумал, что, возможно, умрет в своей постели уже этой ночью. Он представил, как утром Брод обнаружит его тело: позу, в которой он

будет лежать, выражение своего лица. Он представил, что он будет или не будет чувствовать. *Поздно уже*, — подумал он, — *а мне завтра надо встать пораньше, приготовить Брод завтрак до ее ухода на занятия.* Он опустился на пол, сделал три отжимания — все, на что его хватило, — и снова встал. *Поздно уже*, — подумал он, — *и надо быть благодарным за все, что имею, и перестать жалеть о том, что когда-либо потерял или не потерял. Сегодня я особенно старался быть праведным, делать все, как Богу было бы угодно, если бы он существовал. Спасибо тебе за дары твои — за жизнь, за Брод*, — подумал он. — *И тебе спасибо, Брод, за то, что даешь мне повод жить. Я не грущу.* Он скользнул под красный шерстяной плед и уставился вверх, прямо перед собой: *Тебя зовут Янкель. Ты любишь Брод.*

Повторяющиеся тайны, 1791—1943



ТО, ЧТО ЯНКЕЛЬ ОБЕРНУЛ часы куском черной материи, осталось в тайне. То, что у Многоуважаемого Раввина однажды утром с языка слетели слова: *А ЧТО ЕСЛИ?*, осталось в тайне. И что самая несгибаемая из Падших, Рейчл Ф, проснулась с вопросом: *А что если?* — тоже. Впрочем, то, что Брод не пришло в голову сказать Янкелю о пятнышках крови у себя в трусиках, и что она подумала, что умирает, и какой возвышенной показалась ей эта смерть, в тайне не осталось. Однако то, что она решила ему об этом сказать, но не сказала, осталось в тайне. Свои занятия мастурбацией Софьевке время от времени удавалось сохранять в тайне, что делало его самым надежным хранителем тайн в Трахимброде, а может быть, и на всем белом свете. То, что скорбящая Шанда иногда не скорбела, осталось в тайне. То, что из рассказов раввиновых двойняшек вытекало, будто они ничего не видели и ничего не знали в тот день, 18 марта 1791 года, когда повозка Трахима Б одной из своих оглобель пригвоздила или не пригвоздила Трахима ко дну реки Брод, осталось в тайне.

Янкель расхаживает по дому с черными простынями. Он набрасывает черную тряпку на напольные часы, а свои серебряные карманные заворачивает в черный огрызок. Он перестает соблюдать Шаббат, не желая отмечать окончание недели, и избегает солнца, потому что тени — это те же часы. *Порой я борюсь с искушением ударить Брод*, — думает он сам себе, — *не потому, что она не права, а потому, что люблю ее до безумия*. Это тоже тайна. Он занавешивает окно своей спальни черным отрезом. Он заворачивает в черную бумагу

календарь, точно для подарка. Пока Брод принимает ванну, он читает ее дневник — это еще одна тайна, и он знает, что читать чужие дневники — вещь ужасная, но есть ужасные вещи, на которые отец, пусть даже поддельный, имеет право.

18 марта 1803

…Не представляю, как со всем управлюсь. До завтра надо во что бы то ни стало дочитать первый том биографии Коперника, чтобы вернуть его человеку, у которого Янкель его купил. Затем надо разобраться с греками и римлянами, и еще попытаться проникнуть в тайную суть библейских писаний, и еще — будто в сутках немерено часов — математика. Сама виновата…

20 июня 1803

…«В глубине души юноши более одиноки, чем старики». Не помню, где прочитала, но вот засело в голове. Может, правда. А может, неправда. Скорее всего, юноши и старики одиноки показному, каждый по-своему…

23 сентября 1803

…Днем мне вдруг пришло в голову, что в мире ничто не доставляет мне такого удовольствия, как заполнение дневника. Он всегда меня до конца понимает, а я всегда до конца понимаю его. Мы с ним вроде как идеальная пара, как один человек. Иногда я беру его с собой в постель и засыпаю с ним в обнимку. Иногда целую его страницы, одну за другой. Пока на большее рассчитывать не приходится.

Это, конечно, тоже тайна, потому что свою собственную жизнь Брод держит от себя в тайне. Как Янкель, она повторяет слова вымысла до тех пор, пока они не начинают казаться правдой или пока она сама не в состоянии различить, правда это или нет. В деле переплетения того, *что есть*, с тем, *что было*, с тем, *что должно быть*, с тем, *что могло бы быть*, ей нет равных. Она избегает зеркал, а чтобы посмотреть на себя, пользуется мощным телескопом. Она нацеливает его в небо и видит (или так ей, по крайней мере, кажется) за синим, и черным, и даже за звездами, другое черное и другое синее, а затем — дугу,

соединяющую ее глаз с крышей приземистого домишки. Она изучает фасад, отмечая, что бревна дверного проема во многих местах потрескались и обветшали и что от водосточной трубы осталась лишь белая колея, потом начинает заглядывать в окна, в каждое по очереди. В левом нижнем окне ей видна женщина, отмывающая тряпкой тарелку. Такое впечатление, что женщина напевает себе под нос, и Брод воображает, будто это та самая песенка, которую мама непременно пела бы ей перед сном, если бы не скончалась без страданий во время родов, как уверяет Янкель. Женщина смотрит на свое отражение в тарелке, затем кладет ее поверх стопки других. Она смахивает волосы со лба, чтобы Брод могла рассмотреть ее лицо, или это Брод только кажется. На лице у женщины явный избыток кожи, не по возрасту много морщин, будто это не лицо, а некое неведомое животное, неторопливо сползающее с черепа день за днем, пока однажды не повисает, уцепившись за челюсть, и, поболтавшись, не сваливается в подставленные ладони, чтобы женщина могла посмотреть на него и сказать: *Вот лицо, которое я носила всю жизнь.* В правом нижнем окне нет ничего, кроме письменного стола, заваленного книгами, бумагами и картинками — картинками какого-то мужчины и какой-то женщины, картинками детей и внуков. *Какие изумительные портреты,* — думает она, — *такие крошечные и такие совершенные!* Она наводит фокус на одну конкретную фотографию. На ней девочка держит за руку маму. Они на пляже или это кажется с такого гигантского расстояния. Девочка, безупречная кроха, смотрит чуть в сторону, будто кто-то корчит ей рожицы, провоцируя на улыбку, а мама — если это действительно девочкина мама, — смотрит на девочку. Брод вглядывается пристальнее, на этот раз в глаза матери. Зеленые и глубокие, заключает она, неотличимые от реки, носящей одно с ней имя. *Она плачет?* — гадает Брод, опуская подбородок на подоконник. — *Или это художник попытался изобразить ее еще краше, чем она есть на самом деле?* Потому что Брод действительно считает ее красавицей. Именно такой она всегда воображала свою мать.

Выше… Выше…

Она заглядывает в окно спальни на втором этаже и видит пустую постель. Подушка — идеальный четырехугольник. Гладь покрывала — как озерная вода. *Не исключено, что в этой постели никто никогда не спал,* — думает Брод. — *А может быть, на ней вытворяли что-нибудь*

несусветное и, торопясь избавиться от одних улик, ненароком оставили другие. Ведь даже если бы Леди Макбет удалось оттереть проклятое пятно, ее руки все равно были бы красными от ее усилий. На столике возле постели чашка с водой, и Брод кажется, что она видит в ней рябь.

Влево… Влево…

Она заглядывает в окно следующей комнаты. Кабинет? Детская? Точно сказать невозможно. Она отворачивается и поворачивается снова, как будто мига достаточно, чтобы открылась новая перспектива, но комната остается загадкой. Она пытается собрать ее по фрагментам, как мозаику. Недокуренная сигарета, балансирующая на выпяченной губе пепельницы. Влажная тряпка на подоконнике. Клочок бумаги на столе с надписью от руки (почерк совсем как у нее): *Это мы с Августиной. 21 февраля, 1943.*

Выше и выше…

Но на чердаке нет окна. Она вынуждена заглянуть прямо сквозь стену, что не так уж и трудно, потому что стены тонкие, а телескоп у нее очень мощный. На полу под самым скатом крыши животами вверх лежат мальчик и девочка. Она наводит резкость на мальчика, который с этого расстояния выглядит ее ровесником. И даже из своего далека она различает в его руках *Книгу Предшествующих,* которую он читает вслух.

А, — думает она, — *так это Трахимброд!*

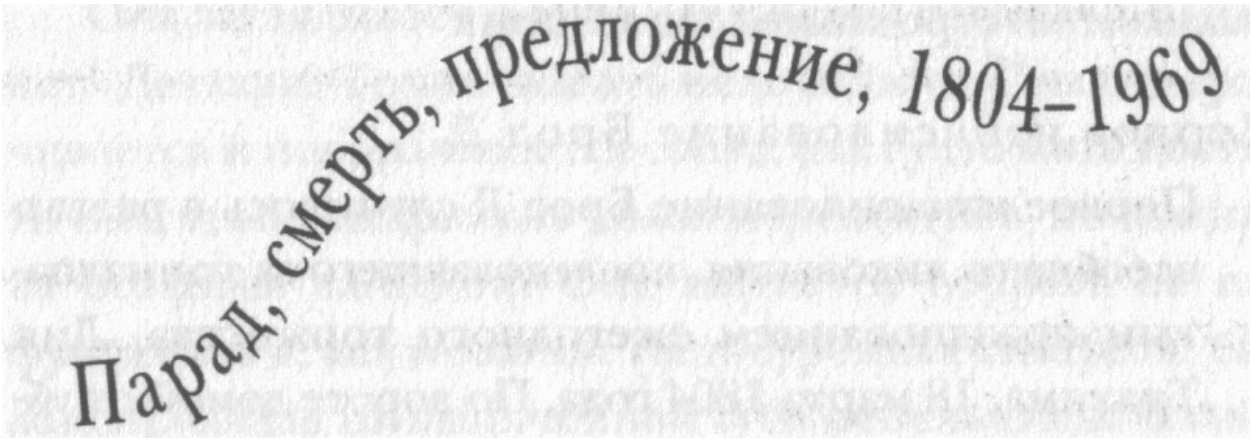
Его рот, ее уши. Его глаза, его рот, ее уши. Рука писца, глаза мальчика, его рот, девочкины уши. Она устремляется назад по цепочке причин и следствий, чтобы заглянуть в глаза вдохновению, посетившему писца, чтобы разглядеть губы влюбленного, и ладони родителей вдохновения, посетившего писца, и их влюбленные губы, и родительские ладони, и соседские коленки, и недругов, и возлюбленных их возлюбленных, и родителей их родителей, и соседей их соседей, и недругов их врагов, пока ей не удается убедить себя в том, что это не просто мальчик читает девочке вслух там, на чердаке, а все, кто когда-либо жил на земле, читают ей. И она скользит по строчкам вслед за ними:

> Первое изнасилование Брод Д
> Первое изнасилование Брод Д случилось в разгар

всеобщего ликования, последовавшего за тринадцатым празднованием ежегодного торжества, Дня Трахима, 18 марта 1804 года. По дороге домой от убранной голубыми цветами платформы, на которой она простояла много часов подряд безыскусной красавицей, помахивая русалочьим хвостом, только когда им помахивать полагалось, бросая тяжелые мешки в реку, носящую одно с ней имя, только когда Раввин кивком головы подавал ей сигнал, — к Брод подошел сумасшедший сквайр Софьевка Н, под чьим именем наш штетл теперь обозначается на картах и в мормонских

Мальчик засыпает, а девочка кладет ему на грудь свою голову. Брод хочет читать дальше, хочет закричать: *ЧИТАЙТЕ ЖЕ! Я ДОЛЖНА ЗНАТЬ!* — но на таком расстоянии им ее не услышать, а ей самой страницу не перевернуть. На таком расстоянии страница — ее невесомое бумажное будущее — неподъемная тяжесть.

Парад, смерть, предложение, 1804—1969



Парад, смерть, предложение, 1804—1969

К МОМЕНТУ, КОГДА моей пра-пра-пра-пра-пра-прабабушке исполнилось двенадцать лет, в Трахимброде не осталось ни одного жителя, который хотя бы раз не предложил бы ей выйти замуж. В их числе: мужчины, уже успевшие обзавестись женами; искореженные старики, споривших на чьем-нибудь крыльце о том, что могло, а чего не могло случиться несколько десятилетий назад; подростки с безволосыми подмышками; женщины с волосатыми подмышками; а также покойный философ Пинхас Т, который в своей единственной, достойной упоминания, работе «К Праху: из Человека Ты Вышел — в Человека и Возвратишься» доказывал, что теоретически жизнь и искусство могли бы поменяться местами. Брод заставляла себя покраснеть, хлопала длинными ресницами и всем говорила одно и то же: *Боюсь, что нет. Янкель считает, что замуж мне пока рановато. Хотя предложение очень заманчивое.*

До чего глупые, — это уже обращаясь к Янкелю.

Дождись моей смерти, — закрывая книгу. — *Потом выбирай любого. Но только не пока я жив.*

Мне никто из них не нужен, — целуя его в лоб. — *Они мне не пара. К тому же,* — смеясь, — *я уже связала свою жизнь с самым красивым мужчиной в Трахимброде.*

Кто это? — усаживая ее на колени. — *Я убью его.*

Щелкая его по носу мизинцем: *Это ты, дурачок.*

Вот тебе раз. Уж не значит ли это, что мне придется убить

себя?

Выходит — так.

Может, разрешишь мне не быть самым красивым? Чтобы не пришлось кончать жизнь самоубийством? Может, разрешишь мне быть поуродливее?

Ладно, — смеясь, — *нос у тебя действительно несколько кривоват. И улыбка при ближайшем рассмотрении могла бы быть посимпатичнее.*

Теперь ты меня убиваешь, — смеясь.

Все лучше, чем самоубийство.

И то верно. Так, по крайней мере, меня совесть мучить не будет.

Для тебя я на все готова.

Спасибо, мое сокровище. Чем тебе отплатить?

Ты труп. Ничем ты мне уже не отплатишь.

Придется вернуться с того света, чтобы не оставаться в долгу. Проси, что хочешь.

Тогда можно я попрошу, чтобы теперь ты меня убил. А то меня совесть замучает.

Будет исполнено.

Все-таки нам страшно повезло, что мы есть другу друга!

Отказав сыну сына Битцла Битцла — *Весьма сожалею, но Янкель считает, что лучше мне с замужеством подождать,* — она надела костюм Царицы Реки, чтобы отправиться в нем на ежегодное празднество, День Трахима, отмечавшееся уже в тринадцатый раз. Янкель слышал, как шепчутся за спиной Брод женщины (он еще не оглох), и видел, как доискиваются ее мужчины (он еще не ослеп), но, помогая ей втиснуться в русалочий наряд, завязывая тесемки на ее худых плечиках, делал вид, что это его нисколько не заботит (а что он мог сделать?).

Если тебе неохота, можешь не одеваться, — сказал он, заправляя тростинки ее рук в длинные рукава русалочьего наряда, который она заново перешивала к празднику на протяжении последних восьми лет. — *Ты не обязана быть Царицей Реки.*

Конечно, обязана, — сказала она. — *Я ведь первая красавица Трахимброда.*

Мне казалось, что ты не рвешься в красавицы.

Не рвусь, — согласилась она, заправляя высокий ворот костюма

под нитку с нанизанной на нее костяшкой счетов. — *Это такая ответственность. А что делать? Судьба у меня такая.*

Никому не обязана, — сказал он, пряча костяшку счетов под ворот ее костюма. — *В этом году они могут выбрать в Царицы другую девочку. Почему бы тебе самой ей место не уступить?*

Не в моем характере.

Тем более уступи.

Вот уж дудки.

Ты же согласилась, что и сама церемония, и связанный с ней обряд — ужасная глупость.

Но и ты согласился, что глупостью это выглядит только для тех, кто снаружи. А я внутри, в эпицентре.

Я запрещаю тебе туда идти, — сказал он, прекрасно сознавая, что это не подействует.

Я запрещаю тебе мне запрещать, — сказала она.

Мой запрет главнее.

Почему?

Потому что я старше.

Глупости какие.

Тогда потому, что я первый запретил.

Еще того глупей.

Но ты ведь даже не любишь этот праздник, — сказал он. — *Вечно потом жалуешься.*

Я знаю, — сказала она, поправляя хвост, украшенный голубыми блестками.

Зачем же тогда?

Ты любишь думать о маме?

Нет.

А когда думаешь, тяжело тебе бывает потом?

Да.

Зачем же тогда? — спросила она. И почему, подумала она, вспомнив описание своего изнасилования, мы вечно в погоне за тем, что сулит нам страдание?

Янкель несколько раз начинал предложение, пытаясь сформулировать ответ, но в конце концов заблудился в собственных мыслях.

Как только найдешь приемлемое объяснение, я откажусь от

трона. Она поцеловала его в лоб и направилась к реке, носящей одно с ней имя.

Он стоял возле окна и ждал.

В тот весенний день 1804 года, как и в каждый День Трахима вот уже тринадцать лет подряд, гирлянды белых нитей украшали узкие немощеные артерии Трахимброда. Идея увековечить первые всплывшие на поверхность останки повозкикрушения принадлежала Битцлу Битцлу. Один конец белой нити намотан на горлышко полупустой бутыли старого вермута на полу окосевшей от выпитого хибары местного алкоголика Омлера С, другой — на потускневший серебряный подсвечник на обеденном столе в пятикомнатном кирпичном доме Сносного Раввина через непролазную грязь улицы Шелистер; тонкая белая нить наподобие бельевой веревки — от левой задней стойки кровати в комнате кокотки на третьем этаже к прохладной медной ручке морозильного шкафа в подвальном помещении иноверца Кермана К, мастера по бальзамированию; белая нить над безмятежной (и затаившейся в ожидании) ладонью реки Брод, от мясника к свахе; белая нить — от плотника — через изготовителя восковых манекенов — к повивальной бабке — в форме неравностороннего треугольника над фонтаном распростертой русалки, посреди единственной площади штетла.

Красавцы-мужчины выстраивались вдоль берега, терпеливо дожидаясь, пока парад платформ пройдет от каскада небольших водопадов до лотков с игрушками и выпечкой, раскинутых возле мемориальной доски, обозначавшей место, откуда повозка угодила или не угодила в реку.

СИЯ ДОСКА ВОЗВЕДЕНА НА ТОМ САМОМ МЕСТЕ
(ИЛИ НА МЕСТЕ НЕПОДАЛЕКУ ОТ ТОГО МЕСТА),
С КОТОРОГО ПОВОЗКА НЕКОЕГО
ТРАХИМА Б
(КАК МЫ СЧИТАЕМ)
ПОШЛА КО ДНУ.

Прокламация штетла, 1791.

Первой мимо окна Сносного Раввина, из которого он производил

свой необходимый церемониальный кивок, проплывала платформа местечка Колки. Она была усеяна мириадами оранжевых и красных бабочек, привлекаемых к ней особой комбинацией прикрученных к днищу звериных остовов. Рыжеволосый мальчик в оранжевых брючках и рубашке под галстук стоял неподвижно, как статуя, на деревянном постаменте. Над ним развевался плакат с надписью: ЖИТЕЛИ КОЛКОВ ПРАЗДНУЮТ СО СВОИМИ ТРАХИМБРОДСКИМИ СОСЕДЯМИ! Со временем, когда глазевшие на эту церемонию дети превратятся в стариков и возьмутся за акварели, рассевшись на своих осыпающихся крылечках, рыжеволосый мальчик станет героем многочисленных созданных ими картин. Но тогда он об этом не знал, и они не знали, так же, как никто не знал о том, что когда-нибудь я напишу эти строки.

Затем появилась платформа из Ровно, от края до края усеянная зелеными бабочками. За ней — платформы из Луцка, Сарн, Киверц, Сокречей и Ковеля. Каждая — цвета тех бабочек, которых притягивали к себе прикрученные к днищам окровавленные звериные остовы: коричневые бабочки, лиловые бабочки, желтые бабочки, розовые бабочки, белые. Зрители, толпившиеся на всем пути следования парада, вопили так возбужденно и немилосердно, что воздвигли непроницаемую стену шума, эдакий всепроникающий и беспрерывный дружный рев, который легко можно было принять за дружное молчание.

Платформа из Трахимброда была облеплена голубыми бабочками. Брод сидела в центре на пьедестале в окружении юных речных принцесс штетла, завернутых в голубой тюль и старательно изображавших руками волны. Квартет скрипачей на переднем краю платформы наигрывал польские народные мотивы, другой квартет, на заднем краю, тянул нечто сугубо украинское, а в месте пересечения двух мелодий рождалась третья, какофоническая, но ее могли слышать только речные принцессы и Брод. Янкель смотрел из своего окна, теребя бусину, которая, казалось, вобрала в себя все килограммы, потерянные им за последние шестьдесят лет.

Когда платформа из Трахимброда достигла лотков с игрушками и выпечкой, Сносный Раввин подал Брод знак, означавший, что она может бросить мешки в воду. *Выше, выше…* В этот миг вселенная съежилась и вытянулась, уместившись в дугу коллективного взгляда — от ладони Брод к ладони реки, — одинокую неповторимую радугу. *Ниже, ниже…* Удостоверившись (насколько это было возможно), что

мешки достигли речного дна, Сносный Раввин подал знак мужчинам — еще один исполненный драматизма кивок, означавший, что они могут нырять за ними.

Что после этого творилось в воде, невозможно было разглядеть за брызгами. Женщины и дети отчаянно болели, а мужчины отчаянно месили руками воду, хватая друг друга за что ни попадя, лишь бы вырваться в лидеры. Они выныривали по нескольку человек сразу, кто с мешком в зубах, кто в руках, и тут же вновь уходили под воду, гребли вглубь что было сил. Река металась, деревья раскачивались от нетерпения, небо неторопливо стягивало через голову голубой наряд, обнажая ночь.

А потом:

Взял! — прокричал кто-то с дальнего конца реки. Взял! Одни ныряльщики разочарованно вздыхали и гребли к берегу, другие маячили из воды поплавками, проклиная чье-то везение. Мой пра-пра-пра-пра-пра-прадедушка вышел из реки, держа золотой мешок над головой. На глазах у многочисленной толпы он упал на колени и высыпал содержимое мешка в грязь. Восемнадцать золотых монет. Чье-то полугодичное жалованье.

КАК ТВОЕ ИМЯ? — спросил Сносный Раввин.

Меня зовут Шалом, — сказал он. — *Я из деревни Колки.*

КОЛКАРЬ ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ПОБЕДИТЕЛЕМ! — провозгласил Сносный Раввин, от возбуждения теряя ермолку.

Пока кузнечики своим стрекотом накликивали тьму, Брод оставалась на платформе, откуда могла наблюдать за празднеством без докучливого внимания мужчин. Участники парада и жители штетла были уже навеселе: сплетенные руки, сцепленные ладони, зондирующие пальцы, услужливые бедра, но мысли все — только о ней. Нитяные гирлянды начинали обвисать (под тяжестью птиц; от ветра, гонявшего их взад-вперед, точно волны), и юные принцессы давно убежали к берегу поглазеть на золотые монеты и дать себя потискать заезжим парням.

С неба посыпала изморось, потом пошел дождь, но до того медленный, что капли можно было провожать взглядом до самого их падения. Мужчины и женщины продолжали пляску взаимоощупываний — теперь уже под аккомпанемент еврейских оркестриков, заполонивших своей музыкой улицы. Девочки ловили сачками

светлячков. Они сдирали оболочку с их брюшек и натирали ресницы фосфоресцином. Мальчики давили пальцами муравьев, сами не зная почему.

Дождь усилился, и участники парада надулись самогоном и пивом до поросячьего визга. В темных закутках, где дома упирались друг дружке в бок, под балдахинами плачущих ив вершились дикие безотлагательные соития. Пары кровавили себе спины о ракушки, ветки и гальку на отмелях Брод. Они запрыгивали друг на друга в траве: медные юноши, погоняемые похотью; нефритовые женщины, суше запотевших бокалов; мальчики-девственники с движениями мальчиков-слепцов; вдовы с запрокинутыми вуалетками, разведенными ногами, мольбами — к кому?

Из космоса астронавты способны различить занимающихся любовью людей по микроскопическим вспышкам света. Не света даже, а мерцания, которое легко принять за свет, — коитусова излучения. Поколение за поколением изливают его во тьму, как мед, покуда оно не достигнет глаз астронавта.

Века через полтора — задолго после того, как влюбленные, произведшие излучение, улягутся рядком на кладбище — города-метрополии становятся видны из космоса. Излучение продолжается весь год. Города поменьше тоже различимы, но уже с трудом. Разглядеть штетлы практически невозможно. Отдельные пары невидимы.

Коитусово излучение — результат тысяч соитий: новобрачные и подростки, вспыхивающие, как бутановые зажигалки; пары мужчин, горящие быстро и ослепительно; пары женщин, способные светиться часами после мягких множественных вспышек; оргии, искрящиеся, как кремневые огнива, что продаются на ярмарках; пары, тщетно пытающиеся обзавестись детьми, оставляющие свой бесплодный оттиск на материке подобно тому, как, погаснув, яркий свет оставляет бесплодную вспышку на глазном яблоке, стоит только от него отвернуться.

Бывают ночи, когда некоторые места мерцают ярче обычного. Трудно, не щурясь, смотреть на Нью-Йорк в день Святого Валентина или на Дублин в день Святого Патрика. Древний, обнесенный стеной, Иерусалим вспыхивает, как свеча, в каждую из восьми ночей Хануки. День Трахима — единственный день в году, когда крошечное местечко Трахимброд различимо из космоса, когда коитусово излучение

достигает в ней такого накала, чтобы озарить польско-украинские небеса. *Мы здесь,* — известит астронавтов сияние 1804 года полтора столетия спустя. *Мы здесь, и мы живы.*

Но Брод к этому излучению отношения не имела; ее вольтовый накал не был частью всетрахимбродского электрического потока. Она слезла с платформы, почти не расплескав лужиц дождевой воды, скопившейся в желобках между ее ребер, и пошла домой вдоль линии Еврейско/Общечеловеческого раскола, чтобы наблюдать за шумом и всеобщим весельем издалека. Женщины презрительно усмехались ей вслед, а мужчины, пользуясь своей нетрезвостью, норовили столкнуться с ней, задеть ее, приблизить свое лицо вплотную к ее лицу, чтобы ощутить ее запах или поцеловать в щечку — с пьяных какой спрос.

Брод — речная грязнуля!

Может пройдешься со мной под ручку. Брод?

Твой отец опозорил себя, Брод.

Ну-ка покажи, как ты умеешь кричать от удовольствия.

Брод никого из них не замечала. Не замечала, когда они плевали ей под ноги или щипали за ягодицы. Не замечала, когда они ее проклинали и целовали или когда проклинали поцелуями. Не замечала, даже когда они лишали ее невинности, как не замечала ничего, что происходило с ней в мире, не оторванном от реальности.

Янкель! — сказала она, распахивая дверь. — *Янкель, я уже дома. Пойдем смотреть на танцы с крыши и есть руками ананас.*

В поисках отца она прошла через кабинет, припадая на одну ногу, как это всегда делал тот, кто был вшестеро ее старше, и через кухню, на ходу стаскивая русалочий костюм, и через спальню. В доме пахло гнилью и сыростью, будто через оставленное открытым окно в гости наведались все призраки Восточной Европы. Но это был всего лишь запах воды, просочившейся сквозь кровельную дранку крыши, подобно воздуху, который умеет просачиваться сквозь зубы, даже когда рот закрыт. И еще запах смерти.

Янкель! — позвала она, высвобождая из русалочьего хвоста худые ноги, над которыми уже темнели завитки лобковых волос, до того свежих, что они еще не успели оформиться в треугольник.

Снаружи: Губы к губам на сеновалах, и пальцы навстречу бедрам, навстречу губам, навстречу ушам, навстречу впадинкам под коленками, на лоскутных одеялах полян, устланных незнакомцами, все мысли —

только о Брод, мысли каждого — только о Брод. *Янкель! Ты дома?* — позвала она, переходя нагишом из комнаты в комнату. От холода соски на ее груди стали твердыми и лиловыми, бледное тело покрыли мурашки гусиной кожи, на кончиках ресниц дрожали дождевые жемчужины.

Снаружи: Перси, взбиваемые мозолистыми лапами. Пуговицы, высвобождающиеся из петель. Предложения, переходящие в слова, переходящие в сопенье, переходящие в стоны, переходящие в визги, переходящие в свет.

Янкель? Ты же мне обещал, что мы будем смотреть с крыши.

Она обнаружила его в библиотеке. Только на этот раз он не дремал в своем излюбленном кресле, как неоднократно случалось — распростертые крылья полупрочитанной книги на ровно вздымающейся груди. Он лежал на полу калачиком, как зародыш в утробе матери, в стиснутых пальцах — скомканный клочок бумаги. В остальном комната была в идеальном порядке. Он постарался не устраивать бардака, когда почувствовал первую вспышку жара внутри черепа. Ему было неловко за ноги, вдруг подкосившиеся под ним; ему было стыдно за мысль, мелькнувшую во время падения, о том, что сейчас он умрет на полу, один, со всеми своими неразделенными горестями, так и не успев сказать Брод, какой она была сегодня красавицей и какое у нее доброе сердце (а на него всегда больший спрос, чем на хорошие мозги) и что не он ее настоящий отец, хотя с радостью бы пожертвовал всем — каждой минутой, каждым днем своей жизни, — за право им быть; так и не успев рассказать ей свой сон об их вечной жизни, или одновременной смерти, или бессмертии. Он умер, сжимая скомканный клочок бумаги в одной руке и костяшку счетов — в другой.

Сквозь кровельную дранку крыши сочилась вода, точно дом был пещерой. С потолка спальни на пол и кровать падал хлопьями красный снег — написанная губной помадой автобиография Янкеля. *Тебя зовут Янкель… Ты любишь Брод… Ты Падший… Раньше ты был женат, но она тебя бросила… Ты не веришь в загробную жизнь…* Брод боялась, что если она даст волю слезам, они размоют фундамент и стены старого дома обрушатся, поэтому она завалила слезные железы мешками, повернув потоки рыданий вспять, направив их вглубь, туда, где сокровеннее, безопаснее.

Она вынула из рук Янкеля листок, пропитанный дождем, и страхом

смерти, и смертью. На нем детским почерком было нацарапано: *Все — Брод.*

Всполох молнии, похожий на праздничную иллюминацию, высветил в окне фигуру Колкаря. Он был крепок, с тяжелыми бровями, нависавшими над глазами цвета кленовой коры. Брод видела, как он вынырнул с монетами, как высыпал их на берег из мешка, точно золотую блевотину, но не обратила на него внимания.

Уходи! — крикнула она, прикрывая обнаженную грудь руками, склоняясь над Янкелем, точно желая оградить и себя, и его от взгляда Колкаря. Но он не ушел.

Уходи!

Я не уйду без тебя, — прокричал он сквозь закрытое окно.

Уходи! Уходи!

Дождь капал у него с верхней губы. *Только с тобой.*

Я руки на себя наложу! — простонала она.

Тогда я заберу с собой твое тело, — сказал он ладони на оконном стекле.

Уходи!

Не уйду!

Янкель дернулся, костенея, сбив масляную лампу, которая сама себя задула по пути к полу, погрузив комнату в абсолютную тьму. Его губы сложились в подобие осторожной улыбки, озарившей темноту согласием. Руки Брод медленно вытянулись по бокам, и она поднялась навстречу моему пра-пра-пра-пра-прадеду.

В таком случае ты должен для меня кое-что сделать, — сказала она.

В этот миг низ ее живота замерцал, как тельце светлячка — ярче сотен тысяч девственниц, расстающихся с невинностью.

Пати зюда! — это моя бабушка зовет мою маму. — *Бызтро!* Маме двадцать один. Как мне сейчас, когда я пишу эти строки. Мама живет с бабушкой, ходит в вечернюю школу, работает на трех работах, мечтает встретить папу и выйти за него замуж, жаждет творить, любить, петь и умирать много раз на дню, и все — ради меня. *Ты зматри,* — говорит бабушка, кивая в сторону включенного телевизора. — *Зматри.* Она кладет свою ладонь поверх маминой и чувствует, как ее кровь бежит по

маминым сосудам, и кровь моего дедушки (который умер всего через пять недель после приезда в Штаты, всего через полгода после маминого рождения), и мамина кровь, и моя, и кровь моих детей и внуков. Сквозь треск: *Всего один шаг…* Некоторое время они завороженно смотрят на голубоватый мраморный шарик, плавающий в пустоте — возвращение на родину из далекого далека. Бабушкин голос дрожит, но она старается не расплакаться: *Езлип только твой фаттер мог на это фсглянут.* Голубоватый шарик сменяется диктором, который только что снял очки и теперь трет глаза. *Дамы и господа, сегодня вечером американец ступил на Луну.* Бабушка с трудом поднимается с дивана — ноги у нее уже тогда старые и больные — и говорит, роняя из глаз множество разнообразных слезинок: *Это фасхитительно!* Она осыпает маму поцелуями, гладит ее по волосам и повторяет: *Фасхитительно!* Мама тоже плачет — каждая новая слезинка не похожа на предыдущую. Они плачут вместе, щека к щеке. И не слышат шепота астронавта, пытающегося разглядеть за лунным горизонтом крошечную деревушку Трахимброд: *Я что-то вижу. Там что-то безусловно есть.*

28 октября 1997
Дорогой Джонатан,

Я буйно насладился получением твоего письма. Ты всегда так скор писать мне. Это будет прибыльной вещью для когда ты настоящий писатель, а не школяр. Мазл-тов!

Дедушка распорядился поблагодарить тебя за дубликат фотографии. Это было доброжелательно с твоей стороны отпочтовать его и не потребовать никакой валюты. По правде, у него ее нет много. Я был уверен, что Отец ничего не распределил ему за наше путешествие, потому что Дедушка часто упоминает, что у него нет валюты, а я хорошо знаю Отца вокруг подобных дел. Это сделало меня гневным (не занервированным и не на нервах, поскольку ты проинформировал меня, что это не подходящие к случаю слова, настолько часто я их употребляю), и я пошел к Отцу. Он завопил: «Я ПРЕДПРИНЯЛ ПОПЫТКУ РАСПРЕДЕЛИТЬ ДЕДУШКЕ ВАЛЮТУ, НО ОН ЕЕ ОТКЛОНИЛ». Я сообщил ему, что не верю, и он звезданул меня и распорядился, чтобы я допросил по этому делу Дедушку, но, конечно, я этого сделать не могу. Когда я был на полу, он объявил мне, что я всего не знаю, хотя так думаю. (Но тебе я скажу, Джонатан: я не думаю, что все знаю.) Я почувствовал себя шмендриком за получение своей порции валюты. Но я был принужден ее получить, потому что, как я тебя информировал, у меня есть мечта когда-нибудь изменить жительство на Америку. У Дедушки нет подобной мечты, и поэтому ему не нужна валюта. Потом я стал очень желчным на Дедушку, которому что мешало получить валюту от Отца и презентовать ее мне?

Не информируй ни одну душу, но все резервы своей валюты я держу на кухне в коробке для печенья. Это место, которое никто не расследует, потому что прошло уже десять лет с тех пор, как Мама изготовила последнее печенье. Я умозаключаю, что, когда коробка наполнится, у меня будет достаточное количество для перемены жительства на Америку. Здесь я осмотрительный человек, потому что желаю быть самоуверенным, что имею достаточно для

роскошной квартиры на Таймс-сквер, достаточно вместительной для меня и для Игорька. У нас будет крупноэкранный телевизор, чтобы смотреть баскетбол, джакузи и проигрыватель, чтобы писать про них в письмах домой, хотя мы и будем дома. Игорек, конечно, должен двинуться в путь вместе со мной, что бы ни случилось.

По всему было видно, что ты не нашел столько много несогласий с предыдущим разделом. Я прошу снисхождения, если он тебя в чем-либо разозлил, но я хотел быть правдивым и с юмором, в соответствии с твоей консультацией. Ты считаешь, что я юмористичный человек? Я знаменую юмористичный с намерениями, а не юмористичный, по глупости. Мама однажды сказала, что я юмористичный, но это когда я попросил ее купить Феррари Тестаросса от моего имени. Не желая, чтобы надо мной смеялись неправильно, я пересмотрел свою просьбу до покрышек.

Я произвел разрозненные изменения, которые ты мне отпочтовал. Я видоизменил раздел про отель в Луцке. Теперь ты платишь только один раз. «Со мной не будут обращаться, как с гражданином второго класса!» — извещаешь ты отелевладельца, и хотя я обязан (спасибо, Джонатан) проинформировать тебя, что ты не гражданин второго, третьего или четвертого класса, это звучит очень мощно. Отелевладелец говорит: «Ты выиграл. Ты выиграл. Я старался натянуть тебя по-быстрому (что значит — натянуть по-быстрому!), но ты выиграл. О'кей. Плати только один раз». Теперь это отличная сцена. Я задумывался сделать, чтобы ты говорил по-украински, — тогда у тебя могло бы быть больше подобных сцен, но это превратило бы меня в лишнего человека, потому что, если бы ты говорил по-украински, ты бы по-прежнему нуждался в водителе, но не в переводчике. Я обмозговывал истребление из рассказа Дедушки, и тогда бы я был водителем, но если он когда-нибудь это установит, я уверен, что это его поранит, а никто из нас не желает наносить ему ран, да? К тому же я не обладаю водительскими правами.

Наконец, я видоизменил раздел о нежности к тебе Сэмми Дэвис Наимладшей. Еще раз повторю: я не думаю, что удалить ее из рассказа или «убить ее в трагикомическом происшествии при переходе дороги к отелю» в соответствии с твоей рекомендацией, — подходящее к случаю решение. Чтобы тебя умиротворить, я изменил сцену, и теперь вы оба выглядите больше как друзья и меньше как любовники или

мстители. Как один пример: она больше не разворачивается, чтобы делать с тобой шестьдесят девять. Теперь это обычный минет.

Мне очень трудно писать о Дедушке, как и тебе, как ты сказал, очень трудно писать о своей бабушке. Я жажду знать о ней больше, если тебя это не огорчит. Возможно, после этого мне будет не так емкотрудно говорить о Дедушке. Ты так и не просветил ее о нашей поездке, не правда ли? Я уверен, что ты сообщил бы мне, если бы просветил. Ты знаешь мое мышление по этому вопросу.

Что же до Дедушки, то он постоянно становится хуже. Когда я думаю, что он наихудчайший, он становится еще хуже. Что-то должно случиться. Он больше не мастер утаивать свою меланхолию. На этой неделе я засвидетельствовал его плачущим три раза, и каждый — глубоко запоздночь, когда я возвращался после сидения насестом на пляже. Тебе я скажу (потому что ты — единственный человек, которому я должен сказать), что временами я за ним кэгэблю из-за угла промежду кухней и телевизионной. В первую ночь, когда я свидетельствовал его плачущим, он расследовал в состарившейся кожаной сумке, распираемой множеством фотографий и бумаг, подобно одной из коробок Августины. Фотографии были желтыми, бумаги также. Я уверен, что он вспоминал про когда он был еще мальчик, а не старик. Во вторую ночь, когда он плакал, он держал в руках фотографию Августины. Шла программа погоды, но было так поздно, что карту планеты Земля презентовали без всякой погоды на ней. «Августина, — расслышал я. — Августина». В третью ночь, когда он плакал, у него в руках была твоя фотография. Единственная возможность, что он взял ее под охрану с моего письменного стола, где я держу все отпочтованные тобой фотографии. Он снова говорил «Августина», хотя я не понимаю, почему.

Игорек хочет, чтобы я изрек от него привет. Он, конечно, тебя не знает, но я его проинформировал о тебе с избытком. Я его проинформировал о том, как ты такой смешной и такой образованный, а еще как мы с тобой можем говорить про знаменательные вещи и также про пердеж. Я даже проинформировал его о том, как ты сделал мешки с грязью, когда мы были в Трахимброде. Я проинформировал его обо всем, что смог о тебе вспомнить, потому что хочу, чтобы он тебя знал, и потому, что это создает ощущение, что ты по-прежнему рядом, что ты не уехал. Ты

будешь смеяться, но я презентовал ему одну из отпочтованных тобой фотографий, где мы вдвоем. Он очень хороший мальчик, лучше даже, чем я, и у него по-прежнему есть шанс стать очень хорошим мужчиной. Я уверен, что ты был бы им умиротворен.

Отец и Мама такие же, как всегда, но более смиренные. Мама перестала готовить Отцу ужин, чтобы его наказать, потому что он никогда не приходит домой к ужину. Она хотела забрызгать его желчью, но он кладет на это с пробором (да? класть с пробором?), потому что он никогда не приходит домой к ужину. Он очень часто ест с друзьями в ресторанах, а также пьет водку в клубах, но не знаменитых. Я уверен, что Отец обладает большими друзьями, чем вся моя остальная семья в сумме. Он опрокидывает много вещей, когда приходит домой глубокой ночью. Это мы с Игорьком, кто убирает и возвращает вещи на подобающие им места. (В этих случаях я держу Игорька при себе.) Место лампы здесь. Место картины здесь. Место тарелки здесь. Место телефона здесь. (Когда у нас с Игорьком будет своя квартира, мы будем содержать все в эксклюзивной чистоте. Ни пылинки.) Сказать по правде, я не скучаю по Отцу, когда его так часто нет. Он мог бы каждую ночь существовать со своими друзьями, и я был бы удовлетворен. Проинформирую тебя, что вчера ночью он разбудил Игорька, возвратившись после водки с друзьями. Это моя вина, потому что я не настоял, чтобы Игорек производил храпунчики в моей комнате, как он теперь делает. Полагалось ли мне сфальсифицировать сон? Полагалось ли Маме? В то время я был в постели, и это космическая вещь, потому что я как раз читал раздел про смерть Янкеля. «Все — Брод», — пишет он, и я подумал: «Все — Игорьку».

Ввиду твоего романа, я был очень удручен за Брод. Она хороший человек в плохом мире. Ее все обманывают. Даже ее отец, который не ее отец. Они оба хранят друг от друга тайны. Я об этом подумал, когда ты сказал, что Брод «никогда не удастся почувствовать себя счастливой, не кривя при этом душой». Ты тоже так чувствуешь?

Я понимаю, что ты пишешь, когда пишешь, что Брод не любит Янкеля. Это не знаменует, что ее чувство лишено объемности или что она не войдет в меланхолию, когда он угаснет. Это что-то другое. Любовь в твоем сочинении — это несдвигаемость правды. Брод ни с кем не правдива. Ни с Янкелем и ни с собой. Для нее все удалено на один

мир от реального. Производит ли это смысл? Если я звучу, как мыслитель, то это дань твоему сочинению.

Конечная часть, которую ты мне дал, про День Трахима, была, без сомнения, наиконечнейшей. Я остаюсь с отсутствием что-либо о ней изречь. Когда Брод спрашивает Янкеля, почему он думает о ее маме, хотя это и больно, и он говорит, что не знает, почему, — знаменательный запрос. Почему мы это делаем? Почему болезненные вещи всегда электромагнитны? В относительности той части про светосекс, должен тебе сообщить, что я подобное уже наблюдал. Однажды я предавался плотским утехам с подружкой и увидел миниатюрную молнию между ее задниц. Я ухватываю, как много этого нужно, чтобы быть ощутимым из открытого космоса. По конечной части у меня есть предложение, что, возможно, тебе следует поставить русского космонавта на месте мистера Армстронга. Попробуй Юрия Алексеевича Гагарина, который в 1961 году стал первым человеком, совершившим орбитальный космический полет.

Под конец, если ты обладаешь журналами или статьями, которые тебе нравятся, я был бы очень рад, если бы ты их мне отпочтовал. Я тебе возомщу любые расходы недвусмысленно. Ты же знаешь, что я хочу статьи про Америку. Статьи про американский спорт, или американские фильмы, или, конечно, про американских девочек, или про американские бухгалтерские школы. Больше я этого не изреку. Я не знаю, сколько много твоего романа на этот момент существует, но я требую это увидеть. У меня такое хотение узнать, что произойдет с Брод и Колкарем. Полюбит она его? Скажи да. Я надеюсь, что ты скажешь да. Это мне докажет одну вещь. Также, возможно, я могу продолжить помогать тебе по мере того, как ты пишешь дальше. Но не спеши огорчаться. Я не потребую своего имени на обложке. Можешь делать вид, что ты все это сам.

Пожалуйста, передай от меня привет своей семье, всем, кроме бабушки, конечно, поскольку она не знает, что я существую. Если ты возжелаешь проинформировать меня о каких-либо вещах про свою семью, я буду очень расположен слушать. Для одного примера: проинформируй меня дополнительно про своего миниатюрного брата, которого, как я знаю, ты любишь так же, как я люблю Игорька. Для другого примера: проинформируй меня про своих родителей. Мама спрашивала вчера о тебе. Она сказала: «И что насчет баламутного

еврея?» Я проинформировал ее, что ты не баламут, а хороший человек, и что ты не такой еврей, как жид, а такой, как Альберт Эйнштейн или Джерри Сайнфельд.[6]

Я предвкушаю с гусями на коже твоего последующего письма и последующего раздела твоего романа. В промежуточное время надеюсь, что ты обожаешь этот следующий раздел моего. Пожалуйста, удовлетворись им, пожалуйста.

Бесхитростно,

Александр

Необычайно емкотрудный поиск

БУДИЛЬНИК произвел шум в 6:00 утра, но шум логически бессвязный, потому что мы с Дедушкой не произвели промеж собой ни одного храпунчика. «Иди за евреем, — сказал Дедушка. — Я буду околачиваться внизу». — «Завтрак?» — спросил я. — «О, — сказал он. — Давай спустимся в ресторан и съедим завтрак. А потом ты сходишь за евреем». — «Как насчет его завтрака?» — «У них ничего без мяса не будет, зачем делать человеку неловкость?» — «Ты сообразительный», — сообщил я ему.

Мы были очень осмотрительны, отбывая из номера, чтобы не сфабриковать шума. Нам не хотелось, чтобы герой проведал, что мы едим. Когда мы сели насестом в ресторане, Дедушка сказал: «Ешь избыточно. Это будет долгий день, и кто знает, когда мы поедим снова?». По этой причине мы заказали три завтрака на двоих и съели избыточно колбасы, являющейся отменным пищепродуктом. Когда мы закончили, мы купили у официантки жевательную резинку, чтобы герой не разоблачил завтрак из наших ртов. «Веди еврея, — сказал Дедушка. — Я буду терпеливо околачиваться в автомобиле».

Я уверен, что герой не находился в покое, потому что прежде чем я успел вторично звездануть в дверь, он сделал ее открытой. Он был уже при одежде, и я увидел, что он облачен в пидараску. «Сэмми Дэвис Наимладшая съела все мои документы». — «Это невозможно», — сказал я, хотя, по правде, я знал, что это было возможно. «Я положил их на тумбочку, когда ложился спать, а когда проснулся, она их дожевывала. Это все, что удалось из нее вырвать». Он экспонировал наполовину прожеванный паспорт и несколько кусков карты. «Фотография!» — сказал я. «Это не страшно. У меня много копий. Она успела умять только две, когда я ее остановил». — «Мне так стыдно». — «Что меня беспокоит, — сказал он, — это то, что ее не было в номере, когда я ложился спать и закрывал дверь». — «Она у нас сука сообразительная». — «Не иначе», — сказал он, применяя ко мне рентгеновское зрение. «Она потому такая сообразительная, что еврейка». — «Хорошо, что хоть очки мои не съела». — «Она бы не стала есть очки». — «Она съела мое водительское удостоверение. Она съела мой студенческий билет, кредитную карточку, горсть сигарет и

немного денег…» — «Но очки она бы есть не стала. Она не животное».

«Слушай, — сказал он, — как ты смотришь на то, чтобы слегка позавтракать?» — «Что?» — «Завтрак», — сказал он, опуская руки себе на живот. «Нет, — сказал я, — я думаю, приступить к поиску будет первостатейнее. Мы хотим обыскать как можно больше пространства, пока не погас свет». — «Но сейчас только 6:30». — «Да, но 6:30 не будет вечно. Смотри, — сказал я и указал пальцем на свои часы, которые были «Ролексами» из Болгарии, — уже 6:31. Мы кладем время не по назначению». — «Может, хоть что-нибудь?» — сказал он. «Что?» — «Один крекер. Я по-настоящему голоден». — «Это не подлежит обсуждению. Думаю, самое лучшее…». — «Пара минут у нас есть. Чем это из тебя пахнет?» — «Ты выпьешь одно мокачино в ресторане внизу — и конец собеседованию. Постарайся натянуть его по-быстрому». Он начал что-то говорить, но я приложил палец к губам. Это знаменовало: ЗАТКНИСЬ!

«Не назавтракались?» — спросила официантка. «Она говорит: доброе утро, не желаете ли мокачино?» — «О, — сказал он. — Скажи, что желаем. И может быть, хлеба или что-нибудь типа того». — «Он американец», — сказал я. «Я знаю, — сказала она. — Не слепая». — «Но он не ест мяса, поэтому дайте ему мокачино». — «Он не ест мяса?!» — «У него с мясом несварение», — сказал я, потому что не хотел делать ему неловкость. «Что ты ей говоришь?» — «Я сказал ей не делать его слишком водянистым». — «Хорошо. Ненавижу водянистый». — «Итак, одно мокачино будет адекватно», — сообщил я официантке, которая была очень красивая и с невиданным избытком бюста. «Мы его не варим». — «Что она говорит?» — «Тогда дайте ему капучино». — «Капучино мы тоже не варим». — «Что она говорит?» — «Она говорит, что сегодня особые мокачино, потому что они кофе». — «Что?» — «Не желаете ли пройтись со мной лунной походкой в знаменитой дискотеке, когда стемнеет?» — спросил я у официантки. «Американца приведешь?» — спросила она. Это ж надо было так на меня помочиться! «Он еврей», — сказал я, и я знаю, что мне не следовало: этого изрекать, но у меня началось ужасное самоощущение. Проблема в том, что самоощущение ухудшилось после того, как я это изрек. «О, — сказала она. — Я никогда раньше еврея не видела. Можно посмотреть на его рожки?» (Возможно, ты подумаешь, что она об этом не осведомлялась, Джонатан, но она осведомилась. Я не сомневался, что

у тебя нет рожек, поэтому попросил ее присматривать за своими делами и всего-навсего принести еврею кофе, а суке — две порции колбасы, потому что кто знает, когда ей предстоит поесть снова.)

Когда кофе прибыл, герой отпил от него очень ограниченное количество. «У него ужасный вкус», — сказал он. Это одна вещь, когда он не ест мяса, и это другая вещь, когда он принуждает Дедушку околачиваться спящим в автомобиле, но это совершенно третья вещь, когда он клевещет на наш кофе. «ТЫ БУДЕШЬ ПИТЬ ЭТОТ КОФЕ, ПОКА Я НЕ УВИЖУ СВОЕ ЛИЦО НА ДНЕ ЭТОЙ ЧАШКИ!» Я не имел в виду рычать. «Но это глиняная чашка». — «А МНЕ ПЛЕВАТЬ!» Он допил кофе. «Тебе не обязательно было его допивать», — сказал я, потому что ощутил, что он вновь начал возводить между нами Великую Китайскую стену, извлекая из штанов кирпичи. «Все о'кей, — сказал он и поставил чашку на стол. — Кофе был отменный. Вкуснятина. Я наелся». — «Что?» — «Можем идти, когда ты будешь готов». Лаптем прикидывается, подумал я. Даже парой лаптей.

На выведение Дедушки из сна ушло несколько минут. Он запер себя внутри автомобиля, и все окна были задраены. Я вынужден был звезданут по стеклу с избытком насилия, чтобы сделать его проснувшимся. Я был удивлен, что стекло не дало трещины. Когда Дедушка открыл наконец глаза, он не знал, где он находится. «Анна?» — «Нет, Дедушка, — сказал я через окно. — Это я, Саша». Он закрыл глаза веками, а веки руками. «Я тебя с кем-то перепутал». Он коснулся головой руля. «Мы в расцвете готовности, — сказал я через окно. — Дедушка?» Он сделал большой вдох и открыл двери.

«Как нам туда попасть?» — осведомился Дедушка у меня, как у сидящего на переднем сиденье, потому что, когда я в автомобиле, я всегда сижу на переднем сиденье, если только автомобиль не мотоцикл, которым я управлять не умею, хотя скоро научусь. Герой и Сэмми Дэвис Наимладшая сидели сзади и присматривали каждый за своим делом: герой жевал ногти на пальцах рук, а сука — хвост. «Я не знаю», — сказал я. «Осведомись у еврея», — распорядился он, и я осведомился. «Я не знаю», — сказал он. «Он не знает». — «Что значит он не знает? — сказал Дедушка. — Мы в автомобиле. Мы в расцвете готовности выдвигаться. Как он может не знать?» Теперь его голос был объемистым, и это напугало Сэмми Дэвис Наимладшую, которая решила залаять. ГАВ. Я спросил у героя: «Что значит ты не знаешь?» —

«Все, что я знаю, я тебе сообщил. Я думал, что один из вас окажется специально подготовленным гидом с удостоверением Наследия. Я, между прочим, за удостоверение отдельно заплатил». Дедушка звезданул по автомобильному гудку, и он издал звук. БИП. «У дедушки есть удостоверение!» — проинформировал его я, ГАВ, что было достоверной достоверностью, хотя его удостоверение было для управления автомобилем, а не для поиска потерянной истории. БИП. «Пожалуйста!» — сказал я Дедушке. ГАВ. БИП. «Пожалуйста! Ты делаешь это невыносимым!» БИП! ГАВ! «Заткнись, — сказал он. — И суку заткни, и еврея!» ГАВ! «Пожалуйста!» БИП! «Ты уверен, что у него есть удостоверение?» — «Конечно», — сказал я. БИП! «Я бы не стал тебя обманывать». ГАВ! «Сделай что-нибудь», — сообщил я Дедушке. БИП! «Не это», — сказал я с объемностью. ГАВ! Он приступил к вождению, на что имел подтвержденное удостоверением право. «Куда мы направляемся?» Мы с героем сфабриковали этот запрос одновременно. «ЗАТКНИТЕСЬ!» — сказал он, и мне не пришлось переводить это для героя.

Он подвез нас к бензоторговому центру, который мы миновали по пути в отель всего одной ночью тому назад. Мы приостановились перед бензоторговым автоматом. К окну подошел мужчина. Он был очень гибкий, с подернутыми бензином глазами. «Ну?» — спросил мужчина. «Нам нужен Трахимброд», — сказал Дедушка. «У нас нет», — сказал мужчина. «Это место. Мы пытаемся его найти». Мужчина повернулся к группе мужчин, стоявших у входа в бензоторговый центр. «У нас есть что-нибудь под названием трахимброд?» Все они повысили плечи и продолжили сообщаться сами с собой. «Извиняюсь, — сказал он. — У нас нет». — «Нет, — сказал я. — Это название места, которое мы разыскиваем. Мы пытаемся найти девочку, которая спасла его дедушку от нацистов». Я указал пальцем на героя. «Что?» — спросил мужчина. «Что?» — спросил герой. «Заткнись», — сообщил мне Дедушка. «У нас есть карта», — сообщил я мужчине. «Презентуй мне карту», — распорядился я героем. Он порылся у себя в сумке. «Ее съела Сэмми Дэвис Наимладшая». — «Это невозможно, — сказал я, хотя я снова знал, что это было возможно. — Упомяни ему некоторые из других названий. Возможно, какое-нибудь в ухе и зазвенит». Бензоторговец вставил в окно свое ухо. «Ковель, — сказал герой. — Киверцы, Сокеречи». — «Колки», — сказал Дедушка. «Да, да, — сказал

бензоторговец. — Обо всех этих местах я слышал». — «И вы смогли бы нас к ним направить?» — спросил я. «Конечно. Они совсем в близости. Может, километрах в тридцати удаления. Не больше. Путешествуйте сначала на север по супервею, а затем на восток, через сельскохозяйственные угодья». — «Но про Трахимброд вы ничего не слышали?» — «Скажи еще». — «Трахимброд». — «Нет, но у многих мест теперь новые названия». — «Жон-фан, — сказал я, оборачиваясь назад, — как Трахимброд по-другому назывался?» — «Софьевка». — «Вы знаете Софьевку?» — спросил я мужчину. «Нет, — сказал он, — но это звучит, как что-то похожее на то, что я мог бы знать. В том краю много деревень. Возможно, девять, а то и больше. Когда станете более ближе, осведомитесь у кого-нибудь, и он вас проинформирует, где лучше найти то, что вы расследуете». (Джонатан, этот мужчина говорил по-украински не так хорошо, но в переводе для рассказа я сделал его звучащим абнормально хорошо. Я мог бы подделать его околостандартные изречения, если бы знал, что тебя это умиротворит.) Мужчина сформировал карту на листке бумаги, который Дедушка извлек из ящика для миниатюрного бардака, где я буду держать экстрарастяжимые презервативы со смазкой, когда у меня будет автомобиль моей мечты. (Они не будут ребристыми для ее удовольствия, потому что в этом нет необходимости, если ты понимаешь, что я имею в виду.) Они собеседовались про карту много минут. «Вот», — сказал герой. Он прицелился пачкой сигарет Мальборо в бензоторговца. «Это что за чертовщина?» — осведомился Дедушка. «Это что за чертовщина?» — осведомился бензоторговец. «Это что за чертовщина?» — осведомился я. «Ему за помощь, — сказал он. — Я прочел в путеводителе, что здесь трудно достать сигареты Мальборо и что следует всюду брать с собой несколько пачек, чтобы раздавать их как чаевые». — «Что такое чаевые?» — «Это то, что ты даешь кому-то в обмен на помощь». — «О'кей, но тебя ведь проинформировали, что ты будешь расплачиваться за эту поездку валютой, а не чаем?» — «Нет, это не то, — сказал он. — Чаевые существуют для небольших вещей, как когда ты спрашиваешь дорогу или пользуешься услугами валета». — «Валета?» «Он мяса не ест», — сообщил Дедушка бензоторговцу. «О?!» — «Валет, — сказал герой, — это парень, который паркует твой автомобиль». Америка всегда оказывается величавее, чем я о ней думаю.

Было уже 7:10, когда мы вновь поехали. Нам понадобилось всего несколько минут, чтобы найти супервей. Должен признаться, что это был красивый день, с избытком света от солнца. «Он красивый, да?» — сказал я герою. «Что?» — «День. Сегодня красивый день». Он опустил стекло в своем окне, что было допустимо, потому что Сэмми Дэвис Наимладшая заснула, и поместил голову за пределами автомобиля. «Да, — сказал он. — День бесподобный». Это сделало меня гордым, и я сообщил об этом Дедушке, и он улыбнулся, и я ощутил, что он тоже сделался гордым человеком. «Проинформируй его об Одессе, — сказал Дедушка. — Проинформируй его о том, как там красиво». — «В Одессе, — сказал я, развернувшись к герою, — еще красивее, чем здесь. Тебе никогда не доводилось свидетельствовать подобной вещи». — «Я хочу про это услышать», — сказал он и раскрыл свой дневник. «Он хочет услышать про Одессу», — сообщил я Дедушке, потому что хотел, чтобы он симпатизировал герою. «Проинформируй его, что песок на ее пляжах мягче женского волоса, а вода — как изнанка женского рта». — «Песок на ее пляжах — как изнанка женского рта». — «Проинформируй его, — сказал Дедушка, — что Одесса — лучшее место, чтобы стать влюбленным и еще сделать семью». Так я героя и проинформировал. «Одесса, — сказал я, — лучшее место, чтобы стать влюбленным и еще сделать семью». — «Ты когда-нибудь влюблялся?» — осведомился он у меня, что выглядело до того странным запросом, что я ему его возвратил. «А ты?» — «Я не знаю», — сказал он. «И я», — сказал я. «Я был на краю любви». — «Да». — «На самом краю, почти любил». — «Почти». — «Но никогда, нет, не думаю». — «Нет». — «Может, мне следует поехать в Одессу, — сказал он. — Я бы мог там влюбиться. Похоже, в этом будет больше смысла, чем искать Трахимброд». Мы оба засмеялись. «Что он говорит?» — осведомился Дедушка. Я сообщил ему, и он тоже засмеялся. На душе от этого стало бесподобно. «Покажи мне карту», — сказал Дедушка. Он проэкзаменовал ее, не прерывая вождения, и я должен признаться, что это сделало его слепоту еще недостовернее в моих глазах.

Мы произвели съезд с супервея. Дедушка возвратил мне карту. «Мы проедем около двадцати километров, а потом осведомимся у кого-нибудь про Трахимброд». — «Это благоразумно», — сказал я. Эта вещь прозвучала странно, но я никогда не знаю, что сказать Дедушке, чтобы не звучать странно. «Я знаю, что это благоразумно, — сказал он. —

Конечно, это благоразумно». — «Можно мне еще раз лицезреть Августину?» — спросил я героя. (Здесь я должен признаться, что я жаждал лицезреть ее с тех пор, как герой впервые ее экспонировал. Но мне было стыдно объявить об этом.) «Конечно», — сказал он и зарылся в свою пидараску. У него было много дубликатов, и он вынул один, как игральную карту. «Держи».

Пока я обозревал фотографию, он обозревал красивый день. У Августины был прелестный волос. Это был тонкий волос. Мне не нужно было до него дотрагиваться, чтобы убедиться. Глаза у нее были голубые. Несмотря на отсутствие цвета в фотографии, я был уверен, что глаза у нее голубые. «Посмотри на эти поля, — сказал герой с указательным пальцем за пределами автомобиля. — Они такие зеленые». Я сообщил Дедушке, что сказал герой. «Сообщи ему, что для сельского хозяйства эта земля высшей пробы». — «Дедушка жаждет, чтобы я тебе сообщил, что для сельского хозяйства эта земля наивысшей пробы». — «И еще ему сообщи, что значительная часть этой земли была уничтожена, когда пришли нацисты, а до этого она была еще прекраснее. Они бомбили самолетами, а потом наступали в танках». — «По ее виду не скажешь». — «Здесь все сделали заново после войны. Раньше было по-другому». — «Ты здесь был до войны?» — «Посмотрите на тех людей: они работают на полях в одном нижнем белье», — сказал герой с заднего сиденья. Я осведомился об этом у Дедушки. «В этом нет ничего абнормального, — сказал он. — Утром здесь очень жарко. Избыточно жарко, чтобы тревожиться о верхнем белье». Я сообщил об этом герою. Он заполнял многочисленные страницы в своем дневнике. Я хотел, чтобы Дедушка продолжил предыдущее собеседование и сообщил мне про когда он был в этих краях, но я ощутил, что то собеседование закончилось. «Какие старые люди работают, — сказал герой. — Некоторым из тех женщин должно быть лет шестьдесят или семьдесят». Я осведомился об этом у Дедушки, потому что тоже не находил это подобающим. «Это подобающе, — сказал он. — Тут горбатят, пока не вгонятся в гроб. Твой прадед умер в полях». — «Прабабушка тоже работала в полях?» — «Они работали вместе, когда он умер». — «Что он говорит?» — осведомился герой и тем помешал Дедушке продолжать, и я снова ощутил, лицезрея Дедушку, что это был конец собеседованию.

Я впервые слышал Дедушку говорящим о своих родителях, и мне

хотелось узнать из него гораздо больше. Что они делали во время войны? Кого спасли? Но я чувствовал, что промолчать по этому вопросу было для меня элементарной вежливостью. Он заговорит, когда ему будет необходимо заговорить, а до той поры я буду упорствовать в молчании. Вот почему я сделал то же, что делал герой, а именно стал смотреть в окно. Не знаю, сколько свалилось времени, но знаю, что свалилось много. «Красиво, да?» — сказал я ему без разворота. «Да». В следующие минуты мы не пользовались словами, а только свидетельствовали сельскохозяйственные угодья. «Сейчас благоразумное время осведомиться у кого-нибудь, как добраться до Трахимброда, — сказал Дедушка. — Думаю, что он от нас не больше, чем в десяти километрах удаленности».

Мы сдвинули автомобиль на обочину, хотя было очень трудно ощутить, где истекала дорога и приступала обочина. «Иди осведомись у кого-нибудь, — сказал Дедушка. — И еврея возьми». — «Ты пойдешь?» — спросил я. «Нет», — сказал он. «Пожалуйста». — «Нет». — «Идем», — проинформировал я героя. «Куда?» Я указал пальцем в поле, на табун мужчин, которые курили. «Ты хочешь, чтобы я пошел с тобой?» — «Конечно», — сказал я, потому что жаждал, чтобы герой почувствовал себя вовлеченным в каждый аспект нашей поездки. Но по правде, я также боялся мужчин в поле. Я никогда не разговаривал с такими людьми — людьми бедными и сельскохозяйствующими, — и подобно большинству жителей Одессы, я говорю на смеси русского и украинского, а они говорят только по-украински, и хотя русский и украинский звучат схоже, люди, которые говорят только по-украински, иногда ненавидят людей, которые говорят на смеси русского и украинского, потому что очень часто люди, которые говорят на смеси русского и украинского, приходят из больших городов и думают, что они значимее людей, которые говорят только по-украински и приходят с полей. Мы так думаем, потому что мы действительно значимее, но это для другого рассказа.

Я приказал герою не разговаривать, потому что время от времени люди, которые говорят только по-украински и ненавидят людей, которые говорят на смеси русского и украинского, также ненавидят людей, которые говорят по-английски. По той же самой причине я привел с нами Сэмми Дэвис Наимладшую, хотя она не говорит ни по-украински, ни на смеси русского и украинского, ни по-английски. ГАВ.

«Почему?» — осведомился герой. «Что почему?» — «Почему я не могу разговаривать?» — «Потому что некоторые люди огорчаются, когда слышат по-английски. Нам будет более легче добыть их содействие, если ты будешь держать губы закрытыми». — «Что?» — «Заткнись». — «Нет, что это за слово ты употребил?» — «Какое?» — «На *д*». Я почувствовал себя очень гордо, потому что знал одно слово английского, которое герой, американец, не знал. «Добыть. Это как заполучать, брать, приобретать, заручаться или овладевать. А теперь заткнись, поц».

«Я об этом никогда не слышал», — сказал один из мужчин, с сигаретой в углу рта. «И я не слышал», — сказал другой, и они экспонировали нам свои спины. «Спасибо», — сказал я. Герой звезданул меня в бок сгибом своей руки. Он пытался мне что-то сказать без слов. «Что?» — прошептал я. «Софьевка», — сказал он без объемности, хотя, по правде, это не имело значения. Это не имело значения, потому что мужчины не обращали на нас никакого внимания. «Ах, да», — сказал я мужчинам. Но они не развернулись, чтобы взглянуть на меня. «Еще он называется Софьевка. Вы знаете о таком городке?» — «Мы о нем никогда не слышали», — сказал один из них, не обсуждая это с остальными. Он отбросил сигарету на землю. Я развернул голову отсюда туда, чтобы проинформировать героя, что они не знают. «Может, вы видели эту женщину», — сказал герой, доставая из пидараски дубликат фотографии Августины. «Убери обратно!» — сказал я. «Вы чего тут хотите?» — осведомился один из мужчин и тоже отбросил сигарету на землю. «Что он сказал?» — спросил герой. «Мы разыскиваем городок Трахимброд», — проинформировал я их и ощутил, что не катаюсь как сыр в масле. «Я же тебе сообщил, что нет такого места Трахимброд». — «Так что хватит нам надоедать», — сказал один из других мужчин. «Хотите сигарету Мальборо?» — предложил я, потому что больше ничего не пришло в голову. «Иди отсюда», — сказал один из мужчин. «Отправляйся обратно в Киев». — «Я из Одессы», — сказал я, и они засмеялись с насилием. «Тогда отправляйся обратно в Одессу». — «Они нам могут помочь? — осведомился герой. — Они что-нибудь знают?» — «Идем», — сказал я и взял его руку, и мы пошли назад к автомобилю. Я был присмирен до максимума. «Идем, Сэмми Дэвис Наимладшая!». Но она не хотела идти, несмотря на то, что курящие мужчины подвергали ее насмешкам.

Оставалась только одна возможность. «Билли Джин из нот май лава. Ши из джаст э герл ху клеймз зет айм зе уан». Максимум присмиренности переросло в максиморум.

«Какого черта ты начал изрекать английский! — сказал я. — Я приказал тебе не разговаривать по-английски! Ты меня доуразумел, да?» — «Да». — «Тогда зачем говорил по-английски?» — «Я не знаю». — «Ты не знаешь! Я тебя просил приготовить мне завтрак?» — «Что?» — «Я тебя просил изобретать новую разновидность колеса?» — «Я не…» — «Нет, я тебя просил сделать только одну вещь, и ты сделал из нее катастрофу! Надо же быть таким тупицей!» — «Я думал, это принесет пользу». — «Но это не принесло пользу. Ты их взбесил!» — «Тем, что заговорил по-английски?» — «Я приказал тебе не разговаривать, а ты заговорил. Может, этим ты и отравил все». — «Прости, я думал, что фотография…». — «Думать буду я. Ты будешь помалкивать». — «Мне очень жаль». — «Это мне жаль. Жаль, что взял тебя с собой в эту поездку».

Я загорелся стыдом от манеры, с которой разговаривали со мной мужчины, и я не хотел информировать Дедушку о том, что случилось, потому что знал, что он тоже загорится стыдом. Но возвратившись к автомобилю, я осознал, что мне ни о чем не придется его информировать. Если хотите знать почему, то это потому, что сначала мне пришлось выдвинуть его из сна. «Дедушка, — сказал я, касаясь его руки. — Дедушка. Это я, Саша». — «Я спал», — сказал он, и это меня очень удивило. Это так странно воображать одного из своих родителей или одного из родителей своих родителей спящими. Если они спят, то они думают о вещах, в которых тебя нет, и еще они думают о вещах, которые не ты. И потом, если они спят, то им должно что-то сниться, и это еще одна вещь, о которой стоит подумать. «Они не знают, где Трахимброд». — «Что ж, входите в машину», — сказал он. Он задвигал руками по глазам. «Мы будем упорствовать в вождении и в поиске кого-нибудь еще, чтобы осведомиться».

Мы обнаружили много людей, чтобы осведомиться, но, по правде, каждый из них относился к нам одинаково. «Пошли прочь», — изрек старик. «Чего вдруг?» — осведомилась женщина в желтом платье. Ни один из них не знал, где Трахимброд, и ни один из них никогда о нем не слышал, но все они приходили в бешенство или умолкали, когда я осведомлялся. Мне так хотелось, чтобы Дедушка мне помог, но он

отказывался покидать автомобиль. Мы упорствовали в вождении, теперь уже по придаточным дорогам, лишенным каких-либо помет. Дома были менее ближе друг к другу, и было абнормально увидеть кого-нибудь вообще. «Я здесь прожил всю свою жизнь, — сказал один старик, не удаляя себя из стула под деревом, — и могу проинформировать вас, что места с названием Трахимброд не существует». Другой старик, который сопровождал корову, переходившую проселочную дорогу, сказал: «Вам следует сейчас же прекратить поиск. Обещаю вам, что вы ничего не найдете». Я не сообщил об этом герою. Возможно, это потому, что я хороший человек. Возможно, это потому, что плохой. Как заменитель правды, я сообщил ему, что все они сообщали нам ехать еще, и что, если мы проедем еще, то обнаружим кого-нибудь, кто будет знать, где Трахимброд. Мы будем ехать, пока не найдем Трахимброд, и ехать, пока не найдем Августину. И мы ехали еще, потому что беспощадно заблудились и потому что не знали, что еще делать. Автомобилю было очень трудно путешествовать по некоторым дорогам, потому что на них было столько много камней и ям. «Не огорчайся, — сообщил я герою. — Мы что-нибудь найдем. Я уверен, что, если мы будем продолжать ехать, мы найдем Трахимброд, а потом и Августину. Все в гармонии с замыслом».

Центр дня уже миновал. «Что же мы будем делать? — осведомился я у Дедушки. — Мы ехали много часов, но стали ничуть не ближе, чем за много часов до накануне». — «Я не знаю», — сказал он. «Ты изнурен усталостью?» — осведомился я у него. «Нет». — «Ты голоден?» — «Нет». Мы еще проехали, дальше и дальше, по тем же кругам. Автомобиль много раз становился вросшим в землю, и мы с героем вынуждены были выходить, чтобы облегчить его отяжеленность. «Это нелегко», — сказал герой. «Нет, нелегко», — уступил я. «Но, наверное, надо ехать дальше. Ты не думаешь? Если нам все так говорят». Я видел, что он продолжает заполнять свой дневник. Чем меньше мы видели, тем больше он писал. Мы проехали многие из тех городков, которые герой называл бензоторговцу. Ковель. Сокеречи. Киверцы. Но людей нигде не было, а когда кто-нибудь был, он не мог нам помочь. «Ступайте прочь». «Нет здесь Трахимброда». «Я не знаю, о чем вы говорите». «Вы заблудились». Все время казалось, как будто мы ошиблись страной, или веком, или как если бы Трахимброд исчез вместе с памятью о нем.

Мы следовали по дорогам, по которым уже следовали, и

освидетельствовали части земли, которые уже свидетельствовали, и оба из нас, Дедушка и я, жаждали, чтобы герой этого не осознал. Я вспомнил, когда я был мальчик, и Отец, бывало, мне звезданет, то потом он обязательно говорил: «Тебе не больно. Не больно». И чем больше он это изрекал, тем достовернее это становилось. Я верил ему в какой-то степени потому, что он был мой Отец, а в какой-то степени потому, что я тоже не хотел, чтобы было больно. Вот как я чувствовал себя с героем, когда мы упорствовали в вождении. Я как будто ему изрекал: «Мы ее найдем. Мы ее найдем». Я его обманывал, и я уверен, что он жаждал быть обманутым. И мы продолжили рисовать круги на проселочных дорогах.

«Там», — сказал Дедушка, указывая пальцем на фигуру, сидевшую насестом на ступеньках очень уменьшительного дома. Это был первый человек, которого мы лицезрели за много минут. Свидетельствовали ли мы его раньше? Осведомлялись ли уже у него бесплодно? Он остановил автомобиль. «Иди». — «Ты пойдешь?» — спросил я. «Иди». Поскольку я не знал, что еще сказать, я сказал «О'кей», и поскольку я не знал, что еще сделать, я удалил себя из автомобиля. «Идем», — сказал я герою. Возражения не последовало. «Идем», — сказал я и развернулся. Герой производил храпунчики, как и Сэмми Дэвис Наимладшая. Мне нет необходимости выводить их из сна, сказал я в своем лобном месте. Я взял с собой дубликат фотографии Августины и постарался не потревожить их, закрывая автомобильную дверь.

Дом был белый, деревянный, весь из себя разваливающийся. В нем было четыре окна, и одно из них было разбито. Когда я подошел более ближе, я ощутил, что человек на крыльце был женщиной, сидящей насестом. Она была очень состарившейся и обдирала листья с кукурузы. Поперек ее двора лежали многочисленные одежды. Я уверен, что они просто сохли после стирки, но из-за абнормального расположения они выглядели одеждами с невидимых мертвых тел. Я умозаключил, что в белом доме было много людей, потому что это были одежды мужские и одежды женские, одежды для детей и даже младенцев. «Снисхождение», — сказал я, находясь в небольшой удаленности. Я сказал это, чтобы она не оцепенела от ужаса. «У меня для вас запрос». Она была облачена в белую рубашку и белое платье, но обе усеянные грязью и следами высохших жидкостей. Я ощутил, что она была бедной женщиной. Все жители маленьких городков бедные, но она была более

беднее. Это было недвусмысленно по тому, какая она была гибкая и как подорваны были ее пожитки. Это должно быть дорого, подумал я, проявлять заботу сразу о стольких людях. Тогда я решил, что, когда стану богатым в Америке, я дам этой женщине немного валюты.

Она улыбнулась, когда мы стали совсем в близости, и я увидел, что у нее нет ни одного зуба. У нее был белый волос, и на коже были коричневые отметины, и глаза были голубые. Она была не вполне женщина, и этим я знаменую то, что она была совсем хрупкой и выглядела так, будто ее можно было стереть одним пальцем. Приближаясь, я слышал, как она мурлычет. (Это называется мурлыкать, да?) «Снисхождение, — сказал я. — Не хочу вам докучать». — «Разве может что-нибудь докучать в такой чудесный день?» — «Да, он чудесный». — «Да, — сказала она. — Откуда ты?» Я загорелся стыдом. Я повертел в лобном месте, что бы сказать, и закончил правдой: «Одесса». Она опустила один кукурузный початок и подняла другой. «Я никогда не бывала в Одессе», — сказала она и передвинула волос, который был на лице, за ухо. Только в этот момент я ощутил, что волос у нее такой же длинный, как она вся. «Вам надо туда съездить», — сказал я. «Я знаю. Я знаю, что надо. Не сомневаюсь, что есть еще много вещей, которые мне надо сделать». — «И также много вещей, которые делать не надо». Я старался превратить ее в успокоенного человека и превратил. Она засмеялась. «Ты мой сладкий». — «Вы когда-нибудь слышали про городок, обзываемый Трахимброд? — осведомился я. — Меня проинформировали, что люди, близкие сюда, должны о нем знать». Она положила свою кукурузу на колени и посмотрела вопросительно. «Не хочу вам докучать, — сказал я, — но вы когда-нибудь слышали про городок, обзываемый Трахимброд?» — «Нет», — сказала она, поднимая свою кукурузу и удаляя с нее листья. «Вы когда-нибудь слышали про городок, обзываемый Софьевка?» — «И о нем я никогда не слышала». — «Сожалею, что украл у вас время, — сказал я. — Всего хорошего». Она презентовала мне печальную улыбку, которая была как когда муравей в янтаре Янкелева кольца спрятал голову между лапок, — я знал, что это был символ, но не знал, что он символизирует.

Пускаясь в обратный путь, я слышал ее мурлыканье. О чем я проинформирую героя, когда он перестанет производить храпунчики? О чем я проинформирую Дедушку? Сколько неудач мы еще претерпим

прежде, чем сдадимся? Я почувствовал себя придавленным бременем. Как и с Отцом, ты успеваешь изречь «Не больно» всего несколько раз, пока обида не становится сильнее боли. Осознанная обида, я уверен, больнее, чем боль. Неистины свисали передо мной, как плоды. Какую сорвать для героя? Какую для Дедушки? Какую для себя? Какую для Игорька? Потом я вспомнил, что захватил с собой фотографию Августины, и хотя я не знаю, что меня принудило сделать это, я развернулся по кругу назад и показал ее женщине.

«Вы когда-нибудь свидетельствовали кого-либо на этой фотографии?»

Она изучала ее несколько мгновений. «Нет».

Не знаю почему, но я осведомился снова.

«Вы когда-нибудь свидетельствовали кого-либо на этой фотографии?»

«Нет», — снова сказала она, хотя это второе «нет» выглядело не попугаем, а другой разновидностью «нет».

«Вы когда-нибудь свидетельствовали кого-либо на этой фотографии?» — осведомился я, и на этот раз держал ее более ближе к ее лицу, как Дедушка держал ее к своему.

«Нет», — снова сказала она, и это выглядело третьей разновидностью «нет».

Я вложил фотографию ей в руки.

«Вы когда-нибудь свидетельствовали кого-либо на этой фотографии?»

«Нет», — сказала она, но в ее «нет» мне с несомненностью слышалось: «Пожалуйста, упорствуй. Осведомись снова». И я осведомился.

«Вы когда-нибудь свидетельствовали кого-либо на этой фотографии?»

Она задвигала большими пальцами рук по лицам, как будто пыталась их стереть. «Нет».

«Вы когда-нибудь свидетельствовали кого-либо на этой фотографии?»

«Нет», — сказала она и опустила фотографию на колени.

«Вы когда-нибудь свидетельствовали кого-либо на этой фотографии?» — осведомился я.

«Нет», — сказала она, все еще экзаменуя ее, но только из уголков

своих глаз.

«Вы когда-нибудь свидетельствовали кого-либо на этой фотографии?»

«Нет». Она снова мурлыкала, на сей раз громче.

«Вы когда-нибудь свидетельствовали кого-либо на этой фотографии?»

«Нет, — сказала она. — Нет». Я увидел, как на ее белое платье сошла слеза. Со временем и она высохнет и оставит след.

«Вы когда-нибудь свидетельствовали кого-либо на этой фотографии?» — осведомился я и почувствовал себя извергом, ужасным человеком, но я был уверен, что исполняю именно то, что нужно.

«Нет, — сказала она. — Никогда. Все они выглядят людьми посторонними». Я все поставил на кон.

«А кто-либо на этой фотографии когда-либо свидетельствовал вас?»

Сошла еще одна слеза.

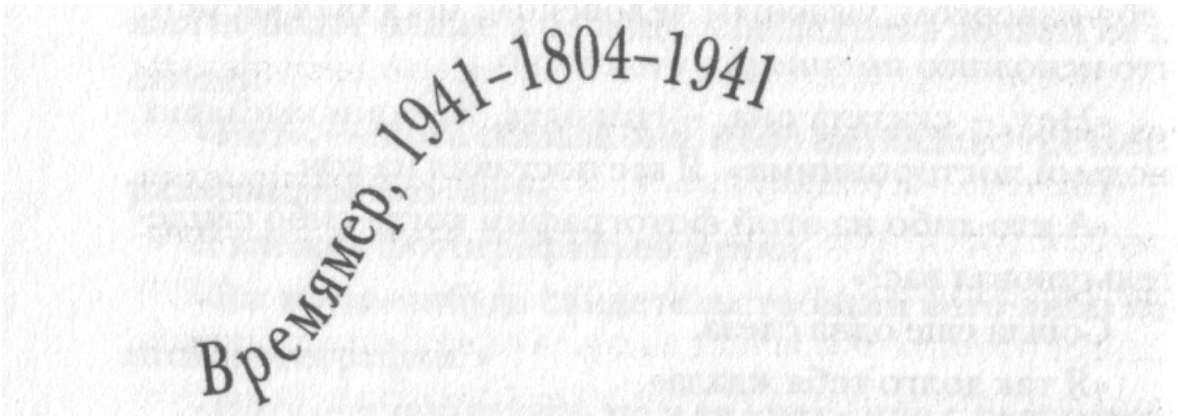
«Я так долго тебя ждала».

Я указал пальцем на автомобиль:

«Мы разыскиваем Трахимброд».

«О, — сказала она и разрешила слезам течь рекой. — Вы нашли его. Это я».

Времямер, 1941–1804—1941



РАСТЯНУВ РЕЗИНКУ большими пальцами, она спустила с бедер кружевные трусики, подставив свои набухшие гениталии игривым касаниям влажных летних ветерков, принесших с собой запахи бузины, березы, бабушкиной бешамели, булькающих бульонов, а теперь вот подхвативших и ее неповторимый животный запах, чтобы нести его на север, от носа к носу, как послание, передаваемое по цепочке школьниками в детской игре, покуда последний, его учуявший, не поднимет голову и не скажет: *Борщ?* Она высвободила из них ступни с нарочитой неспешностью, будто уже одно это движение могло оправдать факт ее появления на свет, каждый миг родительских усилий, поглощаемый ею с каждым вдохом кислород. Будто оно могло оправдать слезы ее детей, которые непременно пролились бы у ее гроба, не утони она вместе со всем штетлом в реке (на заре юности, как и весь штетл) прежде, чем успела кого-нибудь родить. Она сложила трусики вшестеро в форме слезы и заправила их в карман его черного свадебного костюма так, чтобы из-за лацкана выглядывали лишь раскрывающиеся складки кружевных лепестков, как и положено приличному носовому платку.

Это чтобы ты думал обо мне, — сказала она, — *покуда…*

Мне не нужны напоминания, — сказал он, целуя влажную мохнатость над ее верхней губой.

Поспеши, — хихикнула она, одной рукой расправляя ему галстук, другой — трос у него между ног. — *Ты опоздаешь. Беги к Времямеру.*

То, что он собирался сказать в ответ, она утопила в поцелуе; потом

оттолкнула его, чтоб уходил.

Лето было в разгаре. Листья плюща, цеплявшиеся за осыпавшийся синагогальный портик, потемнели у оснований. К земле вернулся глубокий кофейный оттенок, и она вновь была готова принимать в себя семена мяты и помидоров. Кусты сирени флиртовали друг с другом над перилами веранды, перила местами начинали крошиться, и крошево подхватывали и уносили прочь летние ветерки. Когда, потея и отдуваясь, мой дедушка наконец прибыл, мужчины штетла уже толпились вокруг Времямера.

Вот и Сафран! — объявил Несгибаемый Раввин под радостные возгласы заполнивших площадь. *Жених прибыл!* Септет скрипок ударил традиционный Вальс Времямера, и старейшины штетла принялись отбивать такт ладошами, а дети присвистывать *фью-фью*.

Песнь на Мелодию Вальса Времямера для Вступающих в Брак.
(Исполняется Хором)

Дин-дон, дин-дан!
Собирайтесь на майдан!
Оп-па, уп-па!
Воздвигается хупа!
Подфартило (вставить имя жениха) молодцу
Нашу кралю (вставить имя невесты) взять к венцу.
Уж она ему поможет:
И разденет, и уложит.
Пусть они друг дружку трут —
Это самый лучший труд!
Мы тут будем пировать,
Ну, а вы — скорей в кровать и дин-дон, дин-дан…

[Повторяется с начала и до бесконечности]

Дедушка совладал с волнением, ощупал спереди брюки, удостоверяясь, что ширинка действительно застегнута, и шагнул навстречу длинной тени Времямера. Ему предстояло исполнить священный обряд, через который проходил в Трахимброде каждый женатый мужчина со дня трагического инцидента на мельнице с его

пра-пра-пра-прадедом. Ему предстояло пустить на ветер свою холостяцкую жизнь, а вместе с ней, теоретически, и все сексуальные похождения прошлого. Но что поразило его, пока он приближался к Времямеру широким размеренным шагом, была не живописность церемонии или исконная неискренность принятого свадебного ритуала, и даже не то, как страстно ему хотелось, чтобы Цыганочка была сейчас рядом, чтобы его истинная любовь могла погулять вместе с ним на его свадьбе, а то, что он больше не мальчик. Становясь старше, он все больше походил на своего пра-пра-прадеда: те же густые брови, оттенявшие нежные, почти женственные глаза; тот же выступ на переносице; те же складки в уголках губ — в форме галочки (V) с одной стороны и подковы (U) с другой. Отсутствие риска и всепроникающая печаль: он врастал в место, отведенное ему в роду; он все больше походил на отца отца отца отца своего отца, и из-за этого, из-за того, что его раздвоенный подбородок свидетельствовал о том же невообразимом месиве из генов (сваренном распорядителями войн, болезней, возможностей, истинной и ложной любви), ему было заранее обеспечено место в длинной очереди — определенная гарантия на рождение и постоянство, но и обременительная стесненность в поступках. Он не был абсолютно свободен.

Знал он и о месте, которое ему предстояло занять среди женатых мужчин, каждый из которых давал клятву верности, стоя на коленях там, где сейчас касались земли его колени. Все они вымаливали ясный ум, крепкое здоровье, красивых сыновей, неукрощенные заработки и укрощенное либидо. Всем им тысячи раз рассказывали историю о Времямере, о трагических обстоятельствах его создания и могуществе его власти. Все они знали о том, как его пра-пра-прабабушка Брод сказала своему новоиспеченному мужу *Не ходи,* потому что слишком хорошо помнила о проклятии мельницы, взявшей за правило отбирать без предупреждения жизни своих молодых работников. *Пожалуйста, найди другую работу или не работай вообще. Но обещай, что туда не пойдешь.*

И все они знали о том, что ответил Колкарь: *Все это глупости, Брод,* — нежно поглаживая ее живот, который даже на седьмом месяце она могла легко скрыть под мешковатым платьем. *Это очень хорошая работа, просто надо быть внимательным, вот и все.*

И все женихи знали о том, как Брод плакала, как спрятала его

рабочую одежду накануне вечером, как всю ночь будила его каждые несколько минут, чтобы утром он был не в силах подняться с постели, как отказались приготовить ему кофе к завтраку, как даже попробовала приказать.

Это и есть любовь, — думала она, — *не так ли? Когда, заметив чье-то отсутствие, ты ненавидишь его больше всего на свете? Даже больше, чем любишь его присутствие.* Все они знали о том, как изо дня в день она ждала Колкаря у окна, знакомясь с его поверхностью: тут трещинка, тут радужность, там замутненность. Она водила по стеклу пальцами, как слепая, осваивающая язык, и как слепая, осваивающая язык, чувствовала, что обретает свободу. В проем окна она была заключена, как в тюрьму, ставшую для нее волей. Ей нравилось ждать Колкаря, нравилось, что ощущение счастья теперь целиком зависит от него, нравилось — хоть раньше это казалось ей совершенной нелепостью — быть женой. Ей нравилась ее новая способность любить сами предметы сильнее, чем свою любовь к ним, и ту уязвимость, которой приходится расплачиваться за жизнь в подлинном мире. *Наконец-то,* — думала она. — *Наконец-то. Если быЯнкель только знал, как я счастлива.*

Когда Брод просыпалась в слезах от одного из ночных кошмаров, Колкарь усаживался рядом, водил руками по ее волосам, собирал ее слезы в наперстки, чтобы утром она могла их выпить (*Единственный способ избавиться от печали — испить ее до конца,* — говорил он), и больше того: когда она закрывала глаза и засыпала, к нему переходила ее бессонница. Этот переход был полным, как при столкновении катящегося бильярдного шара с неподвижным. Случись Брод быть подавленной, — а подавлена она бывала всегда, — Колкарь не отходил от нее до тех пор, пока ему не удавалось убедить ее, что все о'кей. Да-да. В самом деле. И когда, выйдя из оцепенения, она бралась за дела, он так и оставался сидеть, парализованный скорбью, чужой и без названия. Случись Брод заболеть, как на исходе недели не кто иной, как Колкарь, оказывался прикованным к постели. Случись Брод заскучать от избытка постигнутых языков и фактов, от избытка знаний, не позволявших ей быть счастливой, как Колкарь ночь напролет просиживал над ее книгами, над ее набросками, чтобы утром быть в состоянии развлечь свою молодую жену интересными ей разговорами.

Не правда ли, странно, Брод, как в математических выражениях, с

одной стороны, может быть целая вереница значков, а с другой — всего несколько штучек? Это же просто поразительно! И сколько в этом жизненной мудрости!.. Брод, ну зачем опять эта гримаса? Так ты похожа на того музыканта, которому приходится дуть в инструмент, закрученный, как бараний рог. Брод, — говорил он, указывая на Кастор, когда им случалось лежать, запрокинув головы, на покатой жестяной крыше их небольшого дома, — *вон, видишь, это звезда. И это тоже,* — указывая на Поллукс. — *Я уверен. И те тоже. Да, это очень знакомые звезды. За остальные не поручусь. Я с ними не знаком.*

Брод видела его насквозь, будто он тоже был окном. Она всегда чувствовала, что знает о нем все, что можно знать, — не потому что он был прост, а потому что был исчерпаем, как список намеченных на день дел, как энциклопедия. У него была родинка на среднем пальце левой ноги. Он был не в состоянии помочиться, если знал, что кто-то может услышать. Он находил, что у огурцов вкус самый обыкновенный, а вот у маринованных огурчиков — бесподобный, причем бесподобный настолько, что он ставил под сомнение саму возможность происхождения огурчиков от огурцов с их обыкновенным вкусом. Понятия не имея о Шекспире, он что-то слышал о Гамлете. Ему нравилось входить в нее сзади. В жизни, думал он, ничего приятнее не бывает. Он никогда никого не целовал, кроме своей матери и Брод. Он нырнул за золотым мешком потому, что хотел произвести на нее впечатление. Иногда он часами разглядывал себя в зеркале, гримасничая, поигрывая мускулами, подмигивая, улыбаясь, хмурясь. Ему никогда не доводилось видеть наготу других мужчин, а потому он не знал, правильное ли у него тело. Сам не понимая, почему, он краснел при слове «бабочка». Он никогда не выезжал за пределы Украины. Одно время он считал землю центром мироздания, но потом его переубедили. Разгадав секрет фокуса, он восхищался фокусником вдвойне.

Ты такой трогательный муж, — сказала она ему, когда он принес ей подарки.

Я просто стараюсь быть хорошим.

Я знаю, — сказала она. — *Ты хороший.*

Но есть еще так много вещей, которые я не могу тебе дать.

Но есть еще так много вещей, которые можешь.

Я не сообразителен…

Перестань, — сказала она. — *Перестань сейчас же.* Если ей чего-то и не хватало в Колкаре, то уж точно не его сообразительности. Сообразительность вмиг бы все погубила. Ей нужен был кто-то, о ком можно было скучать, кого можно было трогать, с кем можно было говорить и вести себя, как дитя. Для этого он подходил идеально. И еще она была влюблена.

Это я не сообразительна, — сказала она.

Большей глупости в своей жизни не слышал, Брод.

Вот именно, — обвивая себя его рукой, утыкаясь лицом в его грудь.

Брод, я сейчас очень серьезно. Иногда мне кажется, будто все, что я скажу, прозвучит неправильно.

И что же ты делаешь?

Молчу.

Это очень сообразительно, — сказала она, теребя кожу под его подбородком.

Брод, — отстраняясь, — *ты не принимаешь меня всерьез.* Она еще больше вжалась в него и закрыла глаза, как кошка. *Я, если хочешь знать, вел учет,* — сказал он, отбирая у нее свои руки.

Это чудесно, милый.

Ты не собираешься спросить, какой учет?

Я полагала, что ты сам расскажешь, если сочтешь нужным. Когда ты не рассказал, я просто решила, что это немое дело. Хочешь, чтобы я спросила?

Спроси.

О'кей. Что же ты по секрету от всех учитывал?

Я считал, сколько раз мы с тобой беседовали с тех пор, как поженились. Хочешь отгадать, сколько?

Так ли уж это необходимо?

Мы с тобой беседовали всего шесть раз, Брод. Шесть за три года.

А этот раз считается?

Ты никогда не принимаешь меня всерьез.

Очень даже принимаю.

Нет, ты вечно шутишь или уходишь от разговора прежде, чем мы успеваем хоть что-нибудь друг другу сказать.

Прости, если это так. Я никогда не замечала. А сейчас обязательно это обсуждать? Мы ведь говорим постоянно.

Я не о разговорах, Брод. Я о беседах. О том, что длится больше пяти минут.

Что-то я запуталась. Ты не говоришь о разговорах? Ты хочешь, беседовать о беседах? Так?

Мы беседовали шесть раз, Брод. Я знаю, что это нелепо, по я считал. В остальное время это одни никчемные слова. Мы говорим об огурцах и как я больше люблю огурчики. Мы говорил о том, как я краснею, когда слышу то слово. Мы говорим о скорбящей Шанде и Пинхасе и как синяки становятся заметны не сразу, а дня через два. Говорим, говорим, говорим. Толчем воду в ступе. Огурцы, бабочки, синяки. Ерунда сплошная.

А что не ерунда? Хочешь немного поговорить о войне? Мы могли бы поговорить о литературе. Ты только скажи, что для тебя не ерунда, и мы об этом поговорим. Бог? Можем поговорить о Нем.

Ну, вот опять ты…

Что я опять?

Опять ты не принимаешь меня всерьез.

Эту привилегию надо еще заслужить.

Я стараюсь.

А ты старайся усерднее, — сказала она и расстегнула ему брюки. Она провела языком от ямки у основания его шеи до подбородка, высвободила заправленную в брюки рубаху, спустила их вниз и прикончила их седьмую беседу в зародыше. Все, что ей от него хотелось, это объятия и жаркие речи. Шепоты. Уверения. Обещания быть верным и не лгать, которые она заставляла его повторять снова и снова: что он никогда не поцелует другую женщину, что даже и думать забудет о другой женщине, что он никогда ее не оставит.

Повтори.

Я тебя не оставлю.

Еще раз.

Я тебя не оставлю.

Еще.

Не оставлю.

Кого?

Тебя.

Шел уже второй месяц с тех пор, как он начал работать, когда на пороге ее дома появились двое мужчин с мельницы. Ей ни к чему было

спрашивать, зачем они пришли, и она сразу рухнула на пол как подкошенная.

Убирайтесь прочь! — выкрикнула она, шаря руками по ковру, точно это был новый язык, который ей предстояло освоить, еще одно окно.

Ему не было больно, — сообщили они ей. — *Он вообще ничего не почувствовал.* Отчего она зарыдала только пуще, отчаянней. Смерть — единственная вещь в этой жизни, которую абсолютно необходимо осознавать, когда она случается.

Распилочный диск соломомельчительного агрегата соскочил с шунтов и запрыгал по мельнице, рикошетом отскакивая от стен и несущих балок, и работники бросились врассыпную в поисках укрытия. Сидя на сваленных друг на друга мешках с мукой, Колкарь ел бутерброд с сыром, раздумывая над каким-то замечанием Брод, не осознавая воцарившегося вокруг хаоса, как вдруг диск отскочил от стальной сваи (оставленной на полу одним из работников, позднее погибшим от удара молнии) и с изумительной вертикальностью ввинтился в самую середину его черепа. Колкарь глянул вверх, выронил бутерброд (свидетели готовы поклясться, что в полете хлеб и сыр поменялись местами) и закрыл глаза.

Оставьте меня! — завопила Брод мужчинам, которые по-прежнему стояли безмолвно на пороге. — *Уходите!*

Но нам сказали…

Прочь! — сказала она, ударяя себя в грудь. — *Прочь!*

Наш хозяин сказал…

Ублюдки! — прокричала она. — *Оставьте скорбящую скорбеть!*

Но он не умер, — уточнил тот из мужчин, что был немного потолще.

Что?

Он не умер.

Не умер? — спросила она, отрывая голову от пола.

Нет, — сказал второй. — *Он под присмотром врача, но, кажется, необратимых повреждений немного. Вы можете его увидеть, если хотите. Он ни в коей мере не выглядит отталкивающе. Ну, может, самую малость, хотя крови почти не было, не считая из ушей и из носа, и похоже, лезвие все оставило на своих местах, более не менее.*

Рыдая еще пуще, чем когда впервые услышала весть о якобы

фатальном происшествии с ее мужем, Брод сначала обняла обоих мужчин, а затем засветила им по носам со всей силой, на какую были способны ее худенькие пятнадцатилетние кулачки.

Колкарь, и правда, почти не пострадал. Он пришел в чувство всего через несколько минут и до приемной врача (а в отсутствие пациентов — организатора выездных банкетов) Абрама М довел себя сам, прошествовав по лабиринту грязных и узких проулков.

Как тебя зовут? — измеряя диск штангенциркулем.

Колкарь.

Очень хорошо, — слегка касаясь подушечкой пальца острия одного из зубцов. — А жену как зовут, можешь вспомнить?

Брод, конечно. Ее зовут Брод.

Очень хорошо. Ну и что, по-твоему, с тобой случилось?

У меня пила в голове застряла.

Очень хорошо. — Осматривая диск со всех сторон, врач нашел, что он похож на летнее солнце часов около пяти вечера, застывшее над горизонтом Колкаревой головы, что навело его на мысль об ужине — его самой любимой трапезе. — *Тебе больно?*

Это не боль. Что-то другое. Почти как ностальгия.

Очень хорошо. Ностальгия. А теперь можешь проследить глазами за моим пальцем? Нет, не за тем, за этим… Очень хорошо. По комнате можешь пройтись?.. Очень хорошо.

И тут без всякого повода Колкарь с размаху грохнул кулаком по столу и провопил: *Индюк ты надутый!*

Прошу прощения? Что?

Что сейчас было?

Ты обозвал меня индюком.

Я?

Ты.

Простите. Вы не индюк. Примите мои извинения.

Наверное, ты просто…

Но ведь так и есть! — вновь выкрикнул Колкарь. — *Высокомерный индюк! И жирный вдобавок, если я этого еще не говорил.*

Боюсь, я не совсем понима…

Неужели я опять что-то сказал? — спросил Колкарь, лихорадочно шаря глазами по комнате.

Ты сказал, что я высокомерный индюк.

Поверьте мне… Ну и здоровенная же у тебя жопа!.. Простите, это не я… Простите меня, индюк вы жирножопистый, я…

Ты назвал мою жопу жирной?

Нет!.. Да!..

Может, это брюки? Это покрой такой под самые…

Жирная жопа!

Жирная жопа?

Жирная жопа!

Слишком много о себе понимаешь!

Нет!.. Да!..

Вон из моего кабинета!

Нет!.. Да!..

Пила или не пила! — сказал врач и в бешенстве захлопнул папку с историей болезни Колкаря, и рванул из собственного кабинета, вбивая в пол каждый из своих пудовых шагов.

Врач и по совместительству организатор выездных банкетов оказался первой жертвой внезапных приступов Колкаревой злобы — единственного симптома, вызванного диском, который останется в его черепе строго перепендикулярно к горизонту до конца его жизни.

После того как Брод разобрала спинку у изголовья кровати и произвела на свет первого из трех своих сыновей, их супружеская жизнь вернулась в привычную колею, хотя изменения в характере Колкаря были налицо. Тот, кто раньше без устали массировал Брод ее до времени состарившиеся, отекавшие к ночи ноги, кто обрабатывал ожоги на ее коже молоком, если не было лучшего средства, кто каждый вечер пересчитывал ей пальцы на ногах, потому что ей это нравилось, теперь время от времени поносил ее почем зря. Началось все с ворчания по поводу непрогретости грудинки или неотполосканности воротника на сорочке. Брод на это не реагировала, даже находила забавным.

Брод, ты куда, блядь, мои носки подевала? Опять на место не положила.

Я знаю, — говорила она, внутренне улыбаясь тому, что вот ее и не ценят, вот ею и понукают. — *Ты прав. Больше это не повторится.*

Какого черта я никак не запомню название инструмента, который скручен, как бараний рог?

Это из-за меня. Я виновата.

Дальше — хуже. Грязность грязи служила поводом для разгневанной тирады. Из-за мокрости воды в ванной он мог орать на нее до тех пор, пока соседи не захлопывали ставни (стремление к тишине и спокойствию было единственным качеством, в одинаковой мере присущим всем жителям штетла). Не прошло и года после происшествия, как он стал давать волю рукам. «Но ведь это случается так редко», — уговаривала себя Брод. Раз или два в неделю. Не чаще. Зато когда «затмение» проходит, нет на свете более ласкового мужа. В периоды затмений он не был самим собой. В периоды затмений он становился другим Колкарем, порождением стального зубца, засевшего у него в мозгу. А она была влюблена, и это оправдывало существование.

Шлюха, стерва продажная! — орал, потрясая кулаками, другой Колкарь, а затем Колкарь разжимал ему кулаки и обвивал ее руками, как в первую ночь их встречи.

Страшилище, баба водяная! — с пощечиной наотмашь тыльной стороной ладони, после чего, нежно обнявшись, они тянули друг друга в спальню.

В разгар любовных утех он мог выматерить ее, или ударить, или сбросить с кровати на пол. Брод забиралась обратно, вновь седлала своего скакуна, и они пускались в карьер, будто и не было остановки. Ни он, ни она не знали, что выкинет Колкарь в следующую минуту.

Они посетили всех врачей в шести окрестных деревнях (Колкарь сломал нос молодому самонадеянному светиле в Луцке, который посоветовал им спать в разных постелях), и все сходились на том, что единственным средством укрощения вспыльчивого нрава будет удаление распилочного диска из головы, что неизбежно приведет к смерти.

Женщинам штетла приятно было видеть страдания Брод. Даже по прошествии шестнадцати лет она оставалась для них исчадьем того ужасного отверстия в стене, сквозь которое они так и не рассмотрели ее целиком, из-за которого они так и не удовлетворили свои материнские инстинкты, из-за которого они ее возненавидели. Поползли слухи, будто Колкарь бьет ее за то, что она холодна в постели (всего только двое детей после трех лет замужества!) и хозяйство вести совершенно не способна.

Я бы тоже ходила с подбитым глазом, если бы так задавалась!

Ты видела, на что похож их палисадник? Хуже свинарника!

Это еще раз доказывает: есть в мире справедливость!

За это Колкарь и ненавидел себя или другого себя. По ночам он мерил шагами спальню, громко доказывая что-то другому себе, надрывая связки, которыми они оба пользовались, нередко сдавливая руками горло, в котором эти связки помещались, или лупцуя лицо, не разбирая, кому оно в данный момент принадлежит. После череды ночных инцидентов, оставивших на теле Брод заметные следы, он решил (вопреки ее воле), что врач с переломанным носом был все-таки прав: им следует спать раздельно.

Я не буду.

Разговор окончен.

Тогда оставь меня. Лучше уж так, чем так. Или убей. Это еще лучше, чем оставаться без тебя.

Не сходи с ума, Брод. Я ведь только спать буду в другой комнате.

Но любовь — это и есть комната, — сказала она. — *Вот в чем все дело. Нам иначе нельзя.*

Нам иначе можно.

Нельзя.

На несколько месяцев это помогло. Днем они сумели наладить обычную семейную жизнь, лишь изредка омрачаемую приступами жестокости, а вечером расходились по разным спальням, чтобы раздеться и лечь каждому в свою постель. По утрам за кофе и булочками они разъясняли друг другу значения увиденных ночью снов или описывали позы, в которых коротали бессонницу. Они получили возможность познать то, что было упущено ими в суете супружеской жизни: застенчивость, непоспешность, постижение друг друга на расстоянии. У них состоялись седьмая, восьмая и девятая беседы. Колкарь старался сформулировать то, что хотел сказать, но все выходило неправильно. Брод была влюблена, и это оправдывало существование.

Его состояние ухудшилось. Теперь Брод могла рассчитывать на ежеутреннюю выволочку, которую Колкарь задавал ей перед уходом на работу (где, к немалому изумлению врачей, он был в состоянии обуздывать свои вспышки), и ежевечернюю перед ужином. Он колотил ее в кухне, в виду кастрюлей и сковородок, в гостиной, на глазах у двоих детей, в кладовой, перед зеркалом, в которое они оба смотрелись. Она никогда не уворачивалась от его кулаков, но открывалась им, шла

навстречу, уверенная, что ее синяки — свидетельство не лютой ярости, а лютой любви. Колкарь был замурован в собственном теле — как любовная записка в небьющейся бутыли, чьи чернильные строки никогда не поблекнут и не расплывутся в кляксу, но и не достигнут глаз адресата, — и той, с кем ему больше всего хотелось быть нежным, он причинял только боль.

Даже незадолго перед концом у Колкаря случались просветы, иногда продолжавшиеся по несколько дней.

У меня для тебя кое-что есть, — сказал он, увлекая Брод за руку через кухню в сад.

Что же это? — спросила она, даже не пытаясь отстраниться на безопасное расстояние. (Тогда понятия безопасного расстояния вообще не существовало. Все было либо слишком близко, либо слишком далеко.)

К твоему дню рождения. Подарок.

У меня день рождения?

У тебя день рождения.

Значит, мне семнадцать.

Восемнадцать.

Какой-нибудь сюрприз?

Так сюрприза не получится.

Ненавижу сюрпризы, — сказала она.

А мне они нравятся.

А кому подарок? Тебе или мне?

Подарок тебе, — сказал он. — *Сюрприз — мне.*

А что если я преподнесу тебе сюрприз и попрошу оставить подарок себе. Тогда сюрприз будет мне, а подарок — тебе.

Но ведь ты ненавидишь сюрпризы.

Я знаю. Так давай наконец подарок.

Он вручил ей небольшой сверток. Синий пергамент обертки стягивала бледно-голубая ленточка.

Что это? — спросила она.

Мы это только что обсудили, — сказал он. — *Мой сюрприз тебе в подарок. Разверни.*

Нет, — сказала она, указывая на обертку. — *Это.*

В каком смысле? Обычная обертка.

Она опустила сверток и начала плакать. Плачущей он никогда ее не

видел.

Что ты, Брод? Что? Это должно было тебя обрадовать.

Она кивнула. Плакать ей было внове.

Что, Брод? Что случилось?

Она не плакала пять лет, с того самого Дня Трахима, когда по пути от платформы домой она была остановлена сумасшедшим сквайром Софьевкой Н, который и превратил ее в женщину.

Я тебя не люблю, — сказала она.

Что?

Я тебя не люблю, — отталкивая его. — *Прости.*

Брод, — опуская руку ей на плечо.

Убери руки! — завопила она, отстраняясь. — *Не прикасайся ко мне! Я запрещаю тебе ко мне прикасаться!* Она отвернулась, и ее вырвало на траву.

Она побежала. Он погнался за ней. Она несколько раз обежала вокруг дома, мимо входной двери, извилистой дорожки, задних ворот, палисадника-хуже-свинарника, садика чуть поодаль и вновь мимо входной двери. Колкарь держался позади и хоть бегал куда быстрее, не догонял ее и не останавливался, чтобы встретить ее на очередном витке. Так они и бегали, круг за кругом: входная дверь, извилистая дорожка, палисадник-хуже-свинарника, садик чуть поодаль, входная дверь, извилистая дорожка, палисадник-хуже-свинарника, садик чуть поодаль. Наконец, в тот самый миг, когда день надел вечерний наряд, Брод рухнула в саду от усталости.

Сил больше нет, — сказала она.

Колкарь присел рядом. *А раньше ты меня любила?*

Она отвернулась. *Нет. Никогда.*

Я всегда тебя любил, — сообщил он.

Очень жаль.

Ты отвратительный человек.

Я знаю, — сказала она.

Тогда знай, что и я об этом знаю.

Знай, что я знаю.

Он провел по ее щеке тыльной стороной ладони, будто хотел промокнуть пот. *Думаешь, ты когда-нибудь смогла бы меня полюбить?*

Не думаю.

Потому что я недостаточно хорош.

Вовсе не поэтому.

Потому что я не сообразительный.

Нет.

Потому что ты до сих пор не смогла меня полюбить.

Потому что я до сих пор не смогла тебя полюбить.

Он вошел в дом.

Брод, моя пра-пра-пра-пра-пра-прабабушка, осталась в саду одна. Ветер вывернул листья наизнанку и пустил барашки по траве. Он подул ей в лицо, высушив пот, высвободив слезы. Она развернула сверток, который, как оказалось, все это время оставался у нее в руках. Голубая лента, синий пергамент, коробочка. Флакон духов. Он, должно быть, купил его в Луцке на прошлой неделе. Как трогательно. Она брызнула на запястье. Запах нежный. Неопределенный. *Что?* — мысленно спросила она себя, а затем повторила вслух: *Что?* Внезапно она перестала понимать, где находится, как раскрученный глобус, остановленный легким прикосновением пальца. Как получилось, что она оказалась здесь, сейчас? Как могло случиться, что столько всего разного — столько мгновений, столько людей и вещиц, столько бритвенных приборов и подушек, столько сработавшихся часовых механизмов и изящных гробов — прошли мимо, по касательной ее внимания? Как случилось, что ее жизнь прожилась без ее участия?

Она положила флакон обратно в коробку вместе с синей оберткой и голубой лентой и вошла в дом. В кухне Колкарь все перевернул вверх дном. Приправы были рассыпаны по полу. Погнутые столовые приборы на исцарапанных разделочных столах. Сорванные с крюков навесные шкафчики, грязь и битое стекло. Столько всего предстояло сделать — столько всего собрать и выкинуть; а собрав и выкинув, разобрать уцелевшее; а разобрав уцелевшее, прибраться; а прибравшись, пройтись влажной тряпкой; а пройдясь влажной тряпкой, смахнуть пыль; а смахнув пыль, сделать что-нибудь еще; а сделав что-нибудь еще, сделать еще что-нибудь. Столько мелких дел надо переделать. Сотни миллионов мелких дел. За что ни возьмись во вселенной, все выглядело мелким делом. Она расчистила место на полу, легла и попробовала мысленно составить список.

Уже почти стемнело, когда стрекот цикад разбудил ее. Она зажгла субботние свечи, оглядела тени, запрыгавшие у нее по рукам, закрыла глаза, прочла молитву и подошла к постели Колкаря. Лицо у него было

заплывшее, сплошь в синяках.

Брод, — сказал он, но она его остановила. Она принесла небольшой кубик льда из погреба и держала его под глазом Колкаря до тех пор, пока его лицо и ее рука не потеряли чувствительность.

Я люблю тебя, — сказала она. — *Правда.*

Нет, не любишь, — сказал он.

Нет, люблю, — сказала она, касаясь его волос.

Нет. Но это ничего. Я ведь знаю, что ты намного сообразительней меня, Брод, и что я недостаточно хорош для тебя. Япостоянно ждал, когда ты это поймешь. Каждый день. Я себя чувствовал, как при царе дегустатор, живущий в ожидании ночи, когда ужин окажется отравленным.

Прекрати, — сказала она. — *Это неправда. Я люблю тебя.*

Ты прекрати.

Но я люблю тебя.

Все хорошо. Я о'кей. Она коснулась вспученной черноты вокруг его левого глаза. Пух, выпущенный из подушки распилочным диском, налип на их мокрые от слез щеки. *Слушай,* — сказал он. — *Я скоро умру*.

Прекрати.

Мы оба это знаем.

Прекрати.

Какой смысл этого избегать.

Прекрати.

И я вот хочу спросить: смогла бы ты притвориться, смогли бы мы притвориться, что любим друг друга? Покуда я не умру?

Молчание.

Она вновь почувствовала то же, что и в ночь их первой встречи, когда всполох молнии, похожий на праздничную иллюминацию, осветил в окне фигуру Колкаря, когда ее руки вытянулись по бокам, и она поднялась ему навстречу.

Это мы можем, — сказала она.

Она вырезала маленькое отверстие в стене, чтобы он мог говорить с ней из соседней спальни, в которую себя заточил, и вставила в дверь окошко с откидной створкой для передачи еды. Так было на протяжении последнего года их замужества. Она придвинула свою кровать вплотную к стене, чтобы слышать страстные ругательства,

которые он бормочет, чтобы чувствовать, как ерзает в отверстии его вытянутый указательный палец, лишенный возможности как причинить боль, так и приласкать. Когда ей хватало смелости, она просовывала в отверстие свой палец (точно дразнила льва в клетке) и вверяла свою любовь сосновой перегородке.

Что ты делаешь? — прошептал он.

Говорю с тобой.

Он приложил к отверстию глаз. *Ты очень красивая.*

Спасибо, — сказала она. — *Можно мне посмотреть на тебя?*

Он отодвинулся от отверстия, чтобы она могла увидеть его хотя бы частично.

Снимешь рубашку? — спросила она.

Я стесняюсь. Он засмеялся и снял рубашку. *Можешь снять свою, а то мне неловко как-то стоять тут?*

Тогда тебе станет не так неловко? — засмеялась она. Но исполнила его просьбу и отступила от отверстия, чтобы он мог подойти и посмотреть на нее.

Снимешь носки? — спросила она. — *И брюки?*

А ты свои?

Я тоже стесняюсь, — сказала она, и хотя раньше они видели друг друга раздетыми сотни, а может, и тысячи раз, это было истинной правдой. Они никогда не смотрели друг на друга издалека. Им неведома была та высочайшая степень интимности, та близость, которая возможна только на расстоянии. Она подошла к отверстию и разглядывала его несколько безмолвных минут. Затем она отступила от отверстия. Теперь он подошел и разглядывал ее еще несколько безмолвных минут. В тишине они постигли еще одну степень близости — общение без помощи слов.

Снимешь трусы? — спросила она.

А ты свои?

Только если ты снимешь свои.

Снимешь?

Да.

Обещаешь?

Они сняли трусы и по очереди заглянули в отверстие, испытывая приступ внезапной, всеобъемлющей радости от постижения чужого тела и одновременно приступ жгучего отчаяния — от невозможности его

постичь.

Коснись себя так, будто это я тебя касаюсь, — сказала она.

Брод…

Пожалуйста.

Он так и сделал, хоть и смущался, хоть она и видела его сквозь отверстие в полный рост. И хотя ему ничего не было видно, кроме ее глаза — голубое мерцание в черной пустоте, — она сделала то же, что он: прибегла к помощи своих рук, чтобы вспомнить его руки. Она откинулась назад и стала ласкать отверстие в сосновой перегородке правым указательным пальцем, и стала кружить левым поверх самой великой из своих тайн, которая тоже была отверстием, тоже отрицательным пространством, — и какие вам еще доказательства?

Пообещай, что придешь ко мне, — сказала она.

Я обязуюсь.

Да?

Я обязуюсь.

Они предались любви через отверстие. Трое любовников прижимались один к другому, но всегда без взаимности. Колкарь целовал стену, и Брод целовала стену, но эгоистка-стена не возвратила им ни единого поцелуя. Колкарь упирался в стену ладонями, и Брод, повернувшаяся навстречу любви спиной, упиралась в стену ягодицами, но стена сохраняла полное безразличие, так и не уразумев, чем именно они так усердно занимались.

Отверстие стало частью их жизни. Пустота, которая его определяла, стала заполненностью, которая определила их. Жизнь была крошечным полым пространством, вырезанным из тверди вечности, и впервые стала бесценной — не как все другие слова, давно утратившие смысл, а как последний вдох утопающего.

Не имея возможности обследовать Колкаря вблизи, врач предложил считать его заболевание чахоткой — не более чем догадка, необходимая для заполнения соответствующей графы. Через отверстие в черной стене Брод наблюдала, как старел на глазах ее совсем еще молодой муж. Этот некогда могучий, как дуб, человек, озаренный иллюминацией молнии в ночь Янкелевой кончины, объяснивший ей суть ее первой менструации, поднимавшийся на заре и возвращавшийся на закате, чтобы она всем была обеспечена, не решавшийся тронуть ее пальцем, но слишком часто пускавший в ход кулаки, — этот человек

теперь выглядел восьмидесятилетним. У него поседели волосы вокруг ушей, и была лысина на макушке. Под сморщенной кожей до времени состарившихся рук проступили пульсирующие вены. Живот обвис. Грудь стала даже больше, чем грудь Брод, что говорит не столько о ее размере, сколько о том, как больно было ей на это смотреть.

Она убедила его во второй раз изменить имя. Быть может, это собьет с толку Ангела Смерти, когда Он слетит за Колкарем. (Хотя чему быть, тому не миновать.) Быть может, Он примет Колкаря за кого-то, кем он не был: ведь принимал же себя за другого сам Колкарь. Вот Брод и стала называть его Сафраном, взяв имя из строки, написанной некогда губной помадой на потолке отцовской спальни — всегда щемящее воспоминание. (Именно в честь этого Сафрана и был назван мой дедушка, коленопреклоненный жених.) Но это не сработало. Состояние Шалома-затем-Колкаря-теперь-Сафрана ухудшилось, дни шли у него за годы, а скорбь сделала его таким слабым, что у него даже не было сил провести запястьем по острию пилы и тем покончить с жизнью.

Вскоре после своего изгнания на крыши Дымки Ардишта осознали, что у них вот-вот кончатся спички, и нечем будет прикуривать их обожаемые сигареты. Они завели строгий учет мелом на стене самого длинного дымохода. Пятьсот. На следующий день — триста. На следующий — сто. Они установили квоту, палили каждую спичку до самых пальцев чиркающего, стараясь прикурить от нее, по крайней мере, сигарет тридцать. Когда спичек осталось не более двадцати, прикуривание сделалось ритуалом. На десятой женщины плакали. Девять. Восемь. Седьмую лидер клана случайно уронил с крыши и сам полетел вниз вслед за ней, не пережив позора. Шесть. Пять. Надвигалось неизбежное. Четвертую спичку задул ветерок — грубый недосмотр нового лидера клана, который тоже полетел вниз и разбился насмерть, хоть и не по своей воле. Три: *Без них нам конец.* Две: *Так больше продолжаться не может.* И тут, в миг глубочайшего отчаяния, в детскую, как ни странно, голову, пришла грандиозная мысль: просто нужно устроить так, чтобы кто-нибудь постоянно курил. Ведь сигарету можно прикурить и от другой сигареты. Пока дымится одна, всегда есть надежда на следующую. В кончике с мерцающим пеплом — семя неразрывности! Были разработаны графики дежурств: зоревая повинность, утренняя затяжка, обеденный перекур, полдневные и послеполуденные посты, сумеречная попытка, по ночное бдение. Небо

всегда озаряла хотя бы одна сигарета — свеча надежды.

Так было и с Брод, которая знала, что дни Колкарн сочтены, и потому начала скорбеть задолго до его кончины. Она одевалась в черные изорванные одежды и сидела у самой земли на деревянном табурете. Она даже читала нараспев Поминальный Каддиш, не заботясь о том, что Сафран может ее услышать. Осталось каких-нибудь несколько недель, думала она. Дней. Она не проронила ни слезинки, но выла и выла до спазмов рвоты. (Что никак не могло идти на пользу моему пра-пра-пра-пра-прадедушке, который был зачат через отверстие и успел набрать восемь месяцев веса у нее в животе.) И тогда, в один из моментов просветления, Шалом-затем-Колкарь-ныне-Сафран обратился к ней через стену: *Я, знаешь ли, все еще здесь. Ты обещала притворяться, что любишь меня, покуда я не умру, а вместо этого притворяешься, что я умер.*

Так и есть, — подумала Брод. — *Я нарушаю свое обещание.*

С той поры они нанизывали минуты, как жемчуг, на нитку часа. Оба не спали. Они стояли, как на часах, прижимаясь щеками к сосновой перегородке, передавая через отверстие записки подобно школьникам, обмениваясь пошлостями, воздушными поцелуямии, богохульными воплями и песенками.

Не надо слез,
Не надо слез,
Навеки я с тобой.
Ну, что ты, стерва,
Что ты, блядь,
Навеки я с тобой.
Слова пусты —
Я там, где ты,
Навеки я с тобой.
Глаза повыдавлю тебе
И башку раскрою на хуй,
Тварь ты моя ебучая.
Навеки я с тобой.

Их заключительные беседы (девяносто восьмая, девяносто девятая и сотая) состояли из взаимных клятв, которые Брод давала сонетами,

читая их вслух из одной из любимых книг Янкеля (на пол выкатился смятый клочок бумаги: *Иначе поступить не могла*), а Шалом-затем-Колкарь-ныне-Сафран — самыми непристойными ругательствами, которые значили совсем не то, что им полагалось, но их истинное значение только жена и могла расслышать: *Прости, что тебе досталась такая жизнь. Спасибо, что мы притворяемся вместе.*

Ты умираешь, — сказала Брод, потому что такова была правда, всепоглощающая, все еще не осознанная правда, а она устала произносить слова, которые правдой не были.

Умираю, — сказал он.

На что это похоже?

Не знаю, — через отверстие. — *Мне страшно.*

Тебе нечего бояться, — сказала она. — *Все будет о 'кей.*

Как это может быть о 'кей?

Боли не будет.

Я не думаю, что боль — это то, что меня пугает.

Что же тебя пугает?

Мне страшно не быть живым.

Тебе нечего бояться, — повторила она.

Молчание.

Он просунул в отверстие указательный палец.

Мне надо тебе что-то сказать, Брод.

Что?

Я хотел сказать это с того дня, как мы встретились, и надо было давным-давно, потому что, чем дольше я откладывал, тем это становилось труднее. Я не хочу, чтобы ты меня ненавидела.

Как я могу тебя ненавидеть, — сказала она, сжимая его палец.

Все это неправильно. Не так, как мне хотелось. Ты должна это знать.

Шш-ш… Шш-ш…

Я должен тебе гораздо больше, чем это.

Ты мне ничего не должен. Шш-ш…

Я плохой человек.

Ты хороший человек.

Мне надо тебе что-то сказать.

Ну и хорошо…

Он прижал губы к отверстию. *Янкель не был твоим отцом.*

Нить часа оборвалась. Минуты посыпались на пол, раскатились по дому, растерялись.

Я люблю тебя, — сказала она, и впервые в жизни в этих словах был смысл.

Спустя восемнадцать дней младенец (который был прижат ухом к изнанке материнского пупка и поэтому все слышал) появился на свет. Измученная родами, Брод наконец заснула. Через несколько минут, а возможно, что и в самый миг рождения (в доме все были настолько поглощены новой жизнью, что не заметили новой смерти), скончался, так и не увидев своего третьего сына, Шалом-затем-Колкарь-ныне-Сафран. Позднее Брод жалела, что не знает точного времени кончины своего мужа. Если он умер до рождения ребенка, она могла бы назвать малыша Шаломом, или Колкарем, или Сафраном. Но еврейский обычай запрещал называть новорожденного именем здравствующего родственника. Считалось, что это приносит несчастье. Поэтому она назвала его Янкелем, как и двух других своих сыновей.

Она вырезала из стены отверстие, отделявшее ее от Колкаря все последние месяцы, и получившуюся сосновую петлю нанизала на нитку рядом с костяшкой счетов — давним подарком Янкеля. Эта новая бусина будет напоминать ей о второй утрате за восемнадцать лет и об отверстии, которое, как она убеждалась, не исключение из жизни, а правило. Отверстие не пустота. Пустота существует только вокруг него.

Работники мельницы, сгоравшие от желания сделать Брод что-нибудь приятное, что-нибудь, что пробудило бы в ее сердце ответную любовь к ним, решили запечатлеть тело Колкаря в бронзе и направили петицию в совет управляющих с просьбой установить его статую на главной площади штетла как символ мощи и бдительности, который, благодаря абсолютной перпендикулярности распилочного диска к горизонту, мог также служить и для определения более не менее точного времени по солнцу.

Однако вместо мощи и бдительности Колкарь почти сразу стал символом всевластия удачи. Ведь овладеть золотым мешком в День Трахима ему помогла удача, и удача привела его к Брод в тот самый миг, когда Янкель ее покинул. Удача вогнала этот диск ему в голову, удача его там оставила, и удача устроила так, чтобы его уход совпал с рождением его ребенка.

Мужчины и женщины из далеких штетлов пускались в путь, чтобы

потереть его нос, который меньше чем за месяц вытерся до хряща, и его пришлось покрывать бронзой заново. К нему подносили младенцев (всегда ровно в полдень, когда он не отбрасывал тени) чтобы предохранить их от молний, сглаза и шальной перестрелки. Старики сообщали ему свои секреты, надеясь, что это его позабавит и он сжалится и дарует им пару лишних лет жизни. Незамужние женщины целовали его в губы, моля о любви, — столько поцелуев, что его губы стали вмятиной, стали негативами поцелуев, и их тоже пришлось покрывать бронзой заново. Столько просителей приходило потереть или поцеловать ту или иную его часть во исполнение своих разнообразных желаний, что все его тело ежемесячно приходилось покрывать бронзой заново. Это был вечно изменяющийся бог, разрушаемый и воссоздаваемый теми, кто в него верил, разрушаемый и воссоздаваемый их верой.

Его размеры понемногу менялись с каждым следующим слоем бронзы. Со временем, дюйм за дюймом, его вытянутые вдоль тела руки оказались поднятыми высоко над головой. Иссушенные болезнью предплечья вновь стали крепкими и мужественными. Лицо, многократно отполированное пятернями бесчисленных просителей и многократно воссозданное бесчисленными умельцами, больше не имело ничего общего с тем богом, которому поклонялись первые верующие. При каждой реставрации мастера воссоздавали лицо Времямера по лицам его потомков мужского пола — обратная наследственность. (Поэтому когда мой дедушка думал, что видит, как, взрослея, становится все больше похожим на своего пра-пра-прадедушку, он в действительности видел, как его пра-пра-прадедушка становился все больше похожим на него. Поражала лишь степень этого сходства.) Со временем паломники все меньше и меньше верили в придуманного ими бога, но все больше и больше в их собственную веру. Незамужние женщины по-прежнему целовали месиво Времямеровых губ, хотя верили уже не в бога, а в поцелуй: они самих себя целовали. И когда женихи преклоняли пред ним колени, важен был не бог, а поклон; не его бронзовые колени, а их собственные — сплошь в синяках.

Так и мой юный дедушка преклонил пред ним колени — неповторимое звено в единообразной цепи — без малого сто пятьдесят лет спустя после того, как его пра-пра-прабабушка Брод увидела в окне Колкаря, озаренного иллюминацией молнии. Движением своей левой,

послушной ему руки, он извлек носовой платок-трусики и промокнул пот со лба и над верхней губой.

Пра-пра-пра-прадедушка, — выдохнул он, — *сделай так, чтобы я не возненавидел того, кем я стал.*

Убедившись, что готов продолжать — свадебный обряд, этот день, свою жизнь, — он поднялся с колен и был вновь встречен радостными возгласами мужчин штетла.

Ура! Жених!

Йодл-дойдл!

За синагогу!

Они прошествовали по улицам, неся его на плечах. Из окон верхних этажей свисали длинные белые полотнища, и мощеная мостовая была усыпана — ах, если бы только они могли знать! — мукой. Впереди шествия продолжали звучать скрипки, на сей раз наигрывая заводные еврейские мелодии, и мужчины распевали в унисон:

Бидл-бидл-бидл-бидл

Бон

Бидл-боп…

Поскольку и дедушка, и его невеста были Падшими, обряд под хупой был необычайно коротким. Безобидный Раввин приступил к чтению семи благословений, и в надлежащий момент дедушка откинул вуаль с лица своей новоиспеченной жены (которая успела обольстительно ему подмигнуть, пока Раввин поворачивался к священному ковчегу) и бросил себе под ноги хрустальный бокал, который вообще-то был не хрустальным, а стеклянным, но все равно разлетелся вдребезги.

17 ноября 1997

Дорогой Джонатан,

Уфф. Я чувствую, как будто мне про столько много надо тебя проинформировать. Начатие очень емкотрудно, да? Я начну с менее емкотрудного дела, которое сочинение. Я не ощутил, умиротворила ли тебя последняя секция. Я не понимаю, куда она тебя задела? Я рад, что ты был добродушен к части, которую я изобрел, про то, как я приказываю тебе пить кофе до тех пор, пока не смогу увидеть свое лицо на дне чашки, и как ты сказал, что это глиняная чашка. Я думаю, что я очень смешной человек, хотя Игорек говорит, что я всего лишь выгляжу смешным. Другие мои изобретения тоже первосортны, да? Я спрашиваю, потому что в своем письме ты ничего о них не изрек. И да, я, конечно, пожираю пирог позора за секцию, которую изобрел про слово «добыть», и как ты не знал, что оно знаменует. Секция удалена, а вместе с ней и мое нахальство. Даже Альф[7] *временами не юмористичен. Я усилился сделать, чтобы ты выглядел менее обеспокоенным, как ты мне столько раз по разным поводам приказывал. Этого трудно достичь, потому что, по правде говоря, ты человек чрезмерно обеспокоенный. Возможно, тебе стоит быть на таблетках.*

Что же до твоего рассказа, то я тебе так скажу: сначала он сделал озадаченным человеком. Что это за новый Сафран, и Времямер, и кто из них женится? Первоначально я думал, что это была свадьба Брод и Колкаря, но когда я узнал, что это не их свадьба, я подумал: почему не продолжилась их история? Тебе будет радостно узнать, что я двинулся дальше, приостановив искушение отбросить твое сочинение в мусор, и все осветилось. Я очень рад, что ты возвратился к Брод и Колкарю, хотя я не рад, что он стал тем, кем стал по вине пилы (я не думаю, что подобные разновидности пил в то время существовали, но верю, что у твоего невежества благородная цель), хотя я рад, что они сумели открыть для себя одну из разновидностей любви, хотя я не рад, потому что в действительности это была нелюбовь, не так ли? Брак Брод и Колкаря многому может научить. Я не знаю, чему именно, но уверен, что это как-то связано с любовью. И еще: почему ты именуешь

его «Колкарь»? Это все равно, как если бы ты именовал его «украинец», что, по-моему, бессмысленно.

Если бы я мог изречь совет, пожалуйста, позволь Брод быть счастливой. Пожалуйста. Неужели эта такая уж невозможная вещь? Возможно, она все еще могла бы существовать и быть в близости с твоим дедушкой Сафраном. Или вот величавая идея: возможно, Брод могла бы быть Августиной? Ты понимаешь, что я знаменую? Тебе придется сильно видоизменить свой рассказ, и, конечно, она будет совсем состарившаяся, но как это было бы здорово в таком ключе?

Те вещи, которые ты написал в письме про свою бабушку, напомнили мне о том, как ты сообщил мне на крыльце Августины про когда ты сидел у нее под платьем и как это приносило тебе безопасность и покой. Должен признаться, что я уже тогда загрустил и по-прежнему грущу. Еще я был очень тронут (это подходит по контексту?) тем, что ты написал про как тяжело, должно быть, приходилось твоей бабушке быть мамой без мужа. Это удивительно, да, как твой дедушка столько много пережил лишь для того, чтобы умереть сразу после приезда в Америку? Как будто пережив столько, у него больше не было повода выживать. Когда ты, написал про раннюю смерть своего дедушки, это в каких-то смыслах помогло мне понять меланхолию, в которой пребывает мой Дедушка с тех пор, как умерла Бабушка, и не только потому, что они оба умерли от рака. Конечно, я не знаю твоей мамы, ноя знаю тебя и могу сообщить, что твой дедушка был бы очень-преочень горд тобой. Я надеюсь, что и я стану человеком, которым моя Бабушка тоже очень-преочень гордилась бы.

А теперь насчет информирования твоей бабушки о нашей поездке: ты несомненно должен это сделать, даже если это заставит ее плакать. По правде, это абнормально — свидетельствовать, как наши бабушки и дедушки плачут. Я уже сообщал тебе про когда я свидетельствовал, как плачет Дедушка, и я заклинаю себя сказать, что я жажду никогда больше не свидетельствовать, как он плачет. Если это знаменует, что я должен делать какие-то вещи, чтобы он не плакал, я буду их делать. Если это знаменует, что я не должен смотреть, когда он плачет, я не буду смотреть. Ты совсем не похож на меня в этом ключе. Я думаю, что тебе нужно увидеть, как твоя бабушка плачет, и если это требует сделать что-то, чтобы, она заплакала, ты должен это сделать, и если это означает смотреть на

нее, когда она плачет, ты должен смотреть.

Твоя бабушка найдет, в каком плане быть довольной тем, что ты сделал, когда поехал в Украину. Я уверен, что она простит тебя, если ты ее проинформируешь. Но если ты ее не проинформируешь, она никогда не сможет тебя простить. А ведь это то, что ты жаждешь, да? Чтобы она тебя простила? Не для того ли ты все и сделал? Одна часть твоего письма сделала меня особенно меланхоличным. Это была часть, когда ты сказал, что никого не знаешь, включая и себя. Я очень даже понимаю твои слова. Ты помнишь раздел, в котором я написал про то, как Дедушка сказал, что я похож на комбинацию Отца, Мамы, Брежнева и себя самого? Вот что мною вспомнилось, когда я прочел написанное тобой. (Нашими сочинениями мы напоминаем друг другу о разных вещах. Мы сочиняем один рассказ, да?) Теперь я должен тебя кое о чем проинформировать. Это вещь, о которой я никогда никого не информировал, и ты должен пообещать, что не проинформируешь об этом ни одну душу. Я никогда не предавался плотским утехам с девочками. Я знаю. Я знаю. Ты не можешь в это поверить, но все истории про моих подружек, которые об зывают меня Ночь Напролет, Бэби и Валюта, были неистинами, и неистинами неподобающими. Я думаю, что фабрикую эти неистины, потому что это помогает мне почувствовать себя человеком высшей пробы. Отец очень часто спрашивает меня про девочек, и с какими из них я предаюсь плотским утехам, и в каких аранжировках. Мы с ним любим посмеяться над этим, особенно поздно ночью, когда он полон водки. Я знаю, что он был бы очень разочарован, если б узнал, какой я на самом деле.

Но еще больше я фабрикую неистины для Игорька. Я жажду, чтобы он чувствовал, как будто у него есть крутой брат, и брат, чью жизнь он жаждал бы однажды повторить. Я хочу, чтобы Игорек мог похвалиться своим братом перед друзьями и хотеть, чтобы его лицезрели рядом с ним в общественных местах. Вот почему, я думаю, меня так услаждает писать для тебя. Это дает мне возможность быть не тем, кто я есть, а тем, кем я жажду быть в глазах Игорька. Я могу быть смешным, потому что у меня есть время поразмыслить над тем, как быть смешным, и я могу починить ошибки, когда их исполняю, и я могу быть в меланхолии, но в таком плане, который интересен, а не только меланхоличен. Писание дает нам вторые шансы. В тот первый вечер нашей поездки ты упомянул о том, что ты

думал, что, возможно, рожден быть писателем. Какая ужасная вещь, думаю я. Но должен тебе сказать, что не думаю, что ты доуразумел значение того, что сказал, когда ты это сказал. Ты делал предположения о том, как ты любишь писать и какая это интересная вещь воображать миры, которые не совсем такие, как наш, или миры, которые совсем такие, как наш. Я уверен, что ты и правда напишешь более много книг, чем я, но все-таки это я, а не ты, кто был рожден писателем.

Дедушка допрашивает меня о тебе каждый день. Он жаждет знать, простил ли ты его за вещи, которые он сообщил тебе про войну и про Гершеля. (Ты мог бы видоизменить это, Джонатан. Ради него, не ради меня. Твой роман сейчас склоняется на войну. Это еще возможно.) Он не плохой человек. Он хороший человек, которому выпало быть живым в плохое время. Ты помнишь, когда он это сказал? Он всегда в такой меланхолии, когда вспоминает свою жизнь. Я обнаруживаю его плачущим почти каждую ночь, но должен фальсифицировать, как будто нахожусь на покое. Игорек тоже обнаруживает его плачущим, и Отец обнаруживает, и хотя Отец никогда не смог бы меня об этом проинформировать, я уверен, что он сам всегда в меланхолии, когда видит своего отца плачущим.

Все есть так, как есть, потому что все было так, как было. Иногда я чувствую себя угодившим в ловушку, как если бы независимо от того, что я делаю, исход был бы уже предрешен. Я-то ладно, но есть вещи, которые я хочу для Игорька. Вокруг него так много насилия, и я подразумеваю не только то, которое случается с кулаками. Я не хочу, чтобы он продолжал испытывать насилие над собой, но еще я не хочу, чтобы однажды он начал испытывать насилие над другими.

Отец никогда не дома, потому что тогда ему пришлось бы свидетельствовать Дедушку плачущим. Это мое понятие. «Его живот», — сказал он мне на прошлой неделе, когда мы услышали Дедушку в телевизионной. «Его живот». Но я понимаю, что это не его живот, и Отец тоже понимает. (Вот почему я прощаю Отца. Я не люблю его. Я его ненавижу. Но я прощаю его за все.) Повторяю как попугай: Дедушка не плохой человек, Джонатан. Все исполняют плохие поступки. Я исполняю. Отец исполняет. Даже ты. Плохой человек — это тот, кто в них не раскаивается. Дедушка теперь умирает из-за своих. Я умоляю тебя простить нас и сделать нас лучше, чем мы есть.

Сделай нас хорошими.
Бесхитростно,
Александр

Впадая в любовь

«ЖОН-ФАН, — сказал я, — Жон-фан, пробудись! Посмотри, кто у меня!» — «А-а?» — «Посмотри», — сказал я и указал пальцем на Августину. «Как долго я спал? — спросил он. — Где мы?» — «В Трахимброде. Это Трахимброд!» Я был до того гордый. «Дедушка», — изрек я и двинул Дедушку с избытком насилия. «Что?» — «Посмотри, Дедушка! Посмотри, кого я нашел!» Он сдвинул руки с глаз. «Августина?» — спросил он, и было похоже, что он не уверен, окончился ли его сон. «Сэмми Дэвис Наимладшая! — сказал я, сотрясая ее. — Прибыли!» — «Кто эти люди?» — спросила Августина, упорствуя в рыданиях. Она осушала слезы платьем, что знаменовало подтягивание его вверх, отчего экспонировались ноги. Но она не стыдилась. «Августина?» — спросил герой. «Давайте сядем насестом, — сказал я, — и мы все проиллюминируем». Герой и сука удалили себя из автомобиля. Я не был уверен, выйдет ли Дедушка, но он вышел. «Вы голодные?» — спросила Августина. Герой, должно быть, начинал немного понимать по-украински, потому что положил руку на живот. Я двинул головой, чтобы сказать: «Да, некоторые из нас очень голодные люди». «Идем», — сказала Августина, и я зафиксировал, что она была вовсе не в меланхолии, а в радости без границ. Она взяла мою руку. «Идем в дом. Я устрою полдник, и мы поедим». Мы поднялись по дереву ступеней, на которых я впервые засвидетельствовал ее сидящей насестом, и вошли в дом. Сэмми Дэвис Наимладшая околачивалась снаружи, нюхая одежду на земле.

Сначала я должен описать, что у Августины была необычная походка, которая шла туда-сюда с тяжестью. Она не могла двигаться быстрее, чем очень медленно. Было похоже, что одна из ее ног никуда не годилась. (Если бы мы тогда предвидели, Джонатан, все равно бы вошли?) Во-вторых, я должен описать ее дом. Он не был схож ни с одним домом, который я когда-либо видел, и я не думаю, что стал бы обзывать его домом. Если хотите знать, как бы я его обозвал, то я бы его обозвал две комнаты. В одной из комнат была кровать, небольшой письменный стол, комод и множество вещей от пола до потолка, включая дополнительные стопки одежды и сотни пар обуви различных размеров и фасонов. Стены не было видно, так много на ней было

фотографий. Они выглядели так, как будто попали на нее из множества различных семей, хотя некоторые люди, я видел, встречались больше чем на одной или двух. Вся эта одежда, и обувь, и фотографии привели меня к умозаключению, что в этой комнате проживает не меньше ста человек. Вторая комната также была густонаселенной. В ней было множество коробок, которые переполнялись предметами. Белая ткань переполнялась из коробки, помеченной СВАДЬБЫ И ДРУГИЕ ТОРЖЕСТВА. Коробка с пометой ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ: ЖУРНАЛЫ/ ДНЕВНИКИ/БЛОКНОТЫ/НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ переполнялась так, что выглядела готовой к разрыву.

Была еще одна коробка с пометой СЕРЕБРО/ДУХИ/ВОЛЧКИ, и одна с пометой ЧАСЫ/ЗИМА, и одна с пометой ГИГИЕНА/КАТУШКИ/ СВЕЧИ, и одна с пометой СТАТУЭТКИ/ОЧКИ. Если бы я был сообразительным человеком, я бы записал все названия на листке бумаги, как это сделал герой в своем дневнике, но я не был сообразительным человеком и многое с тех пор позабыл. Некоторые из названий не поддавались умозаключению, вроде коробки с пометой ТЬМА или коробки СМЕРТЬ ПЕРВЕНЦА, написанной спереди карандашом. Я заметил, что на вершине одного из этих коробковых небоскребов помещалась коробка с пометой ПРАХ.

В этой комнате была миниатюрная плита, полка с овощами и картофелем и деревянный стол. За этим деревянным столом мы и расселись. Трудно было удалить стулья, потому что со всеми этими коробками места для них почти не было. «Позволь мне что-нибудь тебе приготовить», — сказала Августина, адресуя все свои слова и взгляды ко мне. «Пожалуйста, не делайте усилий», — сказал Дедушка. «Это ничего, — сказала она. — Но должна вам сказать, что у меня нет так много валюты, и по этой причине я не располагаю мясом». Дедушка посмотрел на меня и закрыл один из своих глаз. «Вы любите картошку с капустой?» — спросила она. «Это идеальная вещь», — сказал Дедушка. Он улыбался так много, и я не совру, если скажу, что я никогда не видел его так много улыбающимся с тех пор, как была жива Бабушка. Я увидел, что когда она развернулась, чтобы выудить капусту из деревянной коробки на полу, Дедушка организовал свой волос расческой из кармана.

«Скажи, что я так рад с ней познакомиться», — сказал герой. «Все мы так рады с вами познакомиться, — сказал я и по случайности двинул

локтем коробку НАВОЛОЧКИ. — Вам никогда не уразуметь, как долго мы вас искали». Она развела на плите огонь и стала варить еду. «Попроси ее рассказать нам все, — сказал герой. — Я хочу услышать, как она встретила дедушку и почему решила его спасти, и что стало с ее семьей, и разговаривала ли она с дедушкой хотя бы раз после войны. Узнай, — сказал он потихоньку, как будто она могла бы понять, — были ли они влюблены». — «Неспешность», — сказал я, потому что не хотел, чтобы Августина наложила в штаны. «Вы очень добры, — сказал ей Дедушка. — Пригласить нас в свой дом, готовить для нас еду. Вы очень добры». — «Вы добрее», — сказала она, а затем исполнила вещь, которая меня удивила. Она оглядела свое лицо в отражении окна над плитой, и я думаю, что она жаждала увидеть, как она выглядит. Это не более чем мое понятие, но я уверен, что правильное.

Мы наблюдали за ней так, будто весь мир с его будущим случился благодаря ей. Когда она резала на кусочки капусту, герой двигал головой туда и сюда вместе с ее ножом. Когда она перекладывала эти кусочки в кастрюлю, Дедушка улыбался и придерживал одну из своих рук другой. Что до меня, то я не мог отнять у нее своих глаз. У нее были тонкие пальцы и высокие кости. Волос, как я уже упоминал, был белый и длинный. Его концы двигались вдоль пола, прихватывая с собой пыль и грязь. Ее глаза были на такой глубине лица, что проэкзаменовать их было емкотрудно, но когда она на меня смотрела, я видел, что они были голубые и сияющие. Эти глаза и уверили меня, что она была, без всяких запросов, Августиной из изображения. Я был уверен, глядя в ее глаза, что она спасла дедушку героя, а возможно, и многих других. У себя в лобном месте я вообразил, как линия дней соединяет девочку из фотографии с женщиной, которая была с нами в комнате. Каждый день как новая фотография. Ее жизнь — альбом фотографий. На одной она с дедушкой героя, а на другой — с нами.

Когда еда приготовилась после многих минут кипения, она переместила ее на стол в тарелках — по одной для каждого из нас и ни одной для себя. Одна из картофелин спустилась к полу, ШЛЕП, отчего мы засмеялись по причинам, которые утонченный писатель не обязан иллюминировать. Но Августина не засмеялась. Она, должно быть, загорелась стыдом, потому что надолго спрятала свое лицо, прежде чем снова смогла лицезреть нас. «Вы о'кей?» — спросил Дедушка. Она не ответила. «Вы о'кей?» Вдруг она возвратилась к нам. «Ты, должно быть,

изнурен усталостью после всех своих путешествий», — сказала она. «Да», — сказал он и развернул голову, как от смущения, хотя я не знаю, что могло его смутить. «Я могла бы дойти до рынка и купить прохладных напитков, — сказала она. — Если вы любите колу или еще что-нибудь». — «Нет, — сказал Дедушка с неотложностью, как будто она могла оставить нас и никогда не вернуться. — В этом нет необходимости. Ты и так очень щедра. Пожалуйста, сядь». Он удалил от стола один из деревянных стульев и по случайности двинул коробку с пометой МЕНОРЫ/ЧЕРНИЛА/КЛЮЧИ. «Спасибо», — сказала она и приспустила голову. «Ты очень красивая», — сказал Дедушка, и я не ожидал от него, что он это скажет, и я не думаю, что он сам ожидал, что он это скажет. На мгновение воцарилось молчание. «Спасибо, — сказала она и отодвинула от него глаза. — Это ты очень щедр». — «Но ты действительно красивая», — сказал он. «Нет, — сказала она. — Нет, я некрасивая». — «Я думаю, что вы красивая», — сказал я, и хоть я и не ожидал, что это скажу, я не сетую, что сказал это. Она была красивой, как человек, которого тебе не суждено встретить, но которого ты всегда мечтаешь встретить, как человек, который слишком хорош для тебя. Я ощутил, что она также очень застенчива. Ей было емкотрудно лицезреть нас, и она хранила руки в карманах своего платья. Но я вам скажу, что когда она жаловала нас взглядом, он был не для всех, а только для меня.

«О чем вы говорите? — спросил герой. — Упоминала ли она моего дедушку?» — «Он не говорит по-украински?» — спросила она. «Нет», — сказал я. «Откуда он?» — «Из Америки». — «Это в Польше?» Я не мог поверить, что она не знает про Америку, но должен сказать, что это сделало ее еще более красивой для меня. «Нет, это далеко. Он прилетел на самолете». — «На чем?» — «На самолете, — сказал я. — В небе». Я подвигал в воздухе рукой, как самолетом, и по случайности слегка двинул коробку с надписью ПЛОМБЫ, написанной наискось. Я воспроизвел звук самолета губами. Это сделало ее огорченной. «Больше не надо», — сказала она. «Что?» — «Пожалуйста», — сказала она. «От войны?» — спросил Дедушка. Она ничего не сказала. «Он приехал увидеть вас, — сказал я. — Он приехал из Америки ради вас». — «Я думала, это ты, — сказала она мне. — Я думала, ты ради меня приехал». Это повергло меня в смех, и Дедушку тоже. «Нет, — сказал я. — Это он». Я положил свою руку на голову героя. «Вот кто странствовал по миру, чтобы вас найти». Это снова побудило ее заплакать, чего я не

хотел, но должен сказать, что это выглядело подобающе. «Ты приехал ради меня?» — спросила она героя. «Она хочет знать, ради нее ли ты приехал». — «Да, — сказал герой. — Скажи, что да». — «Да, — сказал я. — Это все ради вас». — «Почему?» — спросила она. «Почему?» — спросил я героя. «Потому что если бы не она, я бы не мог быть здесь, чтобы ее искать. Она сделала поиск возможным». — «Потому что вы его создали, — сказал я. — Укрыв его дедушку, вы позволили ему быть рожденным». Ее дыхание стало коротким. «Я бы хотел ей кое-что дать», — сказал герой. Он отрыл конверт из пидараски. «Скажи ей, что здесь деньги. Я знаю, что недостаточно. Достаточно быть не может. Это просто немного денег от моих родителей, чтобы облегчить ей жизнь. Отдай его ей». Я взял конверт под охрану. Его распирало. Там, должно быть, находилось много тысяч долларов. «Августина, — сказал Дедушка. — Ты бы возвратилась с нами? В Одессу?» Она не ответила. «Мы могли бы о тебе заботиться. У тебя здесь есть семья? Мы и семью могли бы взять к себе в дом. Это не жизнь, — сказал он, указывая пальцем на хаос. — Мы дадим тебе новую жизнь». Я сообщил герою, что сказал Дедушка. Я увидел, что на его глаза надвинулись слезы. «Августина, — сказал Дедушка, — мы можем тебя от всего этого спасти». Он снова указал пальцем на ее дом и указал пальцем на коробки: ВОЛОСЫ/КАРМАННЫЕ ЗЕРКАЛЬЦА, ПОЭЗИЯ/НОГТИ/ОВНЫ, ШАХМАТЫ/СУВЕНИРЫ/ЧЕРНАЯ МАГИЯ, ЗВЕЗДЫ/МУЗЫКАЛЬНЫЕ ШКАТУЛКИ, СОН/СОН/СОН, ЧУЛКИ/ЧАШИ ДЛЯ КАДДИША, ВОДА В КРОВЬ.

«Кто такая Августина?» — спросила она.

«Что?» — спросил я. «Кто такая Августина?» — «Августина?» — «Что она говорит?» — «Фотография, — сказал мне Дедушка. — Мы не знаем, что за надпись на обороте. Это может быть не ее имя». Я снова экспонировал ей фотографию. Это снова сделало ее плачущей. «Это ты, — сказал Дедушка, прикладывая палец к ее лицу внутри фотографии. — Вот. Ты эта девочка». Августина задвигала головой, чтобы сказать: нет, это не я, я не она. «Это очень состарившаяся фотография, — сказал мне Дедушка, — и она забыла». Но я уже взял под охрану сердца то, что Дедушка продолжал отторгать. Я возвратил валюту герою. «Ты знаешь этого человека», — сказал, а не осведомился, Дедушка и приложил палец к дедушке героя. «Да, — сказала она. — Это Сафран». — «Да, — сказал он, глядя на меня, потом глядя на нее. — Да.

А рядом с ним ты». — «Нет, — сказала она. — Остальных я не знаю. Они не из Трахимброда». — «Ты спасла его». — «Нет, — сказала она. — Не спасла». — «Августина?» — спросил он. «Нет», — сказала она и совершила выход из-за стола. — «Ты спасла его», — сказал он. Она положила руку себе на лицо. «Она не Августина», — сообщил я герою. «Что?» — «Она не Августина». — «Я не понимаю». — «Да», — сказал Дедушка. «Нет», — сказала она. «Она не Августина, — сообщил я герою. — Я думал, что это была она, но это не она». — «Августина», — сказал Дедушка, но она была уже в другой комнате. «Она застенчивая, — сказал Дедушка. — Мы ее очень удивили». — «Возможно, нам следует пуститься в путь», — сказал я. «Мы никуда не двигаемся. Мы должны ей помочь, чтобы она вспомнила. После войны многие так емкотрудятся забыть, что больше не могут помнить». — «Это не та ситуация», — сказал я. «Что вы говорите?» — спросил герой. «Дедушка думает, что она Августина», — сообщил я ему. «Хотя она говорит, что нет?» — «Да», — сказал я. — «Это неблагоразумно с его стороны».

Она возвратилась с коробкой из другой комнаты. Слово ОСТАНКИ было написано на ней. Она положила ее на стол и сместила крышку. Коробка полнилась множеством фотографий, и множеством бумажных обрывков, и множеством ленточек, и множеством лоскутков, и странными вещами, вроде гребешков, колец и цветов, которые тоже стали бумагой. Она удаляла предметы по одному и каждый из них экспонировала каждому из нас, хотя следует сказать, что мне по-прежнему казалось, будто все внимание она отдает только мне. «Это фотография Баруха перед старой библиотекой. Он там целыми днями просиживал, а ведь знаешь, даже читать не умел! Он говорил, что любит думать про книги, думать про них, не читая. Он всегда разгуливал с книгой под мышкой и на дом их брал из библиотеки чаще всех в штетле. Чепуха какая! А это, — сказала она и добыла из коробки другую фотографию, — это Йозеф и брат его Цви. Я с ними играла, когда они возвращались домой из школы. К Цви я всегда неравно дышала, но так и не сказала ему об этом. Собиралась сказать, но не собралась. Я была такая смешная девочка, всегда к кому-нибудь неравно дышала. Лея просто с ума сходила, когда я ей об этом рассказывала, она говорила: «Если по всем неравно дышать, никакого кислорода не хватит». Тут она засмеялась сама над собой, а потом

замолкла.

«Августина?» — спросил Дедушка, но она, должно быть, его не слышала, потому что не развернулась к нему, а только двинула руками сквозь вещи в коробке, как будто вещи были водой. Теперь она ни с кем не делила своих глаз, только со мной. Дедушка и герой больше для нее не существовали.

«А вот Ривкино обручальное кольцо, — сказала она и надела его себе на палец. — Она спрятала его в банке, которую положила в землю. Я это знала, потому что она мне об этом сообщила. Она сказала: «На всякий случай». Многие люди так сделали. Земля и сейчас полна кольцами, и деньгами, и фотографиями, и еврейскими штучками. Я смогла найти только некоторые, а земля-то ими полнится». Герой ни разу не спросил меня, что она говорит, и после никогда не спросил. Потому ли, что знал, о чем она говорит, или потому, что знал, что лучше не осведомляться, — я не уверен.

«Вот Гершель», — сказала она, поднося фотографию под свет окна. «Мы пойдем, — сказал Дедушка. — Скажи ему, что мы уходим». — «Не уходи», — сказала она. «Замолчи», — сообщил он ей, и, хоть она и не была Августиной, ему не следовало этого изрекать. «Извините, — сообщил я ей. — Пожалуйста, продолжайте». — «Он жил в штетле Колки, который был рядом с Трахимбродом. Гершель и Эли были лучшие друзья, и Эли пришлось застрелить Гершеля, потому что если бы он не застрелил, они бы его застрелили». — «Замолчи», — сказал он снова, только теперь еще и звезданул по столу. Но она не замолчала. «Эли это сделал не по своей воле». — «Ты все врешь». — «Он этого не хочет», — сообщил я ей, и я не мог ухватить, почему он делал то, что делал. «Дедушка…». — «Держи свои враки при себе», — сказал он. «Я этот рассказ сама слышала, — сказала она. — И я верю, что это правда». Я ощутил, что он вводит ее в слезы.

«Вот заколка, — сказала она, — которую Мириам держала в волосах, чтобы они не лезли в лицо. Она всегда была на бегу. Не могла усидеть на месте, ты знаешь, до того любила делать всякие вещи. Заколку я у нее под подушкой нашла. Это правда. Ты, конечно, захочешь узнать, почему заколка была под подушкой. В том-то и секрет, что она всю ночь ее в кулаке сжимала, чтобы не сосать большой палец. Никак она не могла от этой привычки отучиться, хотя ей уже двенадцать исполнилось! Она бы меня убила, если бы знала, что я про

ее палец сообщаю, но я вам скажу: если бы вы его освидетельствовали вблизи, если бы вы уделили ему внимание, вы бы увидели, что он всегда был красный. Ей всегда из-за него было стыдно». Она возвратила заколку назад в ОСТАНКИ и извлекла еще одну фотографию.

«Вот, ох, как сейчас помню, это Калман и Иззи, такие были шутники». Дедушка не лицезрел больше ничего, кроме Августины. «Видишь, как Калман держит Иззи за нос. Такой шутник! За день они совершали столько разных шуток, что Отец называл их Трахимбродскими клоунами. Он говорил, бывало: «Это такие клоуны, какими даже цирк не располагает». — «Вы из Трахимброда?» — спросил я. — «Она не из Трахимброда», — сказал Дедушка и развернулся от нее головой. «Из Трахимброда, — сказала она. — Только я и осталась». — «Что вы знаменуете?» — спросил я, потому что просто не знал. «Их всех убили, — сказала она, и здесь я приступил к переводу для героя того, о чем она говорила. — Кроме одного или двух, кому удалось спастись». — «Вы были счастливчиками», — сообщил я ей. «Мы были несчастливчиками», — сказала она. «Это неправда», — сказал Дедушка, хотя я не знаю, к какой части сказанного его слова относились. «Правда. Никогда нельзя оставаться последней». — «Тебе следовало умереть вместе со всеми», — сказал он. (Я никогда не позволю, чтобы это осталось в рассказе.)

«Спроси, знала ли она моего дедушку». — «Вы знали человека из фотографии? Он был дедушкой этого мальчика». Я вновь презентовал ей фотографию. «Конечно, — сказала она и истратила на меня еще один взгляд. — Его звали Сафран. Он был первым мальчиком, которого я поцеловала. Я теперь такая старая леди, что уже слишком старая, чтобы продолжать стесняться. Я поцеловала его, когда была совсем девочка, а он — совсем мальчик. Скажи ему», — сказала она и взяла мою руку в свою руку. «Скажи ему, что он был первым мальчиком, которого я поцеловала». — «Она говорит, что твой дедушка был первым мальчиком, которого она поцеловала». — «Мы были очень хорошие друзья. Он, знаешь, потерял на войне жену и двух малышей. Знает он это?» — «Двух малышей?» — спросил я. «Да», — сказала она. «Он знает», — сказал я. Она проинспектировала ОСТАНКИ, извлекая фотографии и раскладывая их на столе. «Как ты можешь?» — спросил ее Дедушка.

«Вот, — сказала она после долгого поиска. — Это наша с

Сафраном фотография». Я обозревал, как две небольшие реки устремляются вниз по лицу героя, и мне захотелось положить руки ему на лицо, чтобы служить ему кариатидой. «Это мы перед его домом, — сказала она. — Я этот день до того помню. Нас моя мама сфотографировала. Ей так нравился Сафран. Я думаю, она хотела, чтобы я вышла за него замуж, и даже Ребе сказала». — «Тогда бы вы стали его бабушкой», — сообщил я ей. Она засмеялась, и от этого мне стало хорошо. «Маме он так нравился, потому что он был очень вежливый мальчик, и очень застенчивый, и всегда говорил ей, что она прелестна, даже когда она не была прелестна». — «Как ее звали?» — спросил я, предпринимая попытку сострадания, но женщина развернула голову, чтобы сообщить мне: «Нет, никогда больше я не изреку ее имени». И тогда я вспомнил, что не знаю имени этой женщины. Я упорствовал думать о ней как об Августине, потому что, как Дедушка, не переставал желать, чтобы она была Августиной. «Я знаю, что у меня есть еще одна», — сказала она и снова расследовала ОСТАНКИ. Дедушка на нее не смотрел. «Да, — сказала она, извлекая еще одну желтую фотографию. — На этой Сафран и его жена перед их домом после того, как они поженились».

Каждую фотографию, которую она давала мне, я давал герою, и он с трудом удерживал ее в руках, производивших видимое дрожание. Было похоже, что одна его часть хотела все записывать в дневнике, каждое происходящее слово. А другая его часть отказывалась что-либо записывать. Он открывал и закрывал дневник, открывал и закрывал, и это выглядело так, будто он хочет вылететь у него из рук. «Скажи ему, что я была на их свадьбе. Скажи ему». — «Она была на свадьбе твоего дедушки и его первой жены», — сказал я. «Спроси, как это было», — сказал он. «Это было красиво, — сказала она. — Помню, мой брат держал один из шестов чуппы. День был весенний. Зоша была такая прелестная девочка». — «Было до того красиво», — сообщил я герою. «Было белое, и цветы, и много детей, и невеста в длинном платье. Зоша была красавица, и остальные мужчины стали ревнивыми людьми». — «Спроси, можем ли мы увидеть этот дом», — сказал герой, указывая пальцем на фотографию. «Вы могли бы экспонировать нам этот дом?» — спросил я. «Ничего нет, — сказала она. — Я ведь тебе уже сообщала. Ничего. Раньше отсюда до него было четыре километра расстояния, но теперь все, что существует от Трахимброда, находится здесь». — «Вы

говорите, отсюда — четыре километра?» — «Трахимброда больше нет. Пятьдесят лет как кончился». — «Отведи нас туда», — сказал Дедушка. «Не на что там смотреть. Только поле. Я могла бы экспонировать вам любое поле, и это было бы так же, как если бы я экспонировала вам Трахимброд». — «Мы приехали увидеть Трахимброд, — сказал Дедушка, — и ты отведешь нас в Трахимброд».

Она посмотрела на меня и положила свою руку мне на лицо. «Скажи ему, что я думаю об этом каждый день. Скажи ему». — «О чем думаете?» — спросил я. «Скажи ему». — «Она об этом думает каждый день», — сообщил я герою. «Я думаю про Трахимброд и про когда мы все были до того молодые. Мы по улицам нагишом бегали, можешь поверить? Мы были дети, да. Вот как это было. Скажи ему». — «Они по улицам нагишом бегали. Они были дети». — «Я так ясно Сафрана помню. Он меня поцеловал за синагогой, а за такую вещь, знаешь, нас могли и убить. До сих пор помню, что я почувствовала. Как будто взлетела. Скажи ему это». — «Она помнит, когда твой дедушка ее поцеловал. Она немного взлетела». — «Еще я помню РошАшану, когда мы отправлялись к реке и бросали в нее хлебные крошки, чтобы наши грехи от нас уплывали. Скажи ему». — «Она помнит реку, хлебные крошки и свои грехи». — «Брод?» — спросил герой. Она двинула головой, чтобы сказать: да, да. «Скажи ему, что в жару его дедушка, и я, и другие дети прыгали в Брод, а наши родители сидели со стороны воды, наблюдали и играли в карты. Скажи ему». Я сказал ему. «У каждого была своя семья, но и вместе мы все были как одна большая семья. Люди, бывало, дрались, да, но это такой пустяк».

Она отняла у меня свои руки и положила их себе на колени. «Мне так стыдно, — сказала она. — Чего только не пришлось сделать. Я не могла допустить, чтобы кто-нибудь увидел после мое лицо». — «Пусть тебе будет стыдно», — сказал Дедушка. «Не надо стыдиться», — сообщил я ей. «Спроси ее, как мой дедушка спасся». — «Ему бы хотелось знать, как его дедушка спасся». — «Она ничего не знает, — сказал Дедушка. — Она дура». — «Не заставляйте себя изрекать того, чего вам не хочется изрекать», — сообщил я ей, и она сказала: «Тогда я больше не изреку ни слова». — «Не заставляйте себя делать то, чего вам не хочется делать». — «Тогда я ничего больше не буду делать». — «Она обманщица», — сказал Дедушка, и я не мог понять, что побуждало его к такому поведению.

«Не мог бы ты оставить нас для уединения? — сказала мне Августина. — На несколько минут». — «Давай выйдем на улицу», — сообщил я Дедушке. «Нет, — сказала Августина. — С ним». — «С ним?» — спросил я. «Пожалуйста, оставь нас на несколько минут для уединения». Я посмотрел на Дедушку, чтобы получить от него сигнал, как быть, но увидел, что на его глаза надвинулись слезы и что он не может на меня посмотреть. Это и было мне сигналом. «Мы должны выйти на улицу», — сообщил я герою. «Почему?» — «Они будут изрекать вещи втайне». — «Какие вещи?» — «Нам нельзя здесь быть».

Мы вышли и закрыли за собой дверь. Мне страстно хотелось быть по другую сторону двери, по ту, на которой происходило изречение таких знаменательных вещей. Или мне страстно хотелось прижать к двери ухо, чтобы как минимум слышать. Но я знал, что моя сторона — со стороны улицы, вместе с героем. Одна моя часть это ненавидела, а другая моя часть была за это благодарна, потому что, когда что-нибудь услышишь, ты уже не можешь вернуться назад, в до того, как ты это услышал. «Мы можем поудалять для нее листья с кукурузы», — сказал я, и герой гармонизировал. Было приблизительно четыре часа пополудни, и температура приступила к снижению. Ветер издавал первые звуки ночи.

«Я не знаю, что делать», — сказал герой.

«И я не знаю».

После этого надолго настала засуха слов. Мы только удаляли кукурузные листья. Я не беспокоился о том, про что говорила Августина. Я жаждал услышать говорящим Дедушку. Почему он мог сказать важные вещи женщине, с которой раньше никогда не встречался, если он не мог сказать эти вещи мне? А может, он ей ничего не сказал. А может, он обманывал. Вот чего мне хотелось: чтобы он презентовал ей неистины. Она не заслуживала правды так, как я ее заслуживал. А может, мы оба ее заслуживали, и герой тоже. Все мы.

«О чем бы нам побеседовать?» — спросил я, потому что знал, что говорить было для нас элементарной вежливостью. «Я не знаю». — «Должно же быть что-то». — «Хочешь еще что-нибудь узнать про Америку?» — спросил он. «В данный момент ничего не приходит в голову». — «Ты знаешь про Таймс-сквер?» — «Да, — сказал я. — Таймс-сквер в Манхэттене, на 42-й улице и авеню Бродвей». — «Ты знаешь про людей, которые целыми днями сидят перед игральными

автоматами и просаживают в них все свои деньги?» — «Да, — сказал я. — Лас-Вегас, штат Невада. Я читал про это в статье». — «Как насчет небоскребов?» — «Конечно. Всемирный торговый центр. Эмпайр стейт билдинг. Башня Сирс». Не могу уразуметь почему, но я не был горд тем, что столько знал про Америку. Я этого стыдился. «Что еще?» — сказал он. «Расскажи мне лучше про свою бабушку», — сказал я. «Про бабушку?» — «О которой ты говорил в автомобиле. Про бабушку из Колков». — «Ты помнишь». — «Да». — «Что ты хочешь знать?» — «Сколько ей лет?» — «Столько же, сколько и твоему дедушке, я полагаю, но она выглядит намного старше». — «Как она выглядит?» — «Она маленькая. Называет себя креветкой, что смешно. Не знаю, какого цвета ее настоящие волосы, но красит она их желто-коричневым, вроде как волос этой кукурузы. У нее непарные глаза: один голубой, один зеленый. И ужасный варикоз вен». — «Что значит варикоз вен?» — «Вены в ее ногах, по которым течет кровь, они над уровнем кожи и выглядят жутковато». — «Да, — сказал я. — У Дедушки такие тоже есть, потому что когда он работал, ему приходилось весь день стоять, и это результат». — «У бабушки это из-за войны, потому что ей пришлось пройти через всю Европу, чтобы спастись. Для ее ног это было слишком». — «Она прошла через всю Европу?» — «Помнишь, я тебе говорил, что она ушла из Колков до нацистов?» — «Да, я помню». Он остановился на мгновение. Я снова решил всем рискнуть. «Расскажи мне про себя с ней».

«Что ты имеешь в виду, про меня с ней?» — «Я хочу только слушать». — «Не знаю, что сказать». — «Расскажи о том, когда ты был молод и как у тебя тогда с ней было?» Он сделал смех. «Когда я был молод?» — «Расскажи что угодно». — «Когда я был молод, — сказал он, — я любил сидеть у нее под платьем во время семейных обедов. Вот что я помню». — «Расскажи мне». — «Я про это очень давно не вспоминал». Я не изрек ничего, чтобы он продолжал. Временами это было особенно трудно из-за избытка молчания. Но я понял, что молчание было необходимо ему, чтобы говорить. «Я водил руками вверх-вниз по ее варикозным венам. Я не знаю ни почему, ни как это началось. Просто я так делал. Я был ребенок, а с ребенка какой спрос. Я это вспомнил, потому что упомянул о ее ногах». Я отказался изречь хотя бы одно слово. «Это все равно, что большой палец сосать. Я это делал, мне было приятно, вот и все». Молчи, Алекс. Ты не обязан

говорить. «Я на мир смотрел сквозь ее платья. Я все видел, а меня не видел никто. Как из крепости, из укрытия под одеялом. Я маленький был совсем. Года четыре. Пять. Не знаю». Своим молчанием я давал ему пространство для заполнения. «Я чувствовал себя в безопасности и в покое. Знаешь, по-настоящему в безопасности и по-настоящему в покое. Я это чувствовал». — «В безопасности и в покое от чего?» — «Я не знаю. В безопасности и в покое от опасности и беспокойства». — «Это славный рассказ». — «Правдивый. Я не выдумываю». — «Конечно. Я знаю, что ты достоверен». — «Нет, просто иногда мы выдумываем вещи, только чтобы не молчать. Но это было по-настоящему». — «Я знаю». — «Серьезно». — «Я тебе верю». Наступило молчание. Оно было таким тяжелым и долгим, что я был вынужден заговорить. «Когда ты перестал прятаться у нее под платьем?» — «Не знаю. Может, в пять лет, может, в шесть. Может, позже. Вырос, наверное, просто из этих дел. Видно, кто-нибудь мне сказал, что больше так делать не следует». — «Что еще ты помнишь?» — «Что ты имеешь в виду?» — «Про нее. Про себя и про нее». — «Почему тебе это так любопытно?» — «А почему ты этого так стыдишься?» — «Помню эти ее вены, помню запах моего тайного укрытия — так я о нем думал, как о тайне, — и еще помню, как бабушка однажды сказала мне, что я счастливчик, потому что я смешной». — «Ты очень смешной, Джонатан». — «Нет. Это последнее, чего бы мне хотелось». — «Почему? Быть смешным — великая вещь». — «Нет, не великая». — «Это почему?» — «Раньше я считал, что юмор — это единственный способ по достоинству оценить красоту и ужас мира, воспеть жизнь во всем ее многообразии. Ты понимаешь, что я имею в виду?» — «Да, конечно». — «А теперь я считаю, что все наоборот. Юмор — это способ укрыться от ужаса и красоты». — «Проинформируй меня еще про когда ты был молод, Джонатан». Он сделал новый смех. «Почему ты смеешься?» Он засмеялся снова. «Проинформируй меня». — «По пятницам, когда я был маленьким, я оставался ночевать в бабушкином доме. Не каждую пятницу, но часто. При встрече она отрывала меня от земли одним из своих чудесных пугающих объятий. На следующий день перед уходом я опять взмывал в небо на крыльях ее любви. Я смеюсь, потому что только много лет спустя догадался, что она меня таким образом взвешивала». — «Взвешивала?» — «Когда ей было столько, сколько нам сейчас, она питалась отходами, идя босиком через всю Европу. Ей

было важно — важнее, чем мое веселье, — чтобы после каждого прихода к ней я прибавлял в весе. Я думаю, она хотела иметь самого жирного внука в мире». — «Расскажи мне еще про эти пятницы. Расскажи мне про замеры, и юмор, и прятки под ее платьем». — «Я думаю, я отговорился». — «Ты должен говорить». Жалко тебе меня стало? Ты поэтому упорствуешь? «По вечерам, когда я оставался на ночь, мы с бабушкой выкрикивали слова с ее заднего крыльца. Вот что я помню. Мы выкрикивали самые длинные слова, какие только могли припомнить. Фантасмагория! — выкрикивал я». Он засмеялся. «Это слово я помню. Потом она выкрикивала какое-нибудь слово на идиш, которое я не понимал. Потом я выкрикивал: Допотопный!» Он выкрикнул это слово на всю улицу, что могло бы послужить причиной смущения, но только на улице никого не было. «А потом я смотрел, как вздуваются вены на ее шее, пока она выкрикивает новое слово на идиш. Наверное, мы оба были тайно влюблены в слова». — «И оба были тайно влюблены друг в друга». Он снова засмеялся. «Что за слова она выкрикивала?» — «Я не знаю. Никогда не знал их значения. Но они до сих пор у меня в ушах». Он выкрикнул какое-то слово на идиш на всю улицу. «Почему ты не спросил у нее, что означают эти слова?» — «Я боялся». — «Чего ты боялся?» — «Не знаю. Всего боялся. Я знал, что мне не следует спрашивать, и не спросил». — «Возможно, она жаждала, чтобы ты спросил». — «Нет». — «Возможно, ей нужно было, чтобы ты спросил, потому что без вопроса у нее не было повода тебе рассказать». — «Нет». — «Возможно, она кричала: Спроси же! Спроси меня, о чем я кричу!»

Мы чистили кукурузу. Молчание было горой.

«Ты помнишь весь этот бетон во Львове?» — спросил он.

«Да», — сказал я.

«Я тоже».

Молчание еще выросло. Мы исчерпали темы для разговоров, важные темы. Все казалось недостаточно важным.

«Что ты пишешь в дневнике?» — «Делаю заметки». — «О чем?» — «Для книги, над которой работаю. Детали, которые хочу запомнить». — «Про Трахимброд?» — «Точно». — «Это хорошая книга?» — «У меня пока одни отрывки. Несколько страниц я написал летом, перед поездкой, несколько — в самолете в Прагу, несколько — в поезде во Львов, несколько — вчера ночью». — «Прочти мне из них». — «Мне

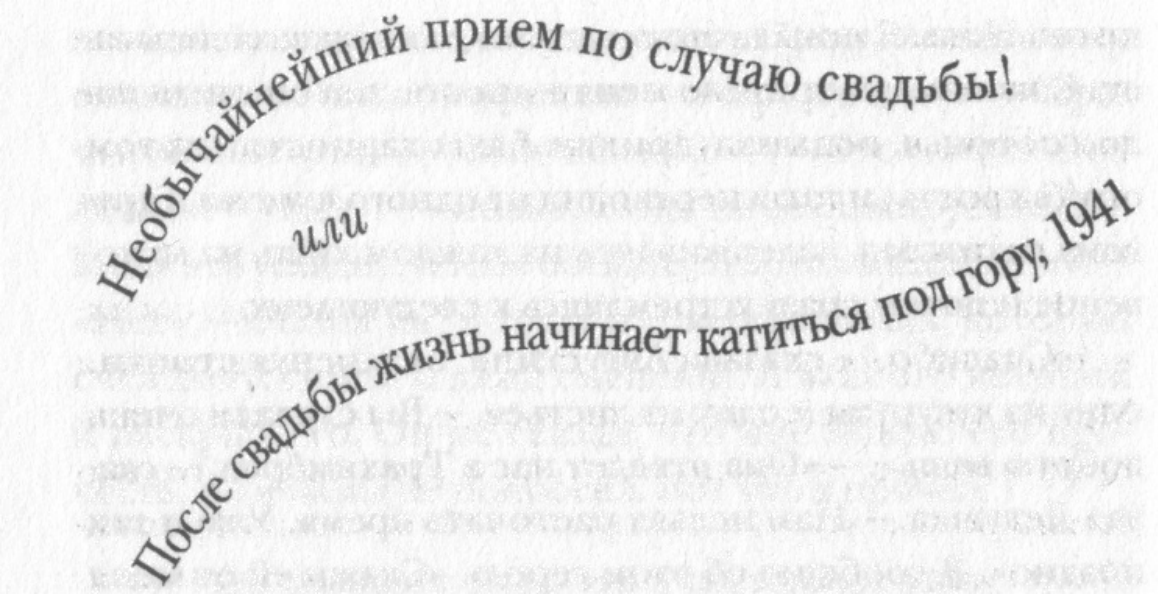
неловко». — «Это не так. Это ловко». — «Нет». — «Ловко, когда ты декламируешь мне. Меня это усладит, я тебе обещаю. Я легко восхищаем». — «Нет», — сказал он, и тогда я совершил вещь, которую счел допустимой и даже смешной. Я взял его дневник и раскрыл его. Он не сказал, что мне можно его прочесть, но и назад не попросил. Вот что я прочел:

> Он сообщил отцу, что в состоянии заботиться о Маме и Игорьке. Эти слова надо было сказать, чтобы они стали правдой. Наконец, он созрел. Его отец не мог поверить своим ушам. «Что? — спросил он. — Что?» И Саша вновь сообщил ему, что будет заботиться о семье, что поймет, если отцу придется уйти и никогда не вернуться, что от этого он не перестанет считать его отцом. Он сообщил отцу, что все ему простит. О, в какую ярость пришел отец, как рассвирепел, и он сообщил Саше, что убьет его, и Саша сообщил отцу, что убьет его, и они двинулись друг на друга с насилием, и отец сказал: «В лицо мне это скажи, а не в пол», и Саша сказал: «Ты мне не отец».

Когда Дедушка и Августина сошли из дома, мы закончили стопку кукурузы и оставили ее листья в стопке по другую сторону крыльца. Я успел прочесть несколько страниц из его дневника. Некоторые сцены были подобны этой. Некоторые были совсем другими. Некоторые произошли на заре истории, а некоторые еще не произошли. Я понял, что он делает, когда так записывает. Сначала это привело меня в ярость, потом опечалило, потом я испытал прилив благодарности, потом опять ярость, и так я переходил от одного чувства к другому сотни раз, задерживаясь на каждом лишь на мгновение и потом сразу устремляясь к следующему.

«Спасибо, — сказала Августина, экзаменуя стопки, одну из кукурузы и одну из листьев. — Вы сделали очень добрую вещь». — «Она отведет нас в Трахимброд, — сказал Дедушка. — Нам нельзя расточать время. Уже и так поздно». Я сообщил об этом герою. «Скажи ей от меня спасибо». — «Спасибо», — сказал я ей. А Дедушка сказал: «Она знает».

Необычайнейший прием по случаю свадьбы!
или
После свадьбы жизнь начинает катиться под гору, 1941



В ОПРЕДЕЛЕННОМ СМЫСЛЕ семья невесты начала подготавливать дом к свадебным торжествам задолго до появления Зоши на свет, но лишь после того, как мой дедушка неохотно сделал ей предложение (встав не на одно, а на оба колена), приготовления достигли своего апогея. Паркетные полы покрыли белой холстиной, столы составили в ряд, протянувшийся от родительской спальни до кухни, каждый — в оперении скрупулезно расставленных именных табличек, над размещением которых промучились несколько недель. (Авра не может сидеть рядом с Зошей, но должен быть недалеко от Йошки и Либби, если только для этого не придется сажать Либби рядом с Анцелем, или Анцеля рядом с Аврой, или Авру рядом с цветочным горшком, потому что у него ужасная аллергия, и это его убьет. И любой ценой сажайте Несгибанцев и Падших по разные стороны стола.) Для новых окон были куплены новые занавески не потому, что старые занавески на старых окнах нуждались в замене, а потому, что Зоша выходила замуж, а это требовало смены и занавесок, и окон. Новые зеркала были отдраены до блеска; державшие их рамы в стиле а-ля

антик припорошены а-ля пылью. Гордые родители Менахем и Това следили за тем, чтобы все — вплоть до самой последней мелочи — было из ряда вон.

На самом деле их дом состоял из двух домов, соединенных на уровне чердаков после того, как затеянная Менахемом рискованная авантюра с форелью стала приносить баснословную прибыль. Это был не только самый большой, но и самый неудобный дом в Трахимброде: иной раз, чтобы перейти в соседнюю комнату, надо было подняться и спуститься на три этажа, минуя двенадцать комнат. Каждая половина имела свое назначение: в одной были спальни, детская и библиотека, в другой — кухня, гостиная и кладовка. Два погреба — в одном размещались внушительные винные стеллажи, которые Менахем все обещал заполнить когда-нибудь внушительными винами, в другом Това уединялась для вышивания, — были разделены всего лишь кирпичной стеной, но на практике переход из одного в другой занимал четыре минуты.

Все в этом Сдвоенном Доме свидетельствовало о новообретенном богатстве его хозяев. Веранда была достроена только наполовину и выпирала сзади, как кусок разбитого стекла. Мраморные колонны праздных винтовых лестниц соединяли полы с потолками. Потолки нижних этажей были подняты, что сделало комнаты третьего этажа пригодными для жизни исключительно детей и карликов. В нужнике во дворе фарфоровые унитазы сменили кирпичные стульчаки без сидений, на которых справляли большую нужду все остальные жители штетла. Безупречный садик был перекопан и засыпан гравием, по краям которого высадили азалии, постриженные так коротко, что они никогда не цвели. Однако больше всего Менахем гордился строительными лесами — этим символом постоянных перемен, постоянного стремления к лучшему. По мере того как строительство продвигалось, он все сильнее любил их изменчивый остов из стропил и балок, любил его даже больше, чем сам дом, и в конечном итоге убедил упрямого архитектора вписать их в окончательный проект. Рабочие тоже были в него вписаны. То есть уже не сами рабочие, а местные актеры, которым платили за то, чтобы они одевались рабочими, разгуливали по настилам строительных лесов, вколачивали в безропотные стены бесполезные гвозди, выдирали эти гвозди, сверялись с чертежами. (Сами чертежи тоже были вписаны в чертежи, а в те чертежи были вписаны чертежи с

чертежами чертежей…) Перед Менахемом стояла вот какая проблема: денег у него было больше, чем вещей, которые он мог бы на них купить. Менахем нашел ей вот какое решение: вместо того чтобы покупать новые вещи, он продолжит покупать те, которыми уже обладает, подобно тому, как человек на необитаемом острове пересказывает, всякий раз приукрашивая, один и тот же уцелевший в памяти анекдот. Он мечтал, чтобы Сдвоенный Дом был подобен бесконечности, всегда лишь часть самого себя (намек на бездонность хозяйского кошелька), вечно приближаясь, но никогда не достигая завершения.

Грандиозно! Почти все грандиозно, Това!

Какой дом! И, кажется, ты, даже с лица спала, дорогая.

Божественно! Все должны просто лопаться от зависти.

Свадьба (прием по случаю свадьбы) была главным событием 1941 года, с таким количеством собравшихся, что если бы дом сгорел или провалился под землю, от еврейской части населения Трахимброда не осталось бы и следа. Формальному приглашению, разосланному ровно за неделю до назначенной даты, предшествовало неформальное, разосланное за несколько недель до торжественного события.

НЕ ЗАБУДЬТЕ:
СВАДЬБА ДОЧЕРИ
ТОВЫ
И МУЖА ЕЕ*
18 ИЮНЯ, 1941
ДОМ ВЫ ЗНАЕТЕ

*Менахема

И никто не забыл. Лишь несколько трахимбродцев, которых Това не сочла достойными приглашения, отсутствовали на приеме, а потому не оставили записи в книге для гостей, а потому оказались неучтенными этой, фактически последней перед уничтожением штетла переписью, а потому оказались навсегда забытыми.

Пока гости протискивались внутрь, не в силах совладать с восхищением перед стилизованной обшивкой стен, дедушка позволил

себе спуститься в погреб с винными стеллажами, чтобы сменить традиционный свадебный костюм на легкий бумажный пиджак, куда более уместный в такую липкую жару.

Полнейший восторг, Това. Смотри: я вся в восторге.

Ничего подобного никогда не было.

Одни чудные горшки с цветами должны стоить целое состояние. Апчхи!

Необычайнейше!

Вдали прогрохотали раскаты грома, и прежде чем успели закрыть новые окна или хотя бы задернуть новые занавески, стремительный и мощный порыв ветра пронесся через весь дом, подув на цветы в горшках, подняв на воздух именные таблички. Смятение. Взвизгнула кошка, закипела вода, старухи покрепче вцепились в плетеные шляпки, прикрывавшие их лысеющие головы. Но уже в следующее мгновение ветер стих, бережно опустив именные таблички на столы, но ни одну на прежнее место: Либби рядом с Керманом (который сказал, что его присутствие на приеме возможно лишь при условии, что между ним и этой пиздой с ушами будет не менее трех столов), Това — в торце самого последнего стола (на месте, закрепленном за торговцем рыбой, чьего имени никто не мог вспомнить и чье приглашение было просунуто ему под дверь в последнюю минуту из сострадания к его недавней утрате — кончине жены от рака), Раввин Несгибанцев рядом с прямодушной Падшей Шаной П (которую, несмотря на отвращение, он возбудил так же сильно, как она его), а мой дедушка, как кобель на суке, верхом на младшей сестре своей невесты).

Зоша и ее мать — красные от смущения, померкшие от печали свадебного несовершенства — бегали от стола к столу, тщетно пытаясь восстановить все, что так старательно организовывали, подбирая вилки и ножи, вытирая разлившееся по полу вино, сдвигая горшки с цветами обратно к центру, переставляя таблички, смешавшиеся, как карты выброшенной колоды.

Будем надеяться, что это неправда, — попробовал пошутить отец невесты, пока колоду заново перетасовывали, — *будто после свадьбы жизнь начинает катиться под гору.*

Когда дедушка вошел в погреб, младшая сестра его невесты стояла, прислонившись спиной к пустующим винным стеллажам.

Привет, Майя.

Привет, Сафран.

Вот, спустился пиджак сменить.

Зоша будет очень разочарована.

Почему?

Потому что ты для нее идеал. Так она мне сказала. День свадьбы — плохое время, чтобы самому изменяться или пиджаки менять.

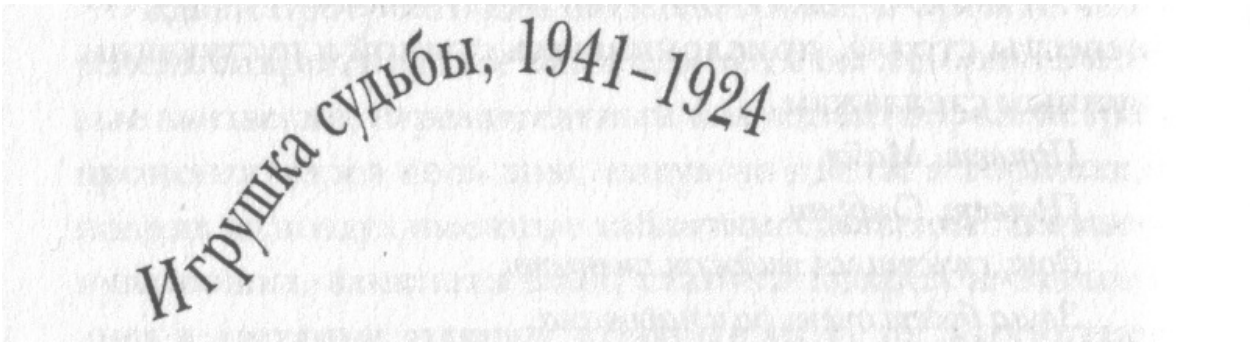
Даже на что-нибудь более удобное?

Кто сказал, что на свадьбе должно быть удобно?

Ах, сестричка, — сказал он, целуя ее в то место, где щека становилась губами, — *при такой красоте еще и остроумие.*

Она выдернула свои кружевные трусики из его нагрудного кармана. *Наконец-то,* — притягивая его к себе, — *еще немного — и меня бы просто разорвало.*

Игрушка судьбы, 1941—1924



ПОКА ОНИ ЗАНИМАЛИСЬ торопливой любовью под двенадцатифутовым потолком, который, казалось, грозил обрушиться от каблучного артобстрела (в уборочном раже никто даже и не заметил затянувшегося отсутствия жениха), дедушка раздумывал над тем, не был ли он игрушкой в руках судьбы. Разве все, что произошло с ним от момента первого поцелуя до момента этой первой супружеской измены, не было неизбежным следствием обстоятельств, на которые он не мог повлиять? И так ли уж он виноват, если выбора у него, в сущности, никогда не было? Мог ли он сейчас быть наверху, с Зошей? Разве это было возможно? И мог ли его член оказаться не там, где он в тот момент был, и не был, и был, и не был, и был, а в каком-либо ином месте? Мог ли он быть хорошим?

Его зубы. Вот первое, что я замечаю, рассматривая его младенческий портрет. Это не моя перхоть. Не высохший след асбеста или белой краски. В прорези тонких дедушкиных губ, точно косточки-альбиносы в сливовой мякоти багровых десен, полный набор зубов. Врач, наверное, пожал плечами, как делают все врачи, когда не могут найти объяснения медицинскому феномену, и утешил мою прабабушку болтовней о добрых знамениях. Но есть еще и семейный портрет, написанный три месяца спустя. На сей раз взгляните на ее губы, и вам станет ясно, что доводы врага ее не утешили: моя юная прабабушка хмурится.

Это из-за дедушкиных зубов, которыми так восхищался его отец, видевший в них свидетельство недюжей мужской потенции, соски его матери стали болеть и кровоточить, из-за чего ей пришлось спать на боку и постепенно прекратить кормление грудью. Это из-за его зубов,

изящных карликовых коренных и умилительных клычочков, прабабушка и прадедушка перестали заниматься любовью и остались родителями единственного ребенка. Это из-за его зубов дедушка был извлечен из материнской утробы до срока и не получил питательных веществ, в которых так нуждалось его неоперившееся тельце.

Его рука. Можно много раз пересмотреть фотографии, так и не найдя в них ничего необычного. Хотя одна вещь встречается слишком часто, чтобы ее можно было объяснить прихотью фотографа или простым совпадением. Дедушка никогда ничего не держит в правой руке: ни портфеля, ни бумаг, ни хотя бы свою левую руку. (И на единственном сделанном в Америке снимке — со дня приезда прошло две недели, до смерти осталось три — он держит мою маленькую маму левой рукой.) Дефицит кальция привел к тому, что его растущему телу пришлось проявить рачительность в распределении ресурсов, и правой руке выпал несчастливый жребий. Он беспомощно наблюдал, как этот красный набухший отросток, постепенно скукоживаясь, покидает его навсегда. К тому времени, когда в ней возникла особая нужда, рука ему не принадлежала.

Так что я полагаю, из-за зубов он остался без молока, а из-за недостатка молока потерял свою правую руку. Из-за потерянной руки он работал не на зловещей мельнице, а на сыромятне неподалеку от штетла, и из-за нее же избежал военного призыва, отправившего его одноклассников погибать в безнадежных боях против нацистов. Рука спасла его вновь, не позволив ему поплыть назад к Трахимброду на спасение своей единственной любви (она утонула в реке вместе со всеми остальными), и еще раз, не позволив ему утопиться. Рука спасла его снова, когда из-за нее дедушку полюбила и спасла Августина, и снова, годы спустя, когда он не попал на пароход *Новая Родословная*, державший курс к берегам Эллис Айленда, но отправленный назад по приказу американских иммиграционных чиновников, в результате чего все его пассажиры со временем сгинули в концентрационном лагере Треблинки.

И я уверен, что именно из-за своей руки — этой дряблой плети бесполезных мышц — он обладал способностью безнадежно влюблять в себя каждую встречную женщину, и переспал с более чем сорока жительницами Трахимброда, и с вдвое большим числом жительниц окрестных деревень, и сейчас торопливо, почти на бегу, занимался

любовью с младшей сестрой своей невесты.

Первой была вдова Роза В, жившая в одной из старых бревенчатых хибарок у самой Брод. Ей казалось, что чувство, которое пробудил в ней мальчик-инвалид, присланный к ней прихожанами Падшей синагоги для помощи по хозяйству, называется жалостью, и что хлеб с миндалем и стакан молока (от одного вида которого его чуть не стошнило) она тоже предложила ему из жалости, и что жалость побудила ее спросить, сколько ему лет, и сказать, сколько ей, хотя это было тайной даже для ее мужа. Это все жалость, думала она, слой за слоем стирая тушь с бровей, прежде чем показать ему ту единственную часть своего тела, которую вот уже шестьдесят с лишним лет никто, включая ее мужа, не видел. И жалость двигала ею (или так она думала), когда она повела его в спальню, чтобы показать любовные письма мужа, отправленные им с военного корабля в Черном море во время Первой мировой войны.

В это, — сказала она, беря его безжизненную руку, — *он вложил несколько ниток, которыми снял размеры со своего тела — с головы, бедра, предплечья, пальца, шеи, всего. Он хотел, чтобы я спала с этим под подушкой. Он сказал, что, когда вернется, мы все перемеряем заново и сравним в доказательство того, что он не изменился… О, я и это помню,* — сказала она, ковыряя пожелтевший листок, скользя ладонью (осознанно или бессознательно) вверх и вниз по мертвой дедушкиной руке. — *В нем он описывает дом, который собирался для нас построить. Он даже его нарисовал, хотя художник был никудышный. Рядом был бы небольшой пруд, даже, пожалуй, прудик, чтобы разводить рыбу. А над нашей постелью было бы окно, чтобы перед сном говорить о созвездиях… А здесь,* — сказала она, увлекая его руку под оборку своей юбки, — *письмо, в котором он клянется в любви до гробовой доски.*

Она потушила свет.

Так хорошо? — спросила она, руководя его мертвой рукой, откидываясь.

Проявив неожиданную для своих десяти лет сноровку, мой дедушка притянул вдову к себе и стащил с ее помощью ее черную блузку, до того пропахшую старостью, что он испугался и сам навсегда утратить запах юности, затем ее юбку и чулки (распираемые изнутри варикозными венами), затем трусы и ватную прокладку, к которой она прибегала с тех пор, как недержание сделалось нормой. Запахи,

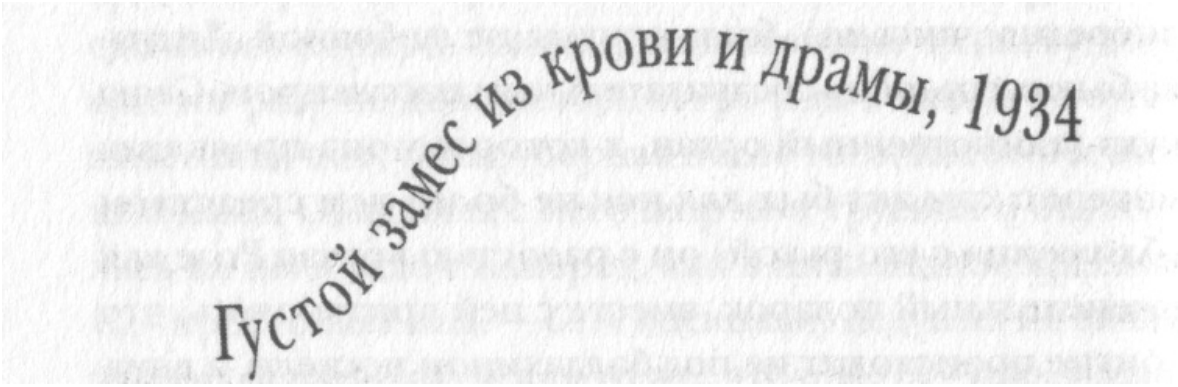
пропитавшие комнату, ему еще ни разу не доводилось встречать в таком сочетании: пыль, пот, ужин, уборная после того, как из нее вышла мама. Она сняла с него шорты и трусики и опустилась на него задом наперед, как в инвалидное кресло. *О,* — простонала она. — *О.* А поскольку дедушка не знал, что ему делать, он сделал то же, что она: *О,* — простонал он. — *О.* И когда она простонала *Пожалуйста,* он тоже простонал *Пожалуйста.* И когда она забилась в коротких стремительных судорогах, он тоже забился. И когда она затихла, затих и он.

Поскольку дедушке было только десять, в его способности заниматься любовью (или служить предметом для занятий любовью) по несколько часов кряду не было ничего необычного. Но, как он обнаружит позднее, такая редкая коитальная выносливость была следствием не предполовой зрелости, а еще одного физического изъяна, развившегося в результате недоедания: как повозка без тормозов, он никогда не останавливался на полпути. Эта странность дедушки доставила немало истинно счастливых минут всем 132 его любовницам, но сам он относился к ней с безразличием: в самом деле, как можно тосковать по тому, чего никогда не знал? К тому же он никогда не любил ни одну из своих любовниц. Он понимал, что чувство, которое к ним испытывает, не было любовью. (Только одна среди них что-то для него значила, но травма, полученная при родах, сделала их физическую близость невозможной.) Что же ему оставалось?

Его первая связь, продолжавшаяся каждое воскресенье на протяжении четырех лет (покуда вдова не осознала, что тридцать с лишним лет назад учила играть на пианино его мать, и не нашла в себе сил показать ему очередное письмо), была отнюдь не любовной. Дедушка был всего лишь сострадательным пассажиром. Свою руку (единственный орган, к которому она проявляла интерес; сам акт был для нее не более чем средством сближения с его рукой) он с радостью вручал Розе как еженедельный подарок, вместе с ней притворяясь, что соитие происходит не под балдахином постели, а внутри маяка на далеком ветреном мысу, и что их силуэты, засылаемые лучом мощного прожектора в черную даль моря, станут добрым знамением морякам и вернут ей мужа. Он не возражал, чтобы его мертвая рука исполняла функцию иного, отсутствующего органа, по которому вдова так мучительно тосковала, ради которого перечитывала пожелтевшие

письма и жила на выселках от себя, за границей собственной жизни. Ради которого занималась любовью с десятилетним мальчиком. Рука была всего лишь рукой, но именно о ней, а не о муже и даже не о себе подумала Роза семь лет спустя, 18 июня 1941 года, когда первые немецкие залпы до основания сотрясли ее бревенчатую хибарку, а глаза закатились вглубь головы, чтобы перед смертью увидеть внутренности.

Густой замес из крови и драмы,1934



НЕ ПОДОЗРЕВАЯ об истинной сути его визитов, прихожане Падшей Синагоги оплачивали дедушке еженедельные посещения Розы, а со временем решили платить ему за оказание подобных услуг и другим вдовам и хиреющим дамам вблизи Трахимброда. Его родители тоже ни о чем не догадывались, но облегченно вздыхали, видя, с каким рвением их сын совмещает заработок с уходом за пожилыми, что становилось для них все более личной проблемой по мере того, как они сами нисходили в бедность и раннюю старость.

Мы уж подумывали, нет ли в тебе цыганской крови, — сказал ему отец, но он только улыбнулся в ответ — как всегда на отцовские замечания.

Он хочет сказать, — сказала мама (мама, которую он обожал больше жизни), — *что мы радуемся, когда ты с пользой проводишь время.* Она поцеловала его в щеку и взъерошила волосы, чем огорчила отца, который считал, что Сафран давно вырос из этих нежностей.

Кто мое сокровище? — бывало, спрашивала она, когда отца не было рядом.

Я, — говорил Сафран, млея от вопроса, млея от ответа, млея от поцелуя, который всегда ответ сопровождал. — *Тебе за ним далеко ходить не надо.* Будто он и вправду боялся, что однажды она за ним куда-нибудь пойдет. И по этой причине — потому что он не хотел, чтобы она куда-либо от него уходила, — он никогда не говорил маме того, что, по его мнению, могло ее расстроить, или уронило бы его в ее глазах, или пробудило бы в ней ревность.

Из тех же соображений он никогда не рассказывал друзьям о своих

любовных похождениях, а очередной любовнице о ее предшественнице. Он так боялся разоблачения, что даже в своем дневнике — единственном дошедшем до меня письменном свидетельстве его жизни до встречи с бабушкой, после войны, в лагере для перемещенных лиц, — он ни разу о них не упоминает.

В день, когда Роза лишила его невинности: *Самый обычный день. Отец получил свежую партию бечевки из Ровно и наорал на меня, когда я отказался ему помочь. Мама, как обычно, вступилась, но он все равно наорал. Всю ночь думал о маяках. Странно.*

В день, когда впервые лишил невинности он: *Ходил сегодня в театр. В первом акте от скуки чуть не уснул. Выпил восемь чашечек кофе. Думал, разорвет. Не разорвало.*

В день, когда впервые он вошел в женщину со спины: *Долго раздумывал над мамиными словами о часовщиках. Доводы ее убедительны, но я все еще сомневаюсь. Слышал, как они с отцом орут друг на друга в спальне, из-за крика не мог заснуть. Зато когда заснул, спал как убитый.*

Не то чтобы его мучил стыд или угнетала мысль о неправильности его поступков, — он знал, что поступает правильно, правильнее, чем все, кто его окружает, — и еще он знал, что правильные поступки всегда сопровождаются чувством вины и что если чувствуешь себя виноватым, значит, скорее всего, поступаешь правильно. Но он также знал, что любовь не застрахована от инфляции, и что если мама, или Роз, или кто-либо из тех, кто его любит, друг о друге узнают, они волей-неволей почувствуют себя обесцененными. Он знал, что слова *я люблю тебя* означают также *я люблю тебя сильнее всех, кто когда-либо тебя любил или полюбит,* а также *я люблю тебя так, как никогда никого до этого не любил и не полюблю.* Он знал, что любить одновременно двоих невозможно по определению. (Алекс, отчасти в этом причина, по которой я не могу рассказать бабушке об Августине.)

Вторая тоже была вдовой. Ему все еще было десять, когда одноклассник пригласил его на спектакль в местный театр, который одновременно служил танцплощадкой, а дважды в год — синагогой. Его билет соответствовал креслу, которое уже успела занять Листа П, юная вдова первой жертвы Сдвоенного Дома. Она была миниатюрной, с кудряшками тонких каштановых волос, собранных в тугой хвостик. Ее розовая юбка поражала своей опрятностью и чистотой — такой

опрятностью и такой чистотой, будто она отстирывала и отглаживала ее десятки раз. Она была красива, это точно, красива своей пронзительной аккуратностью, очевидной даже в мелочах. И если предположить, что ее муж оставался бессмертным до той поры, покуда энергия его клеток растворялась в земле, питала и удобряла почву, помогая новой жизни расти, то продолжалась и ее любовь, рассеянная по тысячам ежедневных дел, которые надлежало сделать, — любовь до того грандиозная, что даже многократно поделенной ее хватало на то, чтобы пришивать пуговицы к рубашкам, которые некому было надеть, и собирать опавшие ветки у подножий деревьев, и по десять раз стирать и гладить юбки, не успевшие толком запачкаться.

По-моему… — начал он, показывая свой билет.

Но посмотри, — сказала Листа, показывая свой, где черным по белому значилось то же место. — *Оно мое.*

И мое.

Она принялась бормотать что-то об абсурдности театра, посредственности актеров, недалекости драматургов, идиотизма драмы как таковой и как ее совсем не удивляет, что эти остолопы не смогли справиться даже с тем, чтобы продать не больше, чем по одному билету на место. Тут она заметила его руку — и тирада оборвалась.

Одно из двух, — сказала она, внезапно зашмыгав носом. — *Или я сажусь к тебе на колени, или мы сейчас же отсюда уходим.* Как выяснилось, они сделали и то, и другое, только в обратном порядке.

Ты любишь кофе? — спросила она, порхая по своей непорочной кухне, переставляя вещи с места на места, не глядя на него.

Конечно.

Многие молодые люди к нему безразличны.

Я пью, — сказал он, хотя по правде кофе ни разу не пробовал.

Я скоро опять к маме перееду.

Зачем?

Мы собирались въехать сюда после свадьбы, но ты знаешь, что произошло.

Да. Мне очень жаль.

Так будешь пить? — спросила она, царапая ногтем полированную ручку шкафа.

Конечно. Но только если и ты будешь. Один не хочу.

Я буду. Если ты хочешь, — сказала она, беря в руку губку для

мытья посуды и тут же опуская ее.

Один не хочу.

Я буду.

Два года и шестьдесят восемь любовниц спустя Сафран осознал, что капельки крови, оставшиеся на простынях Листы, были слезами ее невинности. Он припомнил обстоятельства гибели того, кто должен был стать ее мужем: строительные леса оборвали его жизнь в день свадьбы, обрушившись в тот самый миг, когда он шел преклонить колени перед Времямером, сделав Листу вдовой скорее условно, прежде, чем они взошли на брачное ложе, прежде, чем она окропила его своею кровью.

Запахи женщин кружили дедушке голову. Он носил их на пальцах, как перстни, и на кончике языка, как слова — незнакомые сочетания знакомых ароматов. В плане запаха Листу он особенно запомнил: не потому что она была его единственной девственницей и не из-за мимолетности их связи, а потому, что кроме нее никто не заставлял его мыться.

Ходил сегодня в театр. В первом акте от скуки чуть не уснул. Выпил восемь чашечек кофе. Думал, разорвет. Не разорвало.

Третья вдовой не была, но повстречались они тоже в театре. Дедушка вновь пришел туда по приглашению приятеля, того самого, от которого бежал с Листой, и вновь ушел без него. На сей раз Сафран сидел между своим одноклассником и молодой цыганкой, в которой он узнал торговку с ярмарки, проходившей по воскресеньям в Луцке. Он не мог поверить ее отваге: явиться на общественное мероприятие штетла, рискуя быть замеченной и выпровоженной вон капельдинером Рубином Б (работавшим бесплатно, а потому с особенным рвением); не побояться быть единственной цыганкой среди евреев. Поступок свидетельствовал о наличии качеств, которых — он знал — ему недостает, и это его зацепило.

На первый взгляд ее длинная тугая коса, переброшенная через плечо и сползавшая по груди и животу к коленям, показалась дедушке дрессированной змеей, которую на воскресной ярмарке она заставляла под музыку переползать из одной высокой плетеной корзины в другую. Да и на второй взгляд она выглядела так же. Когда свет начал гаснуть, он взял свою мертвую руку левой рукой и уложил ее на подлокотник кресла между собой и Цыганочкой. Убедившись, что она это заметила, он не без удовольствия наблюдал за изменением конфигурации ее губ,

начавших с овала сострадания и закончивших эротической ухмылкой, и когда тяжелый занавес раздвинулся, Сафран уже не сомневался, что этой же ночью раздвинет складки ее легонькой юбки.

18 марта 1791 года, — эхом разнесся из-за сцены авторитетный голос, *— повозка Трахома Б одной из своих двух оглобель пригвоздила или не пригвоздила Трахима ко дну реки Брод. Юные двойняшки Ф первыми углядели останки повозкикрушения, всплывшие на поверхность…*

(Занавес открывается, являя простенькую декорацию: говорливый ручей сбегает из верхней левой кулисы в нижнюю правую, много деревьев и опавшей листвы, две девочки-двойняшки приблизительно лет шести, в шерстяных брючках с подвязками и в блузках с отложными воротничками, отороченными синей каймой.)

АВТОРИТЕТНЫЙ ГОЛОС

…три дырявых кармана, почтовые марки из далеких мест, набор булавок и игл, образцы темно-малиновой материи, первые и единственные слова последней воли и завета: «Любви своей я оставляю все».

ХАННА

(Оглушительный вопль.)

(Чана ступает в ледяную воду, подтянув брючины с шерстяными подвязками на концах выше колен, каждым шагом разгребая всплывающие остатки ТРАХИМОВОЙ *жизни.)*

ОПАЛЬНЫЙ РОСТОВЩИК ЯНКЕЛЬ Д

(Ковыляя в сторону девочек по чавкающей прибрежной тине.) Хотел бы я знать, что вы там делаете, бестолковые девчонки? Вода? Вода? Подумайте сами: на что там смотреть! Сплошная текучесть. Не лезьте! Не повторяйте моих ошибок. Жизнь — слишком высокая плата за недоумие.

БИТЦЛ БИТЦЛ Р

(Наблюдая за происходящим со своего ялика, который привязан бечевкой к одной из раскинутых им сетей.) И таки что там стряслось? Гадкий Янкель, отойди от дочерей нашего Раввина, девочек женского пола!

САФРАН

(На ухо Цыганочке, под покровом желтоватого света софитов.) Ты любишь музыку?

ЧАНА

(Смеясь, плескаясь промеж вещиц, расцветавших вокруг нее чудесным садом.) Как много здесь причудливых вещиц!

ЦЫГАНОЧКА

(Из тени, отбрасываемой плоскими деревьями, в самое ухо САФРАНА.*)* Что ты сказал?

САФРАН

(Движением плеча сталкивая свою мертвую руку с подлокотника на колени к ЦЫГАНОЧКЕ.*)* Хотел узнать, любишь ли ты музыку?

СОФЬЕВКА Н

(Появляясь из-за дерева.) Я все видел, все видел. Я могу засвидетельствовать.

ЦЫГАНОЧКА

(Стискивая мертвую руку САФРАНА *бедрами.)* Нет, музыку я не люблю. *(Хотя на самом деле она пыталась сказать вот что: Я люблю музыку больше всего на свете, но еще больше тебя.)*

ОПАЛЬНЫЙ РОСТОВЩИК ЯНКЕЛЬ Д

Трахим?

САФРАН

(С пылью, оседающей на подмостки, с губами, нащупывающими в темноте карамель уха ЦЫГАНОЧКИ.*)* У тебя на музыку, наверное, просто времени не остается. *(Хотя на самом деле он пытался сказать вот что: Ты меня за дурака-то не держи.)*

ШЛОИМ В

Хотел бы знать я, знать бы я хотел, что за Трахим? Смертный завиток?

(Драматург улыбается из дешевых кресел партера. Вслушивается в реакцию зала.)

ОПАЛЬНЫЙ РОСТОВЩИК ЯНКЕЛЬ Д

Пока вполне мы тайну эту не постигли. Не будемте спешить.

ГАЛЕРКА

(Невесть откуда донесшийся шепот.) Ну и вранье. Вовсе не так, как было на самом деле.

ЦЫГАНОЧКА

(Массируя мертвую руку САФРАНА *бедрами, гладя пальцем изгиб его бесчувственного локтя, пощипывая его.)* Ты не находишь, что здесь очень душно?

ШЛОИМ В

(Быстро скидывая с себя одежду, обнажая изрядных размеров живот и спину, густо поросшую зарослями вьющихся черных волос.) Пусть они не смотрят. *(Не ради них. Ради меня. Мне стыдно.)*

САФРАН

Просто дышать нечем.

СКОРБЯЩАЯ ШАНДА

*(*ШЛОИМУ, *появляющемуся из воды.)* Один он там или с женой, прожившей с ним бок о бок много лет? *(Хотя на самом деле она пыталась сказать вот что: Даже после всего происшедшего я не теряю надежды. Если не для себя, то для Трахима.)*

ЦЫГАНОЧКА

(Переплетая свои пальцы с мертвыми пальцами САФРАНА.*)* А уйти нельзя?

САФРАН

Пожалуйста.

СОФЬЕВКА Н

Да, это были любовные письма.

ЦЫГАНОЧКА

(Нетерпеливо, чувствуя влажность между ног.) Ну, идем же.

НЕСГИБАЕМЫЙ РАВВИН

И позволим жизни продолжать свое течение вопреки этой смерти.

САФРАН

Идем.

(Музыканты готовятся к коде. Четыре скрипки настроены. Арфа чувствует дыхание арфиста. Трубач, который вообще-то гобоист, похрустывает суставами. Молоточки рояля знают, что им предстоит. Дирижерская палочка, которая на самом деле ножик для масла, занесена как хирургический инструмент.)

ОПАЛЬНЫЙ РОСТОВЩИК ЯНКЕЛЬ Д

(С руками, вознесенными к небесам и к тем, кто управляет софитами.) Быть может, нам следует приступить к сбору останков.

САФРАН

Да.

(Вступает музыка. Божественная музыка. Сначала тихая. Шепчущая. Даже муха не зажужжит, завороженная. Только музыка. Звук незаметно набирает силу. Вырывается из могилы безмолвия.

Оркестровую яму затопляет пот. Предвкушение. Нежным трепетом вступают литавры. За ними — пикколо и альт. Назревает крещендо. Вслед за ним — выброс адреналина, хотя это уже далеко не первое представление. Все по-прежнему свежо. Музыка разрастается, расцветает.)

АВТОРИТЕТНЫЙ ГОЛОС

(Страстно.) Двойняшки зарывают лица в отцовский талес. *(*ЧАНА *и* ХАННА *зарывают лица в отцовский талес.)* Их отец возносит Богу долгую и многомудрую молитву о младенце и его родителях. *(*НЕСГИБАЕМЫЙ РАВВИН *смотрит себе в ладони, качает головой вверх-вниз, имитируя молитву.)* Лицо ЯНКЕЛЯ скрыто под вуалью слез. *(*ЯНКЕЛЬ *имитирует рыдания.)* На радость нам в мир явилось дитя!

(Затемнение. Занавес. ЦЫГАНОЧКА *раздвигает бедра. Аплодисменты сдобрены сдавленным шепотом. Участники готовят сцену для следующего эпизода. Музыка по-прежнему разрастается. Держа* САФРАНА *за мертвую руку,* ЦЫГАНОЧКА*уводит его за собой из театра по лабиринту непролазных троп, мимо кондитерских лотков у старого кладбища, промеж виноградных лоз, свисающих с облупленного синагогального портика, через главную площадь штетла (где их разделяет на мгновение предзакатная тень Времямера), вдоль широкого берега Брод, вниз по линии Еврейско/Общечеловеческого раскола, под раскачивающимися лапами папоротника, бесстрашно сквозь черные тени утеса, по деревянным мосткам…)*

ЦЫГАНОЧКА

Хочешь увидеть то, чего никогда в жизни не видел?

САФРАН

(С открытостью, ранее ему неведомой.) Хочу. Хочу.

(…меж кустов черники и ежевики, в окаменевший лес, который САФРАН *раньше никогда не видел.* ЦЫГАНОЧКА *вводит* САФРАНА *под гранитный балдахин гигантского клена, берет его мертвую руку в свои, отдаваясь вселенской тоске, навеваемой тенями каменных веток, шепчет что-то ему на ухо [чего никто, кроме дедушки, не удостаивался], направляет его мертвую руку в раструб своей легкой юбки, приговаривая)* Пожалуйста *(приседает),* пожалуйста *(впускает в себя его бесчувственный указательный палец),* да *(крещендо),* да *(кладет свою загорелую кисть на верхнюю пуговицу его сорочки, раскачивается в талии),* пожалуйста *(соло трубы, соло скрипки, соло*

литавр, соло цимбал), да *(жидкие сумерки заполняют пустоты ландшафта, ночное небо, как губка, разбухает тьмой, клонятся головы),* да *(закрываются глаза),* пожалуйста *(размыкаются губы),* да. *(Из рук дирижера выпадает его палочка, его ножик для масла, его скальпель, его указка для Торы, вселенная, тьма.)*

12 декабря 1997

Дорогой Джонатан,

Приветствия с Украины. Я только что получил твое письмо и прочитал его много раз, несмотря на части, которые прочитал вслух Игорьку. (Сказал ли я тебе, что он читает твой роман вместе со мной? Я для него перевожу, а также являюсь твоим редактором.) Не изреку ничего, кроме того, что мы оба предвкушаем останки. Это вещь, о которой мы можем думать и собеседовать. Это также вещь, над которой мы можем смеяться, в чем мы нуждаемся.

Есть так много всего, о чем я хочу тебя проинформировать, Джонатан, но не могу допроникнуть, как. Я хочу проинформировать тебя об Игорьке, и какой он брат высшей пробы, а также о Маме, которая очень и очень смиренная, как я часто тебе замечаю, но все равно хороший человек и все равно Моя Мама. Возможно, я не нарисовал ее красками, которыми ее следовало нарисовать. Она со мной добрая, она никогда не злая, и так ее и воспринимай. Я хочу проинформировать тебя о Дедушке, и как он лицезреет телевизор по много часов, и как больше не может свидетельствовать моих глаз, но проявляет внимательность к чему-нибудь за моей спиной. Я хочу проинформировать тебя об Отце, и как я не карикатурю, когда говорю тебе, что удалил бы его из своей жизни, если бы не был таким трусом. Я хочу проинформировать тебя о том, что значит быть мной, а это вещь, о которой ты по-прежнему без понятия. Возможно, прочитав следующий раздел моего повествования, ты уразумеешь. Это был самый трудный раздел из тех, что я уже написал, но, я уверен, далеко не самый трудный из тех, что еще предстоит. Я все перекладывал на полку повыше то, что, я знаю, сделать обязан, а именно — указать пальцем на Дедушку, указывающего пальцем на Гершеля. Ты, несомненно, это заметил.

Я вынес много знаменательных уроков из твоего сочинения, Джонатан. Один урок — это то, что неважно, бесхитростен ты, или деликатен, или скромен. Просто будь самим собой. Я не смог поверить, что твой дедушка был таким низким человеком: предаваться плотским утехам с сестрой своей да еще в день собственной свадьбы,

да еще в позе стоя, что является очень низкой аранжировкой по причинам, которые тебе следует знать. А потом он предается плотским утехам с престарелой женщиной, которая, очевидно, была очень слаба на передок, о чем я больше изрекать не стану. Как ты можешь обходиться так со своим дедушкой, описывать его жизнь в таком ключе? Разве ты написал бы такое, если бы он был жив? И если нет, что это знаменует?

Еще у меня есть дальнейший вопрос по твоему сочинению, который хочу обсудить. Почему женщины любят твоего дедушку за его мертвую руку? Они ее любят, потому что она дает им возможность почувствовать над ним силу? Они ее любят, потому что сострадают ей, а мы любим вещи, которым сострадаем? Они ее любят, потому что это знаменательный символ смерти? Я спрашиваю, потому что не знаю.

У меня есть только одно замечание о твоих замечаниях к моему сочинению. В отношении того, как ты распорядился, чтобы я удалил секцию, где ты рассказываешь про свою бабушку, я должен сказать, что это невозможно. Я соглашусь, если из-за моего решения ты прекратишь презентовать мне валюту или если прикажешь отпочтовать обратно ту валюту, которую дал мне в предыдущие месяцы. Должен тебя проинформировать — оно того стоит.

Мы так кочуем вокруг правды, да? Оба из нас? Ты думаешь, это допустимо, когда мы пишем о вещах, которые произошли? Если ты отвечаешь нет, тогда почему ты пишешь про Трахимброд и про своего дедушку так, как ты пишешь, и почему ты приказываешь мне писать неправду? Если ты отвечаешь да, то это рождает другой вопрос, а именно, если мы так кочуем вокруг правды, почему мы не делаем наш рассказ высокопробнее жизни? Мне кажется, что мы его делаем даже низкопробнее. Мы часто выставляем себя как глупых людей, а нашу поездку, которая была благородной поездкой, выставляем, как обычную и второсортную. Мы могли дать твоему дедушке две руки и сделать его высокопреданным. Мы могли дать Брод то, что она заслуживает, в замещение того, что она получает. Мы и Августину могли отыскать, Джонатан, и ты мог ее поблагодарить, и мы с Дедушкой могли обняться, и это могло быть идеально, и красиво, и смешно, и, как ты говоришь, благотворно печально. Мы и твою бабушку могли вписать в твой рассказ. Ты ведь этого жаждешь, да? Что наводит меня на

мысль, что, возможно, мы могли вписать в этот рассказ и Дедушку. Возможно (и я это только изрекаю), мы могли сделать так, чтобы он спас твоего дедушку. Он мог быть Августиной. Или Августом. Или просто Алексом, если бы тебя это удовлетворило. Я не думаю, что есть пределы тому, какой великолепной мы могли бы заставить казаться жизнь.

Бесхитростно,

Александр

Что мы увидели, когда увидели Трахимброд, *или* Впадая в любовь

«НИКОГДА ВНУТРИ этого не бывала», — сказала женщина, которую мы продолжали считать Августиной, хотя и знали, что она не Августина. Это заставило Дедушку объемисто засмеяться. «Что тут смешного?» — спросил герой. «Она никогда не бывала в автомобиле». — «Серьезно?» — «Это совсем не страшно», — сказал Дедушка. Он открыл для нее переднюю дверь автомобиля и подвигал по сиденью рукой, чтобы продемонстрировать отсутствие злого умысла. Освободить для нее переднее сиденье показалось мне элементарной вежливостью не потому, что она была глубокой старухой, пережившей много ужасных вещей, а потому, что это был ее первый раз в автомобиле, а я думаю, что сидеть на переднем сиденье клевее. Позднее герой сообщил мне, что в Америке это называется сидеть на стреме.[8] Августина села на стреме. «Ты ведь не будешь путешествовать слишком быстро?» — спросила она. «Нет», — сказал Дедушка, устраивая свой живот под рулем. «Скажи ей, что автомобили очень безопасны, и ей не следует бояться». — «Автомобили — это безопасная вещь, — проинформировал ее я. — Некоторые даже оснащены воздушными подушками и зонами смятия, но этот не оснащен». Я думаю, что она не была в расцвете готовности услышать звук *врммммм*, сфабрикованный автомобилем, потому что объемисто закричала. Дедушка успокоил автомобиль. «Я не могу», — сказала она.

Что же мы сделали? Мы поехали на автомобиле следом за Августиной, которая пошла пешком. (Сэмми Дэвис Наимладшая пошла вместе с ней, чтобы составить ей компанию и чтобы нам не пришлось нюхать сучий пердеж в автомобиле.) Отсюда всего один километр расстояния, сказала Августина, так что она могла идти пешком, и мы все равно успевали доехать, прежде чем станет слишком темно, чтобы что-нибудь увидеть. Должен сказать, это выглядело очень странно — ехать следом за человеком, который шел пешком, особенно когда человек, который шел пешком, был Августиной. Она была в состоянии пройти всего несколько десятков метров, прежде чем утомлялась усталостью и совершала привал. Когда она приваливалась, Дедушка

глушил автомобиль, и она садилась на стреме, а потом снова пускалась в путь своим странным макаром.

«У тебя есть дети?» — спросила она Дедушку, пока переводила дух. «Конечно», — сказал он. «Я его внук», — сказал я сзади, отчего почувствовал себя до того гордым человеком, потому что, кажется, впервые произносил это вслух, и я ощутил, что Дедушку это тоже сделало гордым человеком. Августина очень улыбнулась. «Я этого не знала». — «У меня двое сыновей и дочь, — сказал Дедушка. — Саша — сын моего самого состарившегося сына». — «Саша», — сказала она, будто желала услышать, как зазвучит мое имя, когда она сама его изречет. «А у тебя есть дети?» — спросила она меня. Я засмеялся, потому что подумал, что это странный вопрос. «Он еще молодой», — сказал Дедушка и положил руку мне на плечо. Это было очень трогательно — почувствовать его прикосновение и вспомнить, что руки тоже могут быть средством любви. «О чем вы говорите?» — спросил герой. «У него есть дети?» — «Она хочет знать, есть ли у тебя дети», — сообщил я герою, и я знал, что это его насмешит. Но это его не насмешило. «Мне двадцать», — сказал он. «Нет, — сообщил я ей. — В Америке иметь детей необщепринято». Я засмеялся, потому что знал, что звучу по-дурацки. «У него есть родители?» — спросила она. «Конечно, — сказал я. — Только его мама работает профессионалом, и готовить ужин для его папы — в порядке вещей». — «Мир постоянно меняется», — сказала она. «У вас есть дети?» — спросил я. Дедушка презентовал мне выражение лица, которое означало: заткнись! «Тебе не обязательно отвечать, — сообщил он ей. — Если ты этого не жаждешь». — «У меня есть моя малышка», — сказала Августина, и я знал, что это был конец собеседованию.

Во время ходьбы Августина не исключительно шла. Она поднимала камни и передвигала их к обочине. Если она свидетельствовала мусорную вещь, она ее тоже поднимала и передвигала к обочине. Когда на дороге ничего не было, она бросала камень на несколько метров перед собой и потом подбирала его, потом снова бросала перед собой. Это поглотило большое количество времени, и мы никогда не двигались быстрее, чем очень медленно. Я ощутил, что это раздражает Дедушку, потому что он усиленно сжимал руль и еще потому, что он сказал: «Это меня раздражает. Будет темно, когда мы туда приедем».

«Мы близко, — много раз говорила Августина. — Скоро. Скоро». Мы преследовали ее вдоль дороги и через поле. «А через поле можно?» — спросил Дедушка. «Кто нам воспрепятствует?» — сказала она и с помощью пальца продемонстрировала, что никого не существует вокруг на многие километры. «Она говорит, что никто нам не воспрепятствует», — сообщил я герою. Он повесил на шею фотоаппарат и находился в предвкушении множества фотографий. «Ничего не растет здесь больше, — сказала она. — Это даже никому не принадлежит. Просто земля. Кто ее захочет?» Сэмми Дэвис Наимладшая сгалопировала на автомобильный капот и уселась в позе эмблемы мерседеса.

Мы упорствовали в преследовании Августины, а она упорствовала в бросании перед собой камня, а также в его поднятии. Мы преследовали ее и преследовали. Подобно Дедушке, я тоже становился раздраженным или, по крайней мере, сбитым с толку. «Мы здесь раньше были, — сказал я. — Мы уже свидетельствовали это место». — «Что происходит? — спросил с заднего сиденья герой. — Прошел уже час, а мы так никуда и не приехали». — «Ты думаешь, что мы скоро приедем?» — спросил Дедушка, пододвигая автомобиль на ее уровень. «Скоро, — сказала она. — Скоро». — «Но ведь будет темно, да?» — «Я быстрее двигаться не могу».

И мы снова упорствовали в ее преследовании. Мы преследовали ее через много полей и сквозь много лесов, что было емкотрудно для автомобиля. Мы преследовали ее по каменистым дорогам, а также по грязи, а также по траве. О себе начали напоминать насекомые, и так я узнал, что мы не увидим Трахимброд до наступления ночи. Мы преследовали ее мимо трех крылечек, которые были разбиты и выглядели, как подступы к существовавшим когда-то домам. Перед каждым она дотронулась рукой до травы. Стало еще более темно — темнее? — а мы все двигались по ее следам, а также там, где ее следы терялись. «Ее почти невозможно свидетельствовать», — изрек Дедушка, и хоть он и слепой, я должен признать, что ее действительно невозможно было свидетельствовать. Было так темно, что иногда мне приходилось скашивать глаза, чтобы лицезреть ее белое платье. Как будто она была призраком, возникавшим и пропадавшим из наших глаз. «Куда она ушла?» — спросил герой. «Она все еще там, — сказал я. — Смотри». Мы миновали мини-океан — озеро? — и очутились в

маленьком поле, у которого с трех сторон были деревья, а с четвертой продолжалась пустота, и плеск далекой воды доносился оттуда. Было уже слишком темно, чтобы что-либо свидетельствовать.

Мы преследовали Августину до места посреди поля, где она остановилась. «Выходи, — сказал Дедушка. — Еще один привал». Я передвинулся на заднее сиденье, чтобы Августина могла сидеть на стреме. «Что происходит?» — спросил герой. «У нее привал». — «Еще один?» — «Она очень состарившаяся женщина». — «Ты устала? — спросил ее Дедушка. — Ты много прошла». — «Нет, — сказала она. — Мы пришли». — «Она говорит, что мы пришли», — сообщил я герою. «Что?» — «Я вас проинформировала, что здесь ничего не будет, — сказала она. — Все уничтожили». — «Что значит, мы пришли?» — спросил герой. «Скажи ему, что это из-за темноты, — сказал мне Дедушка, — и что мы бы увидели больше, если бы было светлее». — «Очень темно», — сообщил я герою. «Нет, — сказала она, — вы бы ничего больше не увидели. Здесь всегда так, всегда темно».

Я умоляю себя нарисовать Трахимброд так, чтобы вы поняли, почему нас охватил благоговейный ужас. Там не было ничего. Изрекая «ничего», я не имею в виду ничего, кроме двух домов, и дров на земле, и битого стекла, и детских игрушек, и фотографий. Изрекая, что там не было ничего, я хочу сказать, что там не было ни этих вещей, ни каких-либо других. «Как?» — спросил герой. «Как? — спросил я Августину. — Как здесь могло что-либо когда-либо существовать?» — «Это произошло быстро», — сказала она, и мне было бы этого достаточно. Я бы не задавал больше вопросов, ни слова бы не сказал, и я не думаю, что герой сделал бы иначе. Но Дедушка сказал: «Расскажи ему». Августина разместила руки так далеко в карманах своего платья, что они выглядели существующими только по локоть. «Расскажи ему, что произошло», — сказал он. «Я всего не знаю». — «Расскажи ему, что знаешь». Только тут я осознал, что «ему» означало мне. «Нет», — сказала она. «Пожалуйста», — сказал он. «Нет», — сказала она. «Пожалуйста». — «Это все произошло очень быстро — вот что ты должен понять. Ты бежал и не заботился о том, что оставляешь позади, иначе конец». — «Танки?» — «В один день». — «В один день?» — «Некоторые отбыли раньше». — «До того как они пришли?» — «Да». — «Но ты не отбыла». — «Нет». — «Тебе посчастливилось сохраниться». Молчание. «Нет». Молчание. «Да». Молчание. Мы могли

бы на этом остановиться. Мы бы лицезрели Трахимброд, возвратились к автомобилю и проследовали за Августиной назад к ее дому. Герой мог бы сказать, что он побывал в Трахимброде, он мог бы даже сказать, что повстречал Августину, а мы с Дедушкой могли бы сказать, что выполнили свою миссию. Но Дедушку это не устроило. «Расскажи ему, — сказал он. — Расскажи ему, что произошло». Мне не было стыдно и не было страшно. Мне было никак. Я только жаждал узнать, что произойдет дальше. (Я не имею в виду в рассказе Августины, а промеж ней и Дедушкой.) «Они сделали нас в шеренги, — сказала она. — У них были списки. Они действовали логически». Я переводил герою по мере того, как Августина говорила. «Они сожгли синагогу». — «Они сожгли синагогу». — «Это первое, что они сделали». — «С этого началось». — «Затем они сделали в шеренги всех мужчин». Вам не понять, что я чувствовал, слушая это все и потом повторяя, потому что, когда я повторял, мне казалось, что я это все воскрешаю. «А потом?» — спросил Дедушка. «Это было в центре города. Там, — сказала она и указала пальцем в темноту. — Они разложили перед ними свитки Торы. Ужасная вещь. Мой отец приказывал нам целовать любую книгу, если она касалась земли. Хоть кулинарную. Хоть детскую. Хоть детектив. Хоть пьесу. Хоть роман. Даже газету. Генерал прошел вдоль шеренги и сказал каждому из мужчин плюнуть на Тору, а не то они убьют его семью». — «Это неправда», — сказал Дедушка. «Правда», — сказала Августина, и она не плакала, что меня удивило, но теперь я понимаю, что она упрятала свою грусть в такие места, которые скрывались за разными масками, а не только в глазах. «Первым мужчиной был Иосиф, который был сапожником. Мужчина со шрамом на лице сказал — плюй и приставил пистолет к голове Ребекки. Она была его дочерью и моей хорошей подругой. Мы с ней в карты играли вон там, — сказала она и указала во тьму, — и делились секретами про мальчиков, которых любили, за кого замуж хотели выйти». — «Он плюнул?» — спросил Дедушка. «Он плюнул. И тогда Генерал сказал: «Наступи на нее». — «А он?» — «Наступил». — «Он на нее наступил», — сообщил я герою. «Затем он подошел к следующему мужчине в шеренге, который был Изей. Он меня учил рисованию у себя дома, а дом был там, — сказала она и указала пальцем во тьму. — Мы допоздна засиживались, рисуя, смеясь. В иные ночи мы танцевали под пластинки моего отца. Мы были друзья, и, когда его жена родила, я за их малышом присматривала как за

своим собственным. Плюй, — сказал мужчина с голубыми глазами и положил пистолет Изиной жене в рот: вот так», — сказала она и положила в рот палец. «Он плюнул?» — спросил Дедушка. «Он плюнул». — «Он плюнул», — сообщил я герою. «И тогда Генерал заставил его проклясть Тору, только на этот раз он положил пистолет в рот Изиному сыну». — «А он?» — «Он проклял. И тогда Генерал заставил его изорвать Тору в клочья». — «А он?» — «Он изорвал». — «И тогда Генерал подошел к моему отцу». Несмотря на темноту, я увидел, что Дедушка закрыл глаза. «Плюй, — сказал он». — «И он плюнул?» — «Нет», — сказала она, и она сказала нет, как если бы это было любое другое слово из любого другого рассказа, без весомости, которой оно было обременено в этом. «Плюй, — сказал светловолосый Генерал». — «И он не плюнул?» Она не сказала нет, но развернула голову из стороны в сторону. «Он положил это в рот моей маме и сказал: плюй, а не то». — «Он положил это в рот ее маме». — «Нет», — сказал герой голосом, лишенным объемности. «Я ее убью здесь и сейчас, если ты не плюнешь, — сказал Генерал, но он не плюнул». — «И?» — спросил Дедушка. «И он ее убил». Надо вам сказать, что самым страшным в этом рассказе было то, как стремительно он развивался. Я имею в виду не то, что в рассказе происходило, а то, как она его рассказывала. Я почувствовал, что этого уже не остановить. «Это неправда», — сказал Дедушка, но только сам себе. «Тогда Генерал положил пистолет в рот моей младшей сестры, которой было четыре года. Она очень плакала. Я это помню. Плюй, сказал он, плюй, а не то…». — «И он плюнул?» — спросил Дедушка. «Нет», — сказала она. «Он не плюнул», — сообщил я герою. «Почему он не плюнул?» — «И Генерал застрелил мою сестру. Я не могла на нее смотреть, но я помню звук, с которым она упала на землю. Я и сейчас этот звук слышу, когда на землю что-нибудь падает. Все равно что». Если бы я мог, я бы устроил так, чтобы отныне ничего на землю не падало. «Я больше не хочу слушать», — сказал герой, и с этого места я переводить перестал. (Джонатан, если ты по-прежнему не хочешь знать продолжения, не читай дальше. Но если ты все-таки решишь упорствовать, не делай этого из одного любопытства. Это недостаточный повод.) «Они сорвали платье с моей старшей сестры. Она была беременна и с большим животом. Ее муж стоял в конце шеренги. А дом они построили здесь». — «Где?» — спросил я. «Там, где мы стоим. Мы сейчас в

спальне». — «Как вы можете это ощутить?» — «Помню, ее трясло от холода, хотя было лето. Они стащили с нее трусы, и один из мужчин вложил пистолет в ее место, а другие до того смеялись, я всегда этот смех помню. Плюй, сказал Генерал моему отцу, плюй, или не будет младенца». — «И он плюнул?» — спросил Дедушка. «Нет, — сказала она. — Он отвернулся, а они выстрелили сестре в ее место». — «Почему он не плюнул?» — спросил я. «Но моя сестра не умерла. Поэтому они вложили пистолет ей в рот, а она была уже на земле, плачущая, кричащая, сжимающая руками свое место, из которого теперь было так много крови. Плюй, сказал Генерал, плюй, а не то мы ее не пристрелим. Пожалуйста, сказал мой отец, не надо так. Плюй, сказал он, а не то мы оставим ее умирать в муках и на протяжении времени». — «И он плюнул?» — «Нет. Он не плюнул». — «И?» — «И они ее не пристрелили». — «Почему? — спросил я. — Почему он не плюнул? Он был до того религиозный?» — «Нет, — сказала она. — Он не верил в Бога». — «Он был дурак», — сказал Дедушка. «Ты ошибаешься», — сказала она. «Ты ошибаешься», — сказал Дедушка. «Ты ошибаешься», — сказала она. «А потом?» — спросил я, и должен сознаться, мне было неловко осведомляться. «Он приставил пистолет к папиной голове. Плюй, сказал Генерал, и мы убьем тебя». — «И?» — спросил Дедушка. «И он плюнул». Герой находился от нас в нескольких метрах расстояния, заполняя грязью пластиковый мешок, который называется Ziploc.[9] После он сообщил мне, что сделал это для бабушки, на случай, если когда-нибудь проинформирует ее о своей поездке. «Ну, а ты? — спросил Дедушка. — Где ты была?» — «Я была там». — «Где? Как ты спаслась?» — «Я же сказала: моя сестра не умерла. Они оставили ее на земле, выстрелив в то место. Она начала уползать. Ноги ее не слушались, но она подтягивала себя руками. За ней оставался кровавый след, и она боялась, что по этому следу они ее отыщут». — «Они ее убили?» — спросил Дедушка. «Нет. Они стояли и смеялись, пока она уползала. Я помню в точности, как они смеялись. Это было вот так, — она засмеялась во тьму, — ГА ГА ГА ГА ГА ГА ГА ГА ГА ГА ГА ГА. Все гоим[10] смотрели из своих окон, и она взывала к каждому: Помогите мне, пожалуйста, помогите, я умираю». — «Они помогли?» — спросил Дедушка. «Нет. Они все отвернули лица и спрятались. Я не могу их винить». — «Почему нет?» — спросил я. «Потому, — сказал Дедушка, отвечая за Августину, — что если бы они

помогли, их бы тоже убили вместе со всеми их семьями». — «Я бы все равно их винил», — сказал я. «Ты можешь их простить?» — спросил Дедушка Августину. Она закрыла глаза, чтобы сказать: Нет, я не могу их простить. «Я бы жаждал, чтобы мне кто-нибудь помог», — сказал я. «Но, — сказал Дедушка, — ты бы не стал никому помогать, если бы это знаменовало, что тебя убьют и семью твою тоже». (Я долго обдумывал это и понял, что он был прав. Мне достаточно было вспомнить об Игорьке, чтобы понять, что я тоже бы отвернулся и спрятал лицо.) Теперь все стало до того неразличимо (потому что было поздно и еще потому, что на многие километры вокруг не было искусственного освещения), что мы не могли друг друга видеть, а только слышали голоса. «Ты бы их простил?» — спросил я. «Да, — сказал Дедушка. — Да. Я бы попытался». — «Ты так говоришь только потому, что даже вообразить не можешь, каково это испытать», — сказала Августина. «Я могу». — «Эта не из тех вещей, которые можно вообразить. Она случается. После этого нет места воображению».

«Как темно», — сказал я, что прозвучало странно, но иногда лучше сказать что-нибудь странное, чем ничего не сказать. «Да», — сказала Августина. «Как темно», — сообщил я герою, который возвратился со своими мешками грязи. «Да, — сказал он. — Очень темно. Я не привык быть так далеко от искусственного освещения». — «Это правда», — сказал я. «Что с ней произошло? — спросил Дедушка. — Она ведь спаслась, да?» — «Да». — «Ее кто-нибудь укрыл?» — «Нет. Она постучала в сто дверей, но ни одна не открылась. Она приползла в лес, где заснула от проливавшейся крови. В ту ночь она проснулась, и кровь высохла, и хотя ей казалось, что она умерла, умер только ее младенец. Он принял на себя ее пулю и спас ей жизнь. Чудо». Теперь все происходило слишком быстро, чтобы я мог понять. Я хотел понять это полностью, но тогда потребовался бы год на каждое слово. «Она смогла встать и пойти, но очень медленно. И она пошла в Трахимброд по своему кровавому следу». — «Почему она пошла назад?» — «Потому что была молодая и очень глупая». (Не потому ли и мы с тобой пошли назад, Джонатан?) «Она боялась стать убитой, да?» — «Этого она совсем не боялась». — «И что случилось?» — «Было очень темно, и все соседи спали. Немцы были уже в Колках, поэтому их она не боялась. Хотя их она бы и так не боялась. В молчании она прошла по еврейским домам и собрала все — все книги, и одежду, и остальное». —

«Почему?» — «Чтобы это не забрали они». — «Немцы?» — «Нет, — сказала она. — Соседи». — «Нет», — сказал Дедушка. «Да», — сказала Августина. «Нет». — «Да». — «Нет». — «Она пришла к телам, которые были в яме перед синагогой, и удалила золотые пломбы, и остригла волосы, сколько смогла, даже у своей матери, даже у своего мужа, даже у себя». — «Почему? Как?» — «А потом?» — «Она спрятала эти вещи в лесу, но так, чтобы найти их, когда она вернется, и после этого выдвинулась в путь». — «Куда?» — «В разные места». — «Куда?» — «В Россию. В другие места». — «А потом?» — «Потом она возвратилась». — «Зачем?» — «Чтобы собрать вещи, которые спрятала, и отыскать остальное. Те, кто возвращался, были уверены, что найдут и свой дом, и своих друзей, и даже родных, которых на их глазах убили. Говорят, что перед концом света должен прийти Мессия». — «Но это был не конец света», — сказал Дедушка. «Конец. Просто он не пришел». — «Почему он не пришел?» — «Это и был урок, который мы вынесли из всего происшедшего: Бога нет. Вон сколько людей в окнах. Ему пришлось заставить от нас отвернуться, чтобы нам это доказать». — «Что если это было испытанием вашей веры?» — сказал я. «Я не могу верить в Бога, который испытывает веру таким образом». — «Что если это было не в Его власти?» — «Я не могу верить в Бога, который не властен такое остановить». — «Что если все это было делом рук человека, а не Бога?». — «В человека я тоже не верю».

«Что она обнаружила, когда вернулась во второй раз?» — спросил Дедушка. «Это, — сказала Августина и двинула пальцем по стене темноты. — Пустоту. Здесь ничего не видоизменилось со дня ее возвращения. Они забрали все, что оставили немцы, и пошли в другие штетлы». — «Она снова двинулась в путь, когда это увидела?» — спросил я. «Нет, она осталась. Она отыскала дом в наибольшей близости к Трахимброду — дома, которые не были разрушены, были заброшены, — и дала себе слово жить в нем, пока не умрет. Она взяла под охрану вещи, которые когда-то спрятала, и перенесла к себе в дом. Это было ее наказание». — «За что?» — «За то, что выжила», — сказала она.

Перед отбытием Августина отвела нас к памятнику Трахимброду. Это был кусок камня размером приблизительно с героя, размещенный посреди поля, — настолько посреди, что ночью отыскать его было совсем невозможно. На камне значилось на русском, украинском, идиш,

польском, иврите, английском и немецком:

ЭТОТ МОНУМЕНТ ВОЗДВИГНУТ В ПАМЯТЬ
О 1204 ЖИТЕЛЯХ ДЕРЕВНИ ТРАХИМБРОД,
ПАВШИХ ОТ РУК НЕМЕЦКОГО ФАШИЗМА
18 МАРТА 1942 ГОДА.

Открыт 18 марта 1992 года.
Ицхак Шамир, Премьер-министр Государства Израиль

Мы с героем стояли перед памятником на протяжении многих минут, а Августина и Дедушка удалились во тьму. Мы не разговаривали. Разговаривать было бы элементарной невежливостью. Я взглянул на него только раз, пока он записывал в дневнике информацию с памятника, и я ощутил, что он взглянул на меня только раз, пока я памятник лицезрел. Он сел насестом в траве, и я сел насестом рядом. Мы посидели насестом несколько минут, а затем оба легли на спины, и трава была как постель. Поскольку было очень темно, звезды были видны нам во множестве. Мы были словно под большим зонтом или под платьем. (Я это не только для тебя пишу, Джонатан. Мне так действительно казалось.) За много последующих минут мы переговорили о многих вещах, но, по правде, я не слушал его, и он не слушал меня, и я не слушал себя, и он не слушал себя. Мы были на траве, под звездами — вот и все, что мы делали.

Наконец Дедушка и Августина возвратились.

Нам потребовалось всего 50 процентов времени для путешествия назад по сравнению с путешествием сюда. Я не знаю, почему так получилось, хотя и догадываюсь. Августина не пригласила нас в дом, когда мы вернулись. «Уже так поздно», — сказала она. «Ты, должно быть, утомлена усталостью», — сказал Дедушка. Она улыбнулась наполовину. «Я не очень умею делать сон». — «Спроси у нее про Августину», — сказал герой. «А про Августану, про женщину из фотографии, вы что-нибудь знаете или хотя бы как нам ее найти?» — «Нет, — сказала она и опять посмотрела только на меня, когда это сказала. — Я знаю, что его дедушка уцелел, потому что потом я его один раз видела, может год спустя, может, два». Она дала мне возможность перевести. «Он возвратился в Трахимброд посмотреть, не

пришел ли Мессия. Мы поели у меня дома. Я ему приготовила, что в доме нашлось, и выкупала в ванне. Мы старались очиститься. Он многое пережил, это было видно, но мы знали, что лучше ни о чем друг друга не спрашивать». — «Спроси у нее, о чем они говорили». — «Он хочет знать, о чем вы говорили». — «Да ни о чем, в сущности. О невесомых вещах. Мы говорили о Шекспире, я помню, о пьесе, которую мы оба прочли. Их, знаешь ли, все перевели на идиш, и как-то он дал мне одну почитать. Я уверена, что она у меня где-то осталась. Я могла бы ее найти и отдать тебе». — «А что произошло потом?» — спросил я. «Мы повздорили из-за Офелии. Сильно повздорили. Он меня до слез довел, а я его. Ни о чем важном мы не говорили. Мы всего боялись». — «Он тогда уже встретил мою бабушку?» — «Он тогда уже встретил свою вторую жену?» — «Я не знаю. Он ни разу об этом не упомянул, а я думаю, что, если бы встретил, то, наверное, упомянул бы. Но, может, и нет. Это было такое трудное время для разговоров. Ты всегда боялся сказать что-нибудь не так, и обычно ничего не сказать казалось более уместным». — «Спроси у нее, как долго он оставался в Трахимброде». — «Он хочет знать, как долго его дедушка оставался в Трахимброде». — «Всего один вечер. Обед, ванна и ссора, — сказала она. — Но думаю, что и это было больше, чем он жаждал. Он только хотел проверить, не пришел ли Мессия». — «Как он выглядел?» — «Он хочет знать, как его дедушка выглядел?» Она улыбнулась и положила руки в карманы платья. «У него было огрубевшее лицо и густой каштановый волос. Скажи ему». — «У него было огрубевшее лицо и густой каштановый волос». — «Он был не очень высокий. Может, как твоего роста. Скажи ему». — «Он был не очень высокий. Может, как твоего роста». — «Он так многого лишился. Я его видела однажды, и он был еще мальчик, а два года превратили его в старика». Я сообщил об этом герою, а затем спросил: «Он похож на своего дедушку?» — «На того, каким он был до всего, — да. Но Сафран сильно изменился. Скажи ему, чтобы он никогда так не изменялся». — «Она говорит, что когда-то он был на тебя похож, но потом изменился. Она говорит, чтобы ты никогда не изменялся». — «Спроси, может, кто еще уцелел в окрестностях?» — «Он хочет знать, есть ли еще евреи среди останков?» — «Нет, — сказала Августина. — Есть один еврей в Киверцах, который мне изредка еду приносит. Он говорит, что работал вместе с моим братом в Луцке, только у меня не было брата. Есть еще другой еврей из

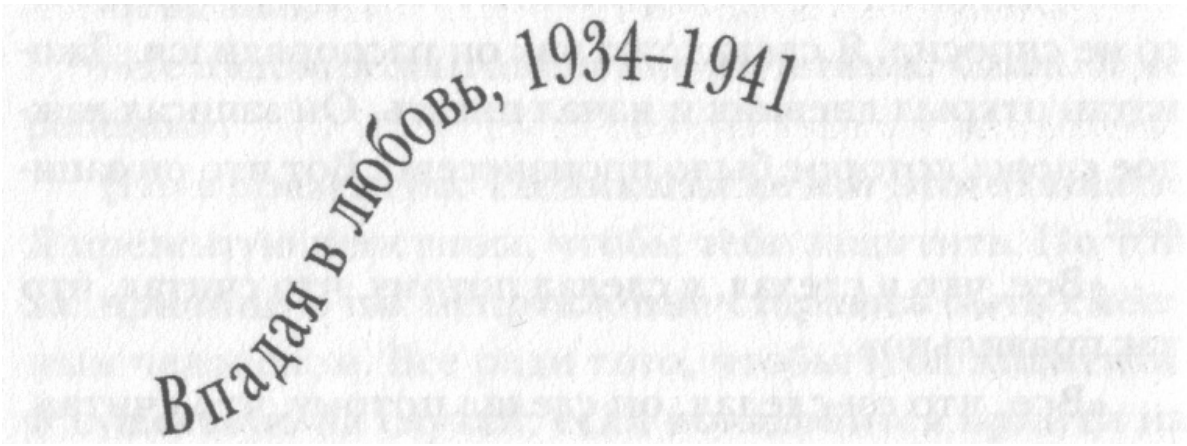
Сокречей, который мне зимой огонь устраивает. Мне зимой особенно тяжело, потому что я старуха и не могу напилить дров». Я сообщил об этом герою. «Спроси, не думает ли она, что они могут знать про Августину». — «Может, им что-нибудь известно про Августину?» — «Нет, — сказала она. — Они слишком старые. Они ничего не помнят. Я знаю, что несколько евреев из Трахимброда спаслись, но не знаю, где они. Люди столько перемещались. Я знала одного мужчину из Колков, который уцелел, но с тех пор не проронил ни слова. Точно кто ему губы зашил с помощью иголки и нитки. Вот так». Я сообщил об этом герою. «Ты возвратишься с нами? — спросил Дедушка. — Мы о тебе будем заботиться и огонь зимой устроим». — «Нет», — сказала Августина. «Поедем с нами, — сказал он. — Тебе нельзя так жить». — «Я знаю, — сказала она, — но». — «Но ты». — «Нет». — «Тогда». — «Нет». — «Могла бы». — «Не могу». Молчание. «Обождите минуту, — сказала она. — Я бы хотела ему кое-что презентовать». Тут до меня дошло, что как мы не знаем ее имени, так и она не знает ни имени Дедушки, ни имени героя. Только мое. «Она идет в дом, чтобы принести тебе какую-то вещь», — сообщил я герою. «Она сама не знает, что для нее хорошо, — сказал Дедушка. — Она не для того выжила, чтобы вот так жить. Если она сдалась, ей бы лучше с собой покончить». — «Возможно, иногда она радуется, — сказал я. — Мы не знаем. Я думаю, сегодня она радовалась». — «Она не жаждет радости, — сказал Дедушка. — Она только и может жить, когда ей грустно. Она хочет, чтобы мы из-за нее убивались. Чтобы мы о ней скорбели, а не о других».

Августина вышла из дома с коробкой, на которой синим карандашом значилось НА СЛУЧАЙ. «Вот», — сказала она герою. «Она жаждет, чтобы ты этим обладал», — сообщил я ему. «Я не могу», — сказал он. «Он говорит, что не может». — «Он должен». — «Она говорит, что ты должен». — «Я не поняла, почему Ривка спрятала свое обручальное кольцо в банке, почему сказала мне: На всякий случай. На всякий случай — и потом что? Что?» — «На случай, если ее убьют», — сказал я. «Да, и потом что? Почему у кольца должна быть иная участь?» — «Я не знаю», — сказал я. «Спроси его», — сказала она. «Она хочет знать, почему ее подруга решила сохранить обручальное кольцо, когда подумала, что ее могут убить». — «Чтобы осталось вещественное доказательство ее существования», — сказал герой. «Вещественное

что?» — «Свидетельство. Документ. Подтверждение». Я сообщил об этом Августине. «Но кольцо для этого не нужно. Люди могут помнить и без кольца. А когда они забудут или умрут, тогда и о кольце никто знать не будет». Я сообщил об этом герою. «Но кольцо может служить напоминанием, — сказал он. — Каждый раз, когда вы на него смотрите, вы думаете о ней». Я сообщил об этом Августине. «Нет, — сказала она. — Я думаю, это было на этот случай. На случай, если однажды кто-нибудь придет его искать». Я не мог ощутить, говорила ли она со мной или с героем. «Чтобы нам было, что найти», — сказал я. «Нет, — сказала она. — Не кольцо для вас существует. Вы существуете для кольца. Кольцо не на случай вас. Вы на случай кольца». Она порылась в кармане платья и извлекла кольцо. Она предприняла попытку надеть его на палец героя, но оно не гармонизировало, поэтому она предприняла попытку надеть его на самый миниатюрный палец героя, но оно опять не гармонизировало. «У нее были маленькие руки», — сказал герой. «У нее были маленькие руки», — сообщил я Августине. «Да, — сказала она. — Такие маленькие». Она вновь предприняла попытку надеть кольцо на мизинец героя, она старалась изо всех сил, и я ощутил, что это причиняет герою много разных страданий, хотя он не экспонировал ни одного из них. «Не гармонизирует», — сказала она, и, когда она удалила кольцо, я увидел, что на мизинце героя остался круговой порез.

«Нам пора выдвигаться, — сказал Дедушка. — Время отбывать». Я сообщил об этом герою. «Скажи ей еще раз спасибо». — «Он говорит вам спасибо», — сказал я. «И вам спасибо». Теперь она опять плакала. Она плакала, когда мы приехали, и плакала, когда мы отбывали, но ни разу не плакала, пока мы были там. «Можно я задам вам вопрос?» — спросил я. «Конечно», — сказала она. «Меня, как вы знаете, зовут Саша, а его — Джонатан, а суку — Сэмми Дэвис Наимладшая, а он, Дедушка, — Алекс. А вы кто?» Мгновение она молчала. «Листа», — сказала она. А потом она сказала: «Можно я задам тебе вопрос?» — «Конечно». — «Война уже кончилась?» — «Я не понимаю». — «Я», — изрекла или начала изрекать она, но тут Дедушка исполнил нечто, чего я никак не ожидал. Он стиснул руку Августины в своих руках и поцеловал ее в губы. Она повернулась к нам спиной, лицом к дому. «Я должна идти к моей малышке, — сказала она. — Она скучает по мне».

Впадая в любовь, 1934—1941



ВСЕ ЕЩЕ НАХОДЯСЬ на жалованье у прихожан Падшей Синагоги, не ведавших о ее частичном перерождении в своеобразный эскорт-сервис для престарелых и вдов, дедушка продолжал наведываться с визитами к клиентам по несколько раз в неделю и скопил достаточно денег, чтобы можно было задуматься о создании собственной семьи, — задуматься если не ему самому, то, по крайней мере, его родителям.

— *Приятно видеть твою рабочую этику,* — сказал ему однажды вечером отец, когда дедушка собирался отправиться в небольшой кирпичный дом вдовы Голды Р по соседству с Несгибаемой Синагогой. — *Ты не ленивый цыганенок, как мы прежде думали.*

— *Ты наша гордость,* — сказала мама, но, вопреки его ожиданиям, поцелуя за этим не последовало. *Это из-за Отца,* — подумал он. — *Будь мы одни, она бы обязательно поцеловала.*

Отец приблизился к нему, похлопал по плечу, сказал *Так держать,* не догадываясь о подтексте.

Прежде чем заниматься с ним любовью, Голда завешивала зеркала.

А дважды овдовевшая Лея Г, которую он посещал три раза в неделю (даже после собственной свадьбы), просила только о том, чтобы к ее безнадежно состарившемуся телу он относился со всей серьезностью: не смеялся над опавшей грудью и лысеющим лобком, не обходил вниманием варикозные вены на икрах, не морщился от запаха,

который, она знала, напоминал запах гниющего на лозе винограда.

А Рина С, вдова Казвеля Л, единственного из Дымков Ардишта, сумевшего избавиться от вредной привычки и спуститься с крыш Ровно на землю (правда, лишь затем, чтобы, подобно Времямеру, стать жертвой мельничной пилы), в разгар любовных утех впивалась в мертвую руку Сафрана зубами, желая удостовериться, что он действительно ничего не чувствует.

А Елена Н, вдова гробовщика Хаима Н, тысячи раз наблюдала, как двери их подпола растворялись навстречу смерти, но даже и вообразить не могла, в какую черную бездну горя может столкнуть человека обычная куриная кость, попавшая не в то горло. Она умоляла любить ее под кроватью, в тесном подобии склепа под некогда брачным ложем, в надежде, что соитие облегчит душевную боль, сделает жизнь чуточку переносимее. Сафран, мой дедушка, отец моей мамы, которого я не застал в живых, удовлетворял любую их прихоть.

Но прежде чем меня заподозрят в подхалимаже, необходимо отметить, что вдовы составляли лишь половину от общего числа любовниц моего юного дедушки. Он вел двойную жизнь: любил не только скорбящих, но и тех, кого не успела коснуться влажная лапка скорби, кто был ближе к своей первой смерти, чем ко второй. С его легкой руки расстались с невинностью пятьдесят две девственницы, и каждая в неповторимой позе, заимствованной им с картинок скабрезной колоды карт того самого приятеля, которого он все время оставлял в театре: одноглазую простушку Тали М с тугими косичками и заплатой из сложенной ярмолки на невидящем глазу он отшестидевятил, как валета; в Брэндил В, что страдала пороком сердца, отдувалась при ходьбе, носила очки с толстыми линзами и умерла до войны (слишком рано, но как раз вовремя) вошел со спины, как в двойку червей; Меллу С с пышной грудью и плоским задом, единственную наследницу самого богатого семейства в Колках (поговаривали, что в их доме даже столовое серебро было одноразовым), поимел на боку, как бубновую даму; Треме О, проявлявшей особое усердие на природе и стонавшей так пронзительно, что даже странно, как их не застукали, он позволил себя оседлать, как туза пик. Они его любили, а он их еб — десятка, валет, дама, король, туз — самый королевский из возможных флеш-роялей. Так что, несмотря на увечье, было у него все-таки две действующие руки: на одной — пять пальцев, на другой — пятьдесят

две девочки, не сумевших или не пожелавших сказать «нет».

Но и выше пояса у него, конечно же, тоже была жизнь. Он ходил в школу и учился вместе со своими одногодками. Легче всего ему давалась арифметика, и его учитель, молодой Падший по имени Яким Е, даже предложил моим прабабушке и прадедушке отправить Сафрана в Луцк, в школу для одаренных детей. Но ничто не нагоняло на дедушку такой тоски, как учеба. Книги *нужны тем, у кого нет настоящей жизни*, — думал он. — *Они не в состоянии ее заменить.* Школа, которую он посещал, была небольшой: четыре преподавателя и сорок учеников. День был разделен на дисциплины религиозные, которым обучал Так Себе Раввин вместе с одним из прихожан Несгибаемой Синагоги, и дисциплины светские, или полезные, которым учили трое (а иногда двое, а иногда четверо) Падших.

Историю Трахимброда каждый школьник узнавал из книги, изначально написанной Досточтимым Раввином (*И ЕСЛИ МЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО УСТРЕМЛЕНЫ К СВЕТЛОМУ БУДУЩЕМУ, НЕ НАДЛЕЖИТ ЛИ НАМ СНАЧАЛА ЗАГЛЯНУТЬ В СВОЕ ПРОШЛОЕ И ПРИМИРИТЬ СЕБЯ С НИМ?*) и регулярно дополняемой комиссией, состоявшей из Несгибанцев и Падших. *Книга Предшествующих* начиналась как летопись исключительно эпохальных событий: баталий и перемирий, голодных лет и сейсмической активности, зарождения и гибели политических систем. Но довольно скоро туда были включены и подробно описаны события меньшего масштаба — торжества, важные свадьбы и смерти, записи о производимом в штетле строительстве (тогда в основном строили, а не разрушали), — и сравнительно небольшая книжица разрослась до трех внушительных томов. Вскоре по требованию читателей (как Несгибанцев, так и Падших) в *Книгу Предшествующих* стали включать результаты проводившейся раз в два года переписи с указанием имени и фамилии каждого жителя и краткой биографической справкой о его жизни (данные о женщинах появляются только после раскола Синагоги), краткие перечни менее заметных событий и комментарии, которые Досточтимый Раввин вынес в раздел ЖИЗНЬ, И ЖИЗНЬ ЖИЗНИ (к ним относились разъяснения, иносказания, всевозможные нормы и правила для желающих стать праведниками, а также симпатичные, хотя порой и бессмысленные афоризмы). Позднейшие издания, занимавшие уже целую полку, стали еще более подробными, поскольку жители вносили в них свои семейные

архивы, портреты, важные документы и личные дневники, и в результате любой школьник мог без труда установить, что ел на завтрак его дедушка в любой из четвергов за пятьдесят лет до этого или чем занималась его двоюродная бабушка, пока дождь лил, не переставая, пять месяцев кряду. Поначалу новые сведения вносились в *Книгу Предшествующих* не чаще чем раз в год, но теперь это происходило постоянно, а когда сообщать было не о чем, члены комиссии сообщали о самих себе, чтобы процесс не прерывался, и книга, разрастаясь, во всем походила на жизнь: *Мы пишем… Мы пишем… Мы пишем…*

Даже самые отпетые двоечники читали *Книгу Предшествующих*, не пропуская ни слова, понимая, что со временем им тоже найдется место на этих страницах и что попади к ним в руки более позднее издание, они смогли бы прочесть о своих ошибках (и, возможно, избежать их), и об ошибках своих детей (и уж точно предотвратить их), и об исходе грядущих войн (и приготовиться к гибели близких).

И я уверен, что мой дедушка не был исключением. Он тоже пролистывал том за томом, страницу за страницей, в поисках…

Позорная бусина Янкеля Д

Результат ряда постыдных махинаций, процесс по делу опального ростовщика Янкеля Д был рассмотрен Высоким Несгибанским Судом в 1741 году. Означенный ростовщик, обвиненный в означенных постыдных махинациях, рассмотренных судом, был приговорен прокламацией штетла к ношению на шее позорной бусины, состоящей из костяшки счетов, нанизанной на белую нитку. Прошу особо отметить, что он не снимал бусину, даже когда его никто не видел, даже перед сном.

День Трахима, 1796

Одна исключительно зловредная муха ужалила в зад кобылу, впряженную в праздничную платформу из Ровно, побудив капризную

кобылу встать на дыбы и сбросить чучело пахаря с платформы в Брод. Шествие платформ было отложено почти на тридцать минут, пока трахимбродские силачи извлекали из реки промокшее чучело. Виновная муха угодила в сачок школьника, личность которого не установлена. Мальчик занес руку, чтобы прихлопнуть ее, понимая, что нужен урок, но пока кулак опускался, муха дернула крылышком, но не взлетела. Мальчика (а это был чувствительный мальчик) внезапно постигло ощущение хрупкости жизни, и он выпустил муху. Муха, тоже что-то постигшая, умерла от признательности. Урок был преподан.

Болезненные младенцы

(*См.* Бог)

КОГДА ДОЖДЬ ЛИЛ, НЕ ПЕРЕСТАВАЯ, ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ КРЯДУ

Самое продолжительное наказание дождем случилось в два последних и три первых месяца 1914–1915 гг. Чашки, оставленные на подоконниках, быстро переполнились. Цветы расцвели и утонули. В потолках уборных над ваннами были прорезаны отверстия… Важно отметить, что период, когда дождь лил не переставая, совпал с периодом русской оккупации,[11] а потому, сколько бы дождя ни пролилось, непременно находились те, кто уверял, что изнывает от жажды. (См. Гиттл К, Яков Л)

Мельница

Так уж случилось, что в одиннадцатый год одного бесконечно далекого столетия Народ-избранник (мы) был выпровожен из Египта под руководством нашего тогдашнего мудрого лидера Моисея. В суматохе бегства не было времени ждать, пока хлеб взойдет, и Бог наш Творец (да зародятся при имени Его радостные мысли), искавший совершенства в каждом из своих творений, а потому не желавший несовершенных хлебов, сказал своему народу (нам, а не им): ДА НЕ

СОТВОРИТЕ ХЛЕБА СУХОГО, ПРЕСНОГО, НЕВКУСНОГО ИЛИ ЖЕ ТАКОГО, ЧТО СТАНЕТ ПРИЧИНОЙ МУЧИТЕЛЬНЫХ ЗАПОРОВ. Но Народ-избранник был страшно голоден, и мы рискнули побаловаться с дрожжами. То, что испеклось на наших спинах, было далеко от совершенства, поистине пресно, сухо, невкусно и пищеварению не способствовало, а потому привело Бога (да пребудет имя Его вовеки на наших непотрескавшихся устах) в настоящую ярость. Во искупление этого греха наших предков кто-нибудь из жителей нашего штетла ежегодно погибал на мельнице, возведенной в 1713 году. (Полный список погибших на мельнице прилагается в Приложении Г: Безвременные кончины.)

Существование Гоим

(*См.* Бог)

Цельность мира, каковой она нам представляется и не представляется

(*См.* Бог)

Шестое чувство евреев

Осязание, вкус, зрение, обоняние, слух… память. Если неевреи постигают мир посредством традиционных чувств, а памятью пользуются лишь как вспомогательным рычагом, помогающим интерпретировать события, то для евреев память важна не меньше, чем укол булавки, или ее серебряный отлив, или вкус крови, выступившей от ее укола на пальце. Уколовшись булавкой, еврей вспоминает другие булавки. Только связав этот укол с другими уколами — когда его мать пыталась заштопать рукав, из которого он не вынул руку, когда у его

дедушки, долго гладившего влажный прадедушкин лоб, отходили онемевшие пальцы, когда Абрам проверил, заострен ли нож, чтобы Исаак не почувствовал боли, — еврей понимает, почему ему больно.

При виде булавки еврей задается вопросом: *О чем с ней вспомнится?*

Загадка зла: почему безусловно плохие вещи случаются с безусловно хорошими людьми

Никогда не случаются.

Времена разноцветных рук

Наставшие вскоре после времен самоубийств по ошибке времена разноцветных рук начались в тот день, когда пекарь Герцог Ж заметил, что те булочки, за которыми он не присматривает, иногда исчезают. Он многократно повторил свои наблюдения, раскладывая булочки по всей пекарне, даже помечая места, куда он их клал, угольным карандашом, и всякий раз, когда он ненадолго отворачивался, там оставались одни пометы.

— *Да это же воровство,* — сказал он.

В тот период нашей истории пост главного учредителя правовых норм занимал Выдающийся Раввин Фейгель Ф (*См. также* Приложение Б: Полный список Раввинов Несгибаемой Синагоги). Для проведения объективного расследования он распорядился считать всех жителей штетла подозреваемыми, пока не будет доказана их невиновность. *МЫ ВЫКРАСИМ РУКИ КАЖДОГО В ОСОБЫЙ ЦВЕТ,* — сказал он, — *И ТАК УЗНАЕМ, КТО ЗАПУСКАЛ ИХ К ГЕРЦОГУ ЗА ПРИЛАВОК.*

Руки Липпы Р были выкрашены кроваво-красным. Руки Пелши Г — светло-салатовым, под цвет ее глаз. Руки Майки П — нежно-багровым, в тон кромки неба над кронами Радзивельского леса на закате третьего Шаббата ноября. Ни одна пара рук и ни один цветовой оттенок не были исключением. Объективности ради даже руки Герцога Ж были

выкрашены в редкую разновидность розового — под стать уникальному окрасу бабочки семейства *Troides helena,* погибшей на рабочем столе Дайкла Д — того самого химика, что изобрел химикат, который был несмываем и оставлял отпечатки на всем, к чему бы крашеные руки ни прикасались.

Как выяснилось впоследствии, булочки тырила обычная мышь — да пребудет память о ней в непосредственной близости от вонючих тухесов, — и ни один из цветов так за прилавком и не появился.

Зато они появились во всех остальных местах.

Шломо В обнаружил посеребренность меж бедер жены своей Чебры — да не утратит ее поступок исключительности ни в этом, ни в иных мирах, — но не проронил ни слова, покуда не выкрасил ее грудь зеленью своих рук и не залил эту грудь белым семенем. Нагую, он проволок ее по серым от лунного света улицам, от дома к дому, барабаня в двери почерневшими от синяков кулаками. Он заставил ее смотреть, как отрезает мошонку у Шмуэля Р, который, воздев к небу свои посеребренные пальцы, молил о пощаде и двусмысленно вопил: *Произошла ошибка.* Пестрело повсюду. Индиго Выдающегося Раввина Фейгеля Ф на страницах сразу нескольких ультрасветских периодических изданий. Мертвогубая синева скорбящей вдовы Шифры К, точно след от детского ластика, через все надгробие мужа на местечковом кладбище. Ирвина П все поспешили обвинить в том, что он с ног до головы облапал Времямера своими бронзовыми пятернями. *Он такой эгоист,* — говорили они. — *Все хочет себе заграбастать!* Хотя облапан Времямер был *их* руками, руками каждого из них, и в его бронзовой радуге, точно спрессованные, умещались цвета всех жителей штетла, вечно вымаливавших у него кто сыновей-красавцев, кто пару-тройку лет жизни, кто защиты от молнии, кто любви.

Штетл пестрел делами своих обитателей, а поскольку в ход были пущены все цвета (за исключением, конечно же, цвета прилавка), никто уже не мог с уверенностью сказать, к чему прикасалась рука человека, а что было таким, каким было само по себе. Поговаривали, что Гецель Г тайком переиграл на скрипках всех скрипачей (хотя на скрипке он играть не умел), потому что скрипичные струны были цвета его пальцев. Шушукались, что Гейша Р, должно быть, занялась акробатикой, а иначе разве бы стала линия Еврейско/Общечеловеческого раскола желтой, как ее ладони? И когда румянец на

щеках одной школьницы по ошибке приняли за Карамзин святоши, школьницу стали обзывать *шлюхой, потаскухой и блудницей.*

Загадка добра: Почему безусловно хорошие вещи случаются с безусловно плохими людьми

(*См.* Бог)

Куннилингус и Женщина в период менструации

Прибегать к помощи неопалимой купины категорически воспрещается. (Полный список норм и правил, регулирующих сами знаете что, прилагается в Приложении Е — ЛЯ.)

Роман — как каждый пребывал в убеждении, что он вынашивает в себе хотя бы один

Роман — это литературная форма, которая легче всего горит. Так уж случилось, что в середине девятнадцатого века каждый житель нашего штетла, будь то мужчина, женщина или ребенок, пребывал в убеждении, что он вынашивает в себе хотя бы один. Этой эпохе, скорее всего, положил начало странствующий цыганский коммивояжер, каждое третье воскресенье каждого второго месяца пригонявший на главную площадь повозку с книгами, которые он рекламировал нараспев, как *Истинный источник искушений изумительно изощренный.* Что, кроме *Эдак и я могу*, могло прийти после этого в голову Народу-избраннику?

Более семисот романов было написано между 1850 и 1853 годами. Один начинался так: *Сколько лет минуло с той поры, когда я в последний раз думал о тех всклокоченных утрах.* Другой так: *Говорят, каждая женщина помнит, как у нее было в первый раз, а я вот не*

помню. Третий так: *Убийство — отвратительное деяние, кто бы сомневался, но братоубийство поистине самое чудовищное преступление из всех, известных человечеству.*

Среди написанного было 272 наскоро завуалированных мемуара, 66 детективов, 97 повествований о войне. В 107 брат поднимал руку на брата. Во всех, за исключением 89, не обошлось без супружеской измены. В 29 влюбленные гадали, что ждет их в будущем; 68 оканчивались поцелуем; во всех, кроме 35, встречалось слово «стыд». Те, кто не умел ни читать, ни писать, сочиняли романы для зрения: коллажи, гравюры, карандашные наброски, акварели. В Библиотеке Янкеля и Брод под трахимбродское творчество была выделена отдельная комната, хотя романы, которые продолжали пользоваться спросом спустя пять лет после их написания, можно пересчитать по пальцам.

Однажды, без малого сто лет спустя, стеллажи этой комнаты обследовал мальчик.

— *Я ищу одну книгу,* — сказал он библиотекарше, которая присматривала за трахимбродскими романами с детства и была единственным человеком, прочитавшим их все. — *Ее мой прадед написал.*

— *Как его звали?* — спросила библиотекарша.

— *Сафранброд. Но он мог опубликовать ее под псевдонимом.*

— *Как называлась его книга?*

— *Я не помню названия. Он о ней вспоминал постоянно. На ночь мне ее рассказывал вместо колыбельной.*

— *О чем?* — спросила она.

— *О любви.*

Она засмеялась. *Все они о любви.*

Арт

Арт — это та самая пресловутая вещица в себе, результат успешной попытки сотворить предмет арта. К сожалению, примеров арта не существует, и нет никаких оснований считать, что они появятся в будущем. (Все, что производилось ранее, имело цель, отличную от

самой вещицы, как то: *Хочу это продать,* или *Хочу прославиться и быть любимым*, или *Хочу, чтобы это меня возвысило,* или *Хочу, чтобы это возвысило других.*) Но мы все равно продолжаем писать, рисовать, ваять и сочинять музыку. Ну, не идиоты?

Икул

Икул — это вещица со смыслом, созданная для удобства и наделенная определенными функциями. Все в этом мире в той или иной степени икул.

Ефакт

Ефакт — это факт прошедшего времени. Например, многие полагают, что после разрушения первого Храма существование Бога стало ефактом.

Артикул

Артикул — это вещица, которая на стадии замысла была артом, а на стадии воплощения переродилась в икул. Оглядитесь. Примеры повсюду.

Артефакт

Артефакт — это результат успешной попытки превратить факт прошедшего времени в бесмысленную, не применимую в хозяйстве, но изящную вещицу. Это не арт, но это и не факт. Евреи — это артефакты рая.

Ефактикул

Музыка прекрасна. Со дня сотворения мира мы (евреи) искали новый язык для самовыражения. Даже то, как к нам относились на протяжении веков, мы нередко объясняем чудовищным недопониманием. (Слова никогда в полной мере не выражают того, что мы хотим ими выразить.) Общайся мы на языке музыки, нас бы всегда понимали правильно, потому что в музыке и понимать нечего. В этом истоки чтения Торы нараспев и идиша — самого звукоподражательного из языков. Этим же объясняется и то, что наши старики, особенно те из них, кто пережил погромы, нередко мурлычут себе под нос, мурлычут безостановочно, точно боятся наступления тишины, в которой им может открыться тайный лингвистический смысл. Но покуда мы не нашли нового языка для самовыражения и покуда мы не нашли слов с точным, а не приблизительным значением, словесная какофония — единственное, что нам остается. Ефактикул — пример такой какофонии.

Первое изнасилование Брод Д

Первое изнасилование Брод Д случилось в разгар всеобщего ликования, последовавшего за тринадцатым празднованием ежегодного торжества, Дня Трахима, 18 марта 1804 года. По дороге домой от убранной голубыми цветами платформы, на которой она простояла много часов подряд безыскусной красавицей, помахивая русалочьим хвостом только когда им помахивать полагалось, бросая тяжелые мешки в реку, носящую одно с ней имя, только когда Раввин кивком головы подавал ей сигнал, — к Брод подошел сумасшедший сквайр Софьевка Н, под чьим именем наш штетл теперь обозначается на картах и в мормонских переписях.

Я все видел, — сказал он. — *Я смотрел на парад сверху. Разве ты не знаешь, насколько я выше, выше, выше всех, выше этого плебса, с его плебейским ликованием, в котором, сказать по чести, был бы совсем не*

прочь принять маленькое участие. Наблюдал я за тобой на платформе и думал: нет, она не плебс. Ты была сама естественность на фоне этого разнузданного притворства.

Благодарю, — сказала Брод и двинулась дальше, хорошо помня предостережение Янкеля о том, что Софьевке подставь только ухо — и он откусит голову.

Но куда же ты? Я не закончил, — сказал он, хватая ее за худенькое предплечье. — *Разве отец тебя не учил, что надо слушать, когда к тебе, или в тебя, или вокруг тебя, или даже из тебя обращаются?*

Я бы хотела поскорее вернуться домой, Софьевка. Я обещала отцу, что мы будем вместе есть ананас, и я уже опаздываю.

Нет не обещала, — сказал он, разворачивая Брод к себе лицом. — *Теперь ты меня обманываешь.*

Честное слово, обещала. Мы договорились, что после парада я приду домой, и мы с ним будем есть ананас.

Но ты только что сказала, что обещала отцу, Брод, и, возможно, ты просто пользуешься этим словом за неимением лучшего, а может, вообще не знаешь его значения, но если ты собираешься стоять на своем, уверяя, что обещала отцу, то я буду стоять на своем, уверяя, что ты мне врешь.

Чепуха какая-то, — нервно засмеялась Брод и вновь двинулась в сторону дома. Софьевка семенил за спиной, то и дело наступая на русалочий хвост.

Кто из нас городит чепуху, Брод?

Он снова остановил ее и развернул к себе лицом.

Отец назвал меня в честь реки, потому что…

Ну, вот опять ты, — сказал он, скользя пальцами вверх по ее предплечью, плечу, шее, запуская их в волосы, скидывая с ее головы голубую царскую корону. — *Маленьким девочкам врать не к лицу.*

Мне надо скорей домой, Софьевка.

Надо — иди.

Но я не могу.

Это почему же?

Потому что ты держишь меня за волосы.

Ой, ты совершенно права. Держу. А я и не заметил. Это ведь твои волосы, не так ли? И я их держу — скажешь нет? — что лишает тебя возможности отправиться домой или в какое-либо другое место. Ты,

пожалуй, могла бы закричать, но только какой в этом прок? Сейчас на берегу все кричат, кричат от удовольствия. Ты тоже могла бы покричать от удовольствия, Брод. Давай, у тебя получится. Один разочек — от удовольствия.

Софьевка, — захныкала Брод, — *Софьевка, пожалуйста. Мне надо скорее домой, я знаю, что отец меня заждался…*

Опять ты врешь, пизда брехливая! — выкрикнул он. — *Не слишком ли много вранья для одного вечера!*

Чего ты добиваешься? — заплакала Брод.

Он достал из кармана нож и перерезал тесемки на плечах ее русалочьего облаченья.

Она спустила костюм до икр и высвободила из него ступни, потом сняла трусики. Рукой, которую он не заломил ей за спину, она придерживала русалочий хвост, чтобы он не запачкался.

В тот же вечер, когда она возвратилась домой и обнаружила тело мертвого Янкеля, всполох молнии, похожий на праздничную иллюминацию, высветил в окне фигуру Колкаря.

Уходи! — крикнула она, прикрывая обнаженную грудь руками, склоняясь над Янкелем, точно желая оградить и себя, и его от взгляда Колкаря. Но он не ушел.

Уходи!

Я не уйду без тебя, — прокричал он сквозь закрытое окно.

Уходи! Уходи!

Дождь капал у него с верхней губы. *Только с тобой.*

Я руки на себя наложу! — простонала она.

Тогда я заберу с собой твое тело, — сказал он ладони на оконном стекле.

Уходи!

Нет!

Янкель дернулся, костенея, сбив масляную лампу, которая сама себя задула по пути к полу, погрузив комнату в абсолютную тьму. Его губы сложились в подобие осторожной улыбки, озарившей темноту согласием. Руки Брод медленно вытянулись по бокам, и она поднялась навстречу моему пра-пра-пра-пра-прадеду, второй раз за тринадцать лет своей жизни оказываясь обнаженной перед мужчиной.

В таком случае ты должен для меня кое-что сделать, — сказала она.

На следующее утро Софьевку обнаружили вздернутым за шею на поперечной балке деревянного моста. Он помахивал отрубленными руками, прикрученными веревками к ступням, а на его груди красной помадой Брод было написано: ЖИВОТНОЕ.

Что ел на завтрак Яков Р утром 21 февраля 1877 года

Жареный картофель с луком. Два ломтя черного хлеба.

Плагиат

Каин убил своего брата за плагиат одного из своих самых любимых стихотворений, которое звучало так:

Бледных ив косынки плещут.
Лист осиновый трепещет.
И волна речная вечно,
Плес окатывая, блещет.

Не в силах обуздать ярость поруганного поэтического честолюбия, не в силах продолжать занятия творчеством, зная, что окололитературные трутни присвоят себе трофеи, по праву принадлежащие ему, не в силах найти ответ на вопрос *Если и ямбы не для меня, то что же мне остается?* он, обессиленный Каин, навсегда положил конец литературному пиратству. Или так ему показалось.

Но к немалому его изумлению камни полетели в Каина, и на вечное скитанье по земле обречен был Каин, и ужасная эта печать досталась ему, Каину, который благодаря печальной мудрости своих стихов без труда мог снять себе подружку на ночь, но так и не встретил никого, кто самостоятельно прочитал бы хотя бы строчку из его бесценного опуса.

Почему?

Бог благоволит плагиатору. Не зря же написано: «И сотворил Бог

человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их». Бог сам первый плагиатор и есть. Но поскольку красть в тот момент было особенно не у кого — по чьему еще образу создавать человека? не по образу же животного? — создание человека стало актом рефлексирующего плагиаторства. Бог украл у своего отражения в зеркале. Так и мы, плагиаторствуя, создаем *по образу*, тем самым довершая начатый Богом процесс Сотворения мира.

Разве я материал для брата моего?

Конечно, Каин. Конечно.

Времямер

(*См.* Идолы)

Всечеловеческий квартал

Покаянный Погром (1764) был страшен, но бывали погромы и пострашнее, а те, что еще предстоят, несомненно будут еще ужаснее. Они скакали на лошадях. Они насиловали наших беременных женщин и выкашивали серпами наших самых сильных мужчин. Они забивали детей насмерть. Они заставляли нас глумиться над священнейшими из наших текстов. (Крики младенцев были неотличимы от криков стариков.) Как только они ушли, Несгибанцы и Падшие в едином порыве сдвинули здание синагоги с линии Еврейско/Общечеловеческого раскола в Квартал На-Три-Четверти Общечеловеческий, превратив его, пусть всего и на час, во всечеловеческий квартал. После этого невесть почему мы принялись бить себя в грудь так же истово, как на Иом Кипур, когда настает время покаяться в совершенных за год прегрешениях. И наша вознесенная к Богу молитва звучала так: *Прости притеснителей наших за сотворенное ими?* Или так: *Прости нас за все, что мы от них претерпели?* Или так: *Прости Себе непостижимость поступков Твоих?* (*См.* Приложение Г: Безвременные кончины.)

Мы, евреи

Евреи — это те вещи, которые Бог любит. Поскольку розы прекрасны, мы заключаем, что Бог их любит. Таким образом, розы — евреи. По той же логике, звезды и планеты — евреи, все дети — евреи, изящное искусство — еврей (Шекспир не был евреем, а Гамлет был) и секс, практикуемый мужем и женой в хорошей и удобной позе, тоже еврей. А как насчет Сикстинской капеллы? Уж и не сомневайтесь.

Животные

Животные — это те вещи, которые Бог одобряет, но не любит.

Предметы, которые существуют

Предметы, которые существуют, — это те вещи, которые Бог даже и не одобряет.

Предметы, которые не существуют

Предметы, которые не существуют, не существуют. Если бы нам пришлось вообразить несуществующий предмет, то им стала бы вещь, которую Бог ненавидит. Это самый веский аргумент в споре с неверующими. Если Бог не существовал, значит, он должен был бы себя ненавидеть, а это очевидная ерунда.

120 венчаний Иосифа и Сары Л

В первый раз молодые обвенчались 5 августа 1744 года, когда Иосифу было восемь, а Саре — шесть, и впервые расторгли свой брак шесть дней спустя после того, как Иосиф довел Сару до слез, отказываясь верить, что звезды — это серебряные шляпки гвоздей, которыми тьма приколочена к небосводу. Через четыре дня они поженились вновь после того, как Иосиф просунул под дверь дома Сариных родителей записку: *Я обдумал все, что ты мне сказала, и верю, что звезды — это серебряные шляпки гвоздей.* Год спустя они расторгли свой брак вторично (Иосифу было девять, Саре — семь) из-за разногласий в вопросе об особенностях дна реки Брод. Неделю спустя они снова сыграли свадьбу, включив на этот раз в список обетов такой: любить друг друга до гроба, независимо от того, есть ли у реки Брод дно, какая там температура (если дно все-таки есть) и какова вероятность существования на этом существующем под вопросом дне морской звезды. На протяжении еледующих семи лет они расторгали свой брак тридцать семь раз, но неизбежно заключали его вновь, постоянно удлиняя список обетов. Они разводились дважды, когда Иосифу было двадцать два, а Саре двадцать, четырежды, когда им было двадцать пять и двадцать три соответственно, и восемь раз — абсолютный рекорд для одного года, — когда ему было тридцать, а ей двадцать восемь. В свой последний брак они вступили в возрасте шестидесяти и пятидесяти восьми, всего за три недели до того, как Сара умерла от разрыва сердца, а Иосиф утопился в ванной. Их брачный контракт и по сей день висит на дверях дома, в котором они то жили, то не жили, — начинаясь у верхней перекладины двери и заканчиваясь над надписью ШАЛОМ на половике у входа:

> С чувством бесконечной преданности мы, Иосиф и Сара Л, вновь соединяем себя священными узами брака, клянясь в любви до гроба, признавая, что звезды — это серебряные шляпки гвоздей на небосводе, независимо от того, есть ли у реки Брод дно, какая там температура (если дно все-таки есть) и какова вероятность существования на этом существующем под вопросом дне морской звезды, не обращая внимания на пятна, оставшиеся от виноградного сока, разлитого случайно или намеренно, соглашаясь никогда больше не вспоминать, что Иосиф остался играть с мальчишками в прятки, хотя

обещал сидеть с Сарой у прялки, мотая пряжу для лоскутного одеяла, и что Сара собиралась подарить одеяло Иосифу, а не его дружку, полагая несущественными отдельные детали истории о повозке Трахима, как то: была то Чана или Ханна, кто первый увидел всплывшие на поверхность останки повозкикрушения, игнорируя тот очевидный факт, что Иосиф храпит, как боров, и что Сара в постели не подарок, глядя сквозь пальцы на склонность обеих сторон к слишком пристальному разглядыванию представителей противоположного пола, не гоня волну из-за того, какой Иосиф неряха, где снял одежду — там и бросил, ведь Сара ее все равно подберет, выстирает и положит на место, как ему бы следовало, или из-за того, что Сара вечно приебывается ко всякой ерунде — то ей туалетная бумага не в ту сторону раскручивается, то обедать садимся на пять минут позже, потому что, будем честны, если бы не Иосиф, не было бы ни бумаги в сортире, ни обеда на столе, не зацикливаясь на том, какой овощ полезнее — свекла или капуста, абстрагируясь от того, что у одного в башке опилки, а другая хронически мелет чепуху, пробуя вытравить память о некогда зачахшем кустике роз, который кое-кто обещал поливать, пока его жена гостила у родственников в Ровно, принимая друг друга такими, какими мы всегда были, какие есть и какими, скорее всего, останемся… да ниспошлет нам Бог неугасимой любви и крепкого здоровья, аминь.

Апокалипсис

(Полный список апокалипсисов *см.* в Приложении Я-32. Полный список сотворений бытия *см.* в Приложении Я-33.)

Конец света случался часто, да и нынче то и дело случается. Неумолимый, безжалостный, все окутывающий тьмой, конец света нам хорошо знаком, даже привычен, превращен в ритуал. Мы истово пытаемся забыть о нем в его отсутствие, примиряемся с ним, когда он

неизбежен, и встречаем его с распростертыми объятиями, когда он наконец настает, а настает он постоянно.

Еще не был рожден человек, которому досталось прожить отрезок истории без хотя бы одного конца света. В ученых кругах сегодня широко дебатируется вопрос об участи мертворожденных младенцев — можем ли мы сказать, что они прожили, избежав апокалипсисов? Этот спор, конечно же, требует пристального штудирования другого, еще более глубокого вопроса: *Что было в мире раньше — начало или конец?* Считать ли момент, когда Господь Бог подул на вселенную, сотворением или апокалипсисом? Вести ли отсчет тем семи дням в прямом или в обратном порядке? Вкусное было яблочко, Адам? И половинка червя, которую ты обнаружил в кисло-сладкой мякоти: была это голова его или хвост?

В чем же все-таки состояло преступление Янкеля Д

(*См.* Позорная бусина Янкеля Д)

Пять поколений между Брод и Сафраном

Брод родила от Колкаря троих сыновей, и всех звали Янкель. Первые двое погибли на мельнице, подобно отцу своему, став жертвой распилочного диска. (*См.* Приложение Г: Безвременные кончины.) Третий Янкель, зачатый через отверстие после изгнания Колкаря, прожил долгую и плодотворную жизнь, вместившую в себя массу впечатлений, душевных порывов и даже кое-какую житейскую мудрость, плоды которой, впрочем, до нас не дошли. Сей Янкель породил Трахимколкаря. Трахимколкарь породил Сафранброда. Сафранброд породил Трахимянкеля. Трахимянкель породил Колкарьброда. Колкарьброд породил Сафрана. Не зря же написано: *И ЕСЛИ МЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО УСТРЕМЛЕНЫ К СВЕТЛОМУ БУДУЩЕМУ, НЕ НАДЛЕЖИТ ЛИ НАМ СНАЧАЛА ЗАГЛЯНУТЬ В*

СВОЕ ПРОШЛОЕ И ПРИМИРИТЬ СЕБЯ С НИМ?

613 печалей Брод

Приводимая ниже энциклопедия печалей была обнаружена на теле Брод Д. Изначально собранные в ее дневнике, 613 печалей соответствуют 613 заповедям Торы (нашей, а не их). Напечатанное здесь — все, что удалось разобрать после того, как Брод извлекли из воды. (Промокшие страницы ее дневника опечатали печалями все ее тело. Разобрать удалось лишь малую толику [55]. Остальные 558 печалей утеряны навсегда, и можно надеяться, что за отсутствием их описания никому не придется их испытать.) Дневник, где все они были собраны, безвозвратно утерян.

ТЕЛЕСНЫЕ ПЕЧАЛИ: Печаль зеркала; Печаль оттого, что ты [похож] или не похож на своих родителей; Печаль, когда не знаешь, правильное ли у тебя тело; Печаль, когда знаешь, что у тебя [неправильное] тело; Печаль, когда знаешь, что у тебя правильное тело; Печаль красоты; Печаль кос[ме]тики; Печаль физической боли; Печаль, когда отходит отси[женная нога]; Печаль одежды [*sic*]; Печаль дрожащих ресниц; Печаль недостающего ребра; Пе[чаль] напоказ; Печаль оттого, что тебя не заметили; Печаль оттого, что твои гениталии не похожи на гениталии твоего любовника; Печаль оттого, что твои гениталии похожи на гениталии твоего любовника; Печаль рук…

ВЕТХОЗАВЕТНЫЕ ПЕЧАЛИ: Печаль Господней любви; Печаль Господней спины [*sic*]; Печаль возлюбленного сына; Печаль оттого, что ты не можешь скрыть своей пе[чали] пред ликом Божьим; Печаль от чувства, противоположного вере [*sic*]; Печаль «А что если?»; Печаль одинокого Господа в раю; Печаль Господа, которому нужны люди, которые бы на него молились…

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПЕЧАЛИ: Печаль оттого, что тебя неправильно понимают [*sic*]; Печаль иронии; Печаль н[е н]аходящей выхода любви; Печа[ль от соб]ственной сообразительности; Печаль от недостатка слов [для того, чтобы выразить то, что ты имеешь в виду]; Печаль замешательства; Печаль приру[чен]ных птиц; Печаль дочит[ываем]ой книги; Печаль от воспоминания; Печаль от давно

забытого; Беспокойная печаль…

ЛЮДСКИЕ ПЕЧАЛИ: Печаль оттого, что ты не можешь скрыть своей печали от родителей; Пе[ча]ль неискренней любви; Печаль любви [*sic*]; Печаль дружбы; Печаль неудавшегося разго[во]ра; Печаль оттого, что могло бы быть; Тайная печаль…

ПЕЧАЛЬ ИСКУССТВА И СЕКСА: Печаль мимолетности полового возбуждения; Печаль от потребности создать что-нибудь прекрасное; Печаль ануса; Печаль взглядов, встретившихся во время феллатио и куннилингуса; Печаль поцелуя; Печаль поспешности; Печаль неподвиж[но]сти; Печаль обнаженной модели; Печаль портретной живописи; Печаль единственной, достойной упоминания работы Пинхаса Т «К Праху: из Человека Ты Вышел — в Человека и Возвратишься», в которой он доказывал что теоретически жизнь и искусство могли бы поменяться местами…

Мы пишем… Мы пишем… Мы пишем… Мы пишем… Мы пишем… Мы пишем… Мы пишем… Мы пишем… Мы пишем… Мы пишем… Мы пишем… Мы пишем… Мы пишем… Мы пишем… Мы. пишем… Мы

пишем… Мы пишем… Мы пишем… Мы пишем… Мы пишем… Мы
пишем… Мы пишем… Мы пишем… Мы пишем… Мы пишем… Мы
пишем… Мы пишем… Мы пишем… Мы пишем… Мы пишем… Мы
пишем… Мы пишем… Мы пишем… Мы пишем… Мы пишем… Мы
пишем… Мы пишем… Мы пишем… Мы пишем… Мы пишем… Мы
пишем… Мы пишем… Мы пишем… Мы пишем… Мы пишем… Мы
пишем… Мы пишем… Мы пишем… Мы пишем… Мы пишем… Мы
пишем… Мы пишем… Мы пишем… Мы пишем… Мы пишем… Мы
пишем… Мы пишем… Мы пишем… Мы пишем… Мы пишем… Мы
пишем… Мы пишем… Мы пишем… Мы пишем… Мы пишем… Мы
пишем… Мы пишем… Мы пишем… Мы пишем… Мы пишем… Мы
пишем… Мы пишем… Мы пишем… Мы пишем… Мы пишем… Мы
пишем… Мы пишем… Мы пишем… Мы пишем… Мы пишем… Мы
пишем… Мы пишем… Мы пишем… Мы пишем… Мы пишем… Мы
пишем… Мы пишем… Мы пишем… Мы пишем… Мы пишем… Мы
пишем… Мы пишем… Мы пишем… Мы пишем… Мы пишем… Мы
пишем… Мы пишем… Мы пишем… Мы пишем…

24 декабря 1997года

Дорогой Джонатан,

Давай никогда больше не упоминать друг другу о наших сочинениях. Я пошлю тебе свой рассказ и умоляю (вместе с Игорьком), чтобы ты продолжал посылать мне свой, но давай не делать исправлений и даже замечаний. Давай не хвалить и не укорять. Давай вообще не судить. Мы это уже прошли.

Мы теперь, Джонатан, разговариваем вместе, а не по отдельности. Мы действуем заодно, сочиняя общий рассказ, и я уверен, что ты тоже это чувствуешь. Знаешь ли ты, что Цыганочка — это я, а Сафран — ты, и что Колкарь — я, а Брод — ты, и что твоя бабушка — я, а мой Дедушка — ты, и что Алекс — я, а ты — ты, и что я — ты, а ты — я? Или тыне уразумел, что мы способны дать друг другу безопасность и покой? Когда мы лежали под звездами в Трахимброде, разве ты этого не почувствовал? Не презентуй мне неистины. Только не мне.

А вот, Джонатан, для тебя история. Достоверная история. Вчера ночью я проинформировал Отца о том, что собираюсь отправиться в знаменитый ночной клуб. Он сказал: «Я уверен, что ты возвратишься домой с товарищем?» Если ты хочешь знать, что было у него на языке, то это была водка. «У меня нет такого намерения», — сказал я. «Вы предадитесь ну до того плотским утехам», — сказал он, смеясь. Он коснулся моего плеча, и скажу тебе, что это было как прикосновение дьявола. Я сгорал от стыда за нас. «Нет, — сказал я. — Я только собираюсь танцевать и быть среди друзей». — «Шапка, Шапка». — «Заткнись!» — сказал я ему и стиснул его запястья. Должен тебя проинформировать, что это был первый случай, когда я изрекал подобное Отцу, и это был первый случай, когда я двинулся на него с насилием. «Извини», — сказал я, отпуская его запястья. «Ты об этом пожалеешь», — сказал он. Я был счастливчик, потому что внутри него было столько водки, что ему не хватило концентрации, чтобы меня звездануть.

Конечно же, я не пошел в знаменитый ночной клуб. Как я упоминал ранее, я часто информирую Отца о том, что иду в знаменитый ночной

клуб, но потом иду на пляж. Я не иду в знаменитый ночной клуб, чтобы вложить свою валюту в коробку из-под печенья для переезда в Америку с Игорьком. Но должен тебя проинформировать, что это еще и потому, что я не люблю знаменитые ночные клубы. Я себя чувствую в них безрадостным и заброшенным. Я правильно прикладываю это слово? Заброшенным?

Вчера ночью на пляже было красиво, но меня это не удивило. Мне нравится сидеть на краю материка и чувствовать, как вода подкрадывается и открадывается. Иногда я снимаю ботинки и кладу ноги туда, куда, как мне кажется, должна дотянуться вода. Я пытаюсь думать про Америку относительно моего местонахождения на пляже. Я представляю себе линию, белую линию, нарисованную на песке и на океане, от меня к тебе.

Я сидел у кромки воды, думая о тебе и о нас, как вдруг услышал что-то. Это что-то не было водой, или ветром, или насекомыми. Я повернул голову, чтобы посмотреть, что это было. Кто-то шел в мою сторону. Это меня очень напугало, потому что мне еще не доводилось созерцать на пляже других людей, когда я там по ночам. Рядом со мной ничего не было, ничего, к чему можно было бы идти, кроме меня. Я надел ботинки и начал удаляться от незнакомца. Был ли он полиция? Полиция часто пользуется одиноко сидящими людьми в своих интересах. Был ли он преступник? Я не очень боялся преступников, потому что у них нет оружия высшей пробы и урон от них небольшой. Если только преступник не полиция. Я слышал, что незнакомец продолжает идти в мою сторону. Я пошел скороходнее. Незнакомец увеличил скорость преследования. Я больше не оборачивался для освидетельствования его личности, потому что не хотел, чтобы незнакомец узнал, что я о нем осведомлен. По звуку мне показалось, что он приближается, что он скоро меня настигнет, поэтому я побежал.

Затем я услышал: «Саша!». Я прекратил свой бег. «Саша, это ты?»

Я обернулся. Дедушка стоял согнувшись, с рукой на животе. Я видел, что он производит очень большие вдохи. «Я искал тебя», — сказал он. Я не мог понять, откуда он узнал, что меня надо искать на пляже. Как я тебя информировал, никто не знает, что я хожу на пляж по ночам. «Я здесь», — сказал я, что прозвучало странно, но я не знал, что еще сказать. Он выпрямился и сказал: «Уменя вопрос».

Это был первый случай на моей памяти, чтобы Дедушка обращался ко мне без ничего промеж нас. Без Отца, без героя, без суки, без телевизора, без еды. Одни мы. «Какой?» — спросил я, потому что ощутил, что он не сможет задать свой вопрос без моей помощи. «Мне надо что-то у тебя попросить, но ты должен уразуметь, что я прошу это взаймы, и еще ты должен уразуметь, что можешь мне отказать, и я не стану страдать или думать о тебе плохо». — «Что это?» Я не мог вообразить ничего такого, чем бы я обладал, чего бы Дедушка жаждал. Я не мог вообразить ничего такого в целом мире, чего бы Дедушка жаждал.

— Я бы хотел взять у тебя взаймы валюту, — сказал он. По правде, я загорелся стыдом. Не для того он всю жизнь горбатил, чтобы обращаться к внуку за валютой. «Я обязуюсь», — сказал я. И мне не следовало больше ничего изрекать. Пусть бы в моем «Я обязуюсь» заключалось все, что я когда-либо должен был Дедушке сказать, пусть бы оно оставалось и всеми моими вопросами, и всеми его ответами на эти вопросы, и всеми моими ответами на эти ответы. Но это было невозможно. «Зачем?» — спросил я.

— Что зачем?

— Зачем тебе валюта?

— Потому что у меня нет достаточной суммы.

— Для чего? Для чего тебе необходима валюта?

Он повернул голову в сторону воды и ничего не сказал. Может, это и был ответ? Он задвигал ногой по песку и нарисовал круг.

— Я недвусмысленен в том, что могу ее найти, — сказал он. — Четыре дня. Может быть, пять. Но больше недели на это не потребуется. Мы были совсем близко.

Мне следовало снова сказать «Я обязуюсь» и снова больше ничего не говорить. Мне следовало проявить уважение к тому, что Дедушка намного пожилее меня, а вследствие этого мудрее, а если и не мудрее, то все равно заслуживает, чтобы я не донимал его вопросами. Но вместо этого я сказал: «Нет. Мы не были близко».

— Да, — сказал он, — были.

— Нет. Нам не пяти дней не хватило, чтобы ее найти. Нам пятидесяти лет не хватило, чтобы ее найти.

— Я обязан это сделать.

— Почему?

— Тебе не понять.

— Я пойму. Я понимаю.

— Нет, ты, не сможешь.

— Гершель?

Он нарисовал еще один круг ногой.

— Тогда возьми меня с собой, — сказал я. Я не хотел этого говорить.

— Нет, — сказал он.

Я жаждал сказать это снова: «Возьми с собой», ноя знал, что он снова ответит «Нет», а я не думаю, что смог бы услышать «нет» и не заплакать, а я знаю, что мне нельзя плакать в виду Дедушки.

— Тебе не надо принимать решение прямо сейчас, — сказал он. — Я не ждал, что ты будешь решать скороходно. Я предвижу, что ты скажешь «нет».

— Почему ты думаешь, что я скажу «нет»?

— Потому что ты не понимаешь.

— Понимаю.

— Нет, не понимаешь.

— Возможно, я скажу «да».

— Я готов отдать тебе все, что ты жаждешь, из моего имущества. Оно будет твоим, пока я не возвращу тебе валюту, что будет скоро.

— Возьми меня с собой, — сказал я, и я опять не хотел говорить этого, но оно просыпалось у меня изо рта, как пожитки из повозки Трахима.

— Нет, — сказал он.

— Пожалуйста, — сказал я. — Со мной будет менее емкотрудно. Я могу быть очень полезен.

— Я обязан найти ее сам, — сказал он, и с той минуты я был уверен, что если дам Дедушке валюту и позволю ему уйти, я никогда больше его не увижу.

— Возьми Игорька.

— Нет, — сказал он. — Сам. — Пауза. А потом: — Отца не информируй.

— Разумеется, — сказал я, потому что, конечно, я бы не стал информировать Отца.

— Это должно быть нашей тайной.

Его последняя фраза особенно отпечаталась в моем лобном месте. Пока он ее не изрек, мне не приходило в голову, что у нас есть тайна. Промеж нас было что-то, о чем больше никто в мире не знает и не может знать. Теперь мы разделяем тайну, а не она нас.

Я проинформировал его, что дам свой ответ вскорости.

Я не знаю, как поступить, Джонатан, и жажду, чтобы ты сообщил мне, что, по твоему мнению, правильно. Я знаю, что правильных вещей может быть больше, чем одна. Их может быть две. Их может вообще не быть. Я приму во внимание твои соображения. Это я обещаю. Но я не могу пообещать, что гармонизирую. Есть вещи, которые ты не можешь знать. (К тому же я уже, конечно, приму решение к тому времени, когда ты получишь это письмо. Мы ведь постоянно общаемся в утраченном времени.)

Я неглупый человек. Я знаю, что Дедушка никогда не сумеет возвратить валюту. Это знаменует, что я не сумею переместить нас с Игорьком в Америку. Наши мечты не могут существовать одновременно. Я такой молодой, а он такой состарившийся, и оба эти факта должны были бы сделать каждого из нас заслуживающим своей мечты, но это невозможно.

Я уверен, что ты сейчас изречешь. Ты изречешь: «Давай я дам тебе валюту». Ты изречешь: «Ты можешь возвратить ее, когда она у тебя появится, а можешь не возвращать никогда, и я не напомню». Я знаю, что ты это изречешь, потому что знаю, что ты хороший человек. Только это неприемлемо. Я не могу взять у тебя валюту по той же причине, по которой Дедушка не может взять меня с собой в поездку. Это вопрос выбора. Ты можешь это понять? Пожалуйста, попробуй. Ты единственный человек, который всегда понимал меня с полуслова, но я тебе скажу, что и я единственный человек, который всегда понимал тебя с полуслова.

Остаюсь в предвкушении получения твоего письма.

Бесхитростно,

Александр

Увертюра к иллюминации

К ТОМУ ВРЕМЕНИ, когда мы вернулись в отель, было уже так поздно, что почти рано. Отелевладелец сидел за стойкой регистрации, тяжелый от сна. «Водка, — сказал Дедушка. — Нам следует выпить, всем троим». — «Четверым», — внес поправку я, указывая пальцем на Сэмми Дэвис Наимладшую, от которой мы хоть и опухли, но незлокачественно. Поэтому все вчетвером мы двинулись к отельному бару. «Возвращены, — сказала официантка, как только нас засвидетельствовала. — И опять с евреем». — «Закрой пасть», — сказал Дедушка, но не так, чтобы полопались барабанные перепонки, а тихо, как будто необходимость держать пасть закрытой была делом само собой разумеющимся. «Я извиняюсь», — сказала она. «Это пустяк», — сообщил ей я, потому что не хотел, чтобы она почувствовала себя низкопробнее из-за такой незначительной ошибки, и еще потому, что когда она наклонялась, мне была видна ее грудь. (Для кого я это написал, Джонатан? Не хочу больше быть отвратительным. И смешным тоже больше быть не хочу.) «Это не пустяк, — сказал Дедушка. — И теперь ты должна просить у еврея о снисхождении». — «Что происходит? — спросил герой. — Почему мы не проходим?» — «Приноси извинения», — сообщил Дедушка официантке, которая была совсем девочка, моложе даже меня. «Я извиняюсь за то, что назвала вас евреем», — сказала она. «Она извиняется за то, что назвала тебя евреем», — сообщил я герою. «Откуда она узнала?» — «Она узнала, потому что я сказал ей об этом раньше, за завтраком». — «Ты сказал ей, что я еврей?» — «Тогда этот факт был к месту». — «Я пил мокачино». — «Должен тебя поправить. Не мокачино, а кофе». — «Что он говорит?» — спросил Дедушка. «Возможно, будет лучше, — сказал я, — если мы обзаведемся столиком и закажем побольше спиртного, а также еды». — «А что она еще про меня говорила? — спросил герой. — Говорила она еще что-нибудь? У нее сиськи видны, когда она наклоняется». (Так ты и сказал, если помнишь. Это не я изобрел, и обвинений в свой адрес не принимаю.)

Мы преследовали официантку до нашего столика, который был в углу. Мы могли обзавестись любым столиком, потому что были эксклюзивными посетителями. Я не знаю, почему она посадила нас в

угол, хотя и догадываюсь. «Что я могу для вас приобрести?» — спросила она. «Четыре водки, — сказал Дедушка. — Одну из них в миске. И есть у вас что-нибудь из еды без мяса?» — «Арахис», — сказала она. «Это великолепно, — отозвался Дедушка. — Только не для Сэмми Дэвис Наимладшей, потому что она от него очень болеет. Достаточно ей лизнуть один — и кошмар». Я проинформировал об этом героя, потому что подумал, что это покажется ему забавным. Он едва улыбнулся.

Когда официантка возвратилась с нашими напитками и миской арахиса, мы уже обсуждали прошедший день и строили планы на завтрашний. «Он должен быть на вокзале не позднее 19:00 вечера, да?» — «Да, — сказал я. — Поэтому мы будем стремиться отбыть из отеля в ланч, чтобы быть на стороне безопасности». — «Возможно, у нас будет время еще немного поискать». — «Я в этом далеко не уверен, — сказал я. — И где мы будем искать? Ничего нет. Осведомиться не у кого. Ты помнишь, что она сказала». Герой не обращал на нас никакого внимания и даже ни разу не спросил, о чем мы беседуем. Он был общителен исключительно с арахисом. «Без него было бы намного легче», — сказал Дедушка, сдвигая глаза в сторону героя. «Но ведь это его поиск», — сказал я. «Почему?» — «Потому что это его дедушка». — «Мы ищем не его дедушку. Мы ищем Августину. А она такая же его, как и наша». В таком ключе я об этом не думал, но это была правда. «О чем вы говорите? — спросил меня Джонатан. — И не мог бы ты попросить у официантки еще орехов».

Я сообщил официантке, чтобы она доставила нам еще арахиса, и она сказала: «Я доставлю, хотя отелевладелец требует, чтобы никто не получал больше одной миски арахиса. Но вас я сделаю исключением, потому что чувствую себя отвратительно после того, как назвала еврея евреем». — «Спасибо, — сказал я. — Но вы напрасно чувствуете себя отвратительно». — «Так что насчет завтра? — спросил Джонатан. — Мне нужно быть в поезде ровно в 7:00, так?» — «Правильно». — «Что мы будем делать до этого?» — «Я не преисполен уверенности. Мы должны отбыть очень рано, потому что тебе надо быть на вокзале за два часа до выдвижения поезда, а на дорогу требуется три часа, и это в том случае, если мы не потеряемся». — «Тебя послушать, так выезжать надо прямо сейчас», — сказал он и засмеялся. Я не засмеялся, потому что знал, что, по правде, причина нашего раннего отбытия была не в

оправданиях, которые я ему представил, а в том, что искать нам больше было нечего. Мы потерпели неудачу.

«Давайте расследуем НА СЛУЧАЙ», — сказал Дедушка. «Что?» — спросил я. «Коробку. Давайте посмотрим, что внутри». — «Ты не думаешь, что это плохая идея?» — «Конечно, нет, — сказал он. — Почему бы ей быть плохой?» — «Возможно, нам следует позволить Джонатану провести следствие конфиденциально, а может, там вообще не надо расследовать». — «Она это презентовала ему с целью». — «Я знаю, — сказал я, — но, возможно, эта цель не имеет отношения к расследованию. Возможно, цель в том, чтобы она навсегда осталась закрытой». — «Тебе нелюбознательно?» — спросил он меня. «Мне очень любознательно». — «О чем вы, ребята?» — «Порадует ли тебя расследование НА СЛУЧАЙ?» — «Что ты имеешь в виду?» — «В коробке, которую тебе презентовала сегодня Августина. Мы бы могли там поискать». — «Ты думаешь, это хорошая идея?» — «Я не уверен. Я задал идентичный вопрос». — «Не вижу, почему бы ей быть плохой. В том смысле, что она ведь мне ее зачем-то дала». — «Именно это изрек и Дедушка». — «Ты не думаешь, что есть хотя бы один серьезный довод против?» — «Ни одного не предвижу». — «И я тоже». — «Но». — «Но что?» — «Но ничего», — изрек я. «Но что?» — «Но ничего. Тебе решать». — «И тебе». — «Да сделайте уже этой коробке факинг-открытие», — сказал Дедушка. «Он говорит сделать этой коробке факинг-открытие». Джонатан удалил коробку из-под стула и расположил ее на столе. НА СЛУЧАЙ было написано у нее сбоку, и в близости было очевидно, что слова эти много раз писали и стирали, писали, стирали и писали вновь. «Мммм», — сказал он и сделал жест в направлении красной ленты, намотанной на коробку. «Это только чтобы она оставалась закрытой», — сказал Дедушка. «Это только чтобы она оставалась закрытой», — сообщил я ему. «Возможно», — сказал он. «Или, — сказал я, — чтобы предостеречь нас от ее экзаменации». — «Она ничего не говорила про то, что ее нельзя экзаменовать. Она бы что-нибудь сказала, ты не думаешь?» — «Полагаю, что так». — «Твой Дедушка думает, что нам следует ее открыть?» — «Да». — «А ты?» — «Я не уверен». — «Что значит, ты не уверен?» — «Я думаю, ничего страшного не произойдет, если мы ее откроем. Она бы что-нибудь изрекла, если б ей важно было оставить ее нерасследованной». — «Откройте уже эту факинг-коробку», — сказал Дедушка. «Он говорит,

чтобы мы открыли эту факинг-коробку».

Джонатан сдвинул ленту, намотанную вокруг НА СЛУЧАЙ много раз, и открыл крышку. Возможно, мы предвкушали обнаружить там бомбу, потому что когда она не взорвалась, мы были фраппированы. «Можно жить», — сказал Джонатан. «Можно жить», — сообщил я Дедушке. «А я что говорил, — сообщил он мне. — Я же и говорил, что можно жить». Мы заглянули в коробку. Внутри нее были вещи, похожие на те, что мы уже лицезрели в ОСТАНКАХ, только их было больше. «Конечно, нам надлежало ее открыть», — сказал Джонатан. Он посмотрел на меня и засмеялся, и потом я засмеялся, и потом Дедушка засмеялся. Мы смеялись, потому что поняли, что напрасно наложили в штаны перед тем, как открыть коробку. И еще мы смеялись, потому что многого пока не знали, и мы знали, что многого пока не знаем.

«Давайте искать», — сказал Дедушка и запустил руку в коробку, помеченную НА СЛУЧАЙ, как ребенок в коробку с подарками. Он раскопал ожерелье. «Смотрите», — сказал он. «Я думаю, это жемчуг, — сказал Джонатан. — Настоящий жемчуг». Жемчуг (если это действительно был жемчуг) был весь в грязи и пожелтел, и между жемчужинами, как остатки еды между зубами, застряла грязь. «Он выглядит очень состарившимся», — сказал Дедушка. Я сообщил об этом Джонатану. «Да, — гармонизировал он. — И грязным. Могу поспорить, что его зарывали». — «Что значит зарывали?» — «Клали в землю, как покойника». — «Да, я об этом знаю. То же было и с кольцом из коробки ОСТАНКИ». — «Точно». Дедушка подержал ожерелье над пламенем свечи на нашем столике. На жемчуге (если это действительно был жемчуг) был налет, и он не переливался. Дедушка попробовал отчистить жемчужины большим пальцем, но они не отчистились. «Красивое ожерелье, — сказал он. — Почти такое же я купил твоей бабушке, когда мы только полюбили друг друга. Прошло много лет, но я помню, как оно выглядело. Тогда на него ушла вся моя валюта, как такое забыть?». — «Где оно теперь? — спросил я. — Дома?» — «Нет, — сказал он. — Оно по-прежнему на бабушке. Оно больше не вещь. Как она и хотела». Он положил ожерелье на стол, и я ощутил, что, вопреки ожиданию, оно не ввергло его в меланхолию, но сделало очень удовлетворенным человеком. «Теперь ты», — сообщил он мне и звезданул по спине, хоть и не в целях насилия, но больно. «Он говорит, что мне следует что-нибудь выбрать», — сообщил я Джонатану, чтобы

посмотреть, как он отнесется к тому, что у нас с Дедушкой те же привилегии на расследование коробки, что и у него. «Вперед», — сказал он. И я погрузил руку в НА СЛУЧАЙ.

Я ощутил много абнормальных вещей, но не смог определить, каких именно. Хоть мы об этом и не договаривались, одним из правил нашей игры было не лицезреть внутрь коробки, пока мы там шарили. Некоторые вещи, которых коснулась моя рука, были гладкими, как мрамор или как камушки с пляжа. Другие вещи, которых коснулась моя рука, были холодными, как металл, или теплыми, как мех. Было много разных бумаг. Это было ясно и без освидетельствования. Но я не мог знать, были ли эти бумаги фотографиями, или записками, или страницами из книг и журналов. Я извлек то, что извлек, потому что это была самая большая вещь в коробке. «Вот», — сказал я и вынул что-то бумажное, свернутое в трубочку и завязанное белой ниткой. Я удалил нитку и развернул бумагу на столе. Джонатан держал ее за один конец, а я держал за другой. КАРТА МИРА, 1791, — было помечено на ней. Хотя формы материков выглядели незначительно измененными, мир был похож на тот, каким мы его знаем сегодня. «Это вещь высшей пробы», — сказал я. Такая карта стоит много сотен, а если повезет, то и тысяч долларов. Но что важнее, в ней сохранилась память о временах, когда наша планета еще не стала маленькой. Я подумал, что когда эта карта была изготовлена, можно было всю жизнь прожить в одном месте, не подозревая, что существуют другие. Это навело меня на мысль о Трахимброде и о том, как Листа, которую нам так хотелось считать Августиной, никогда не слышала об Америке. Вполне возможно, умозаключил я, что она последний человек на земле, который не слышал об Америке. А если и нет, все-таки приятно так думать. «Обожаю», — сообщил я Джонатану и должен сознаться, что не заметил, как я ему это сообщил. Помню только, что обожал. «Можешь взять ее себе», — сказал он. «Ты это не по правде». — «Бери. На здоровье». — «Ты не можешь мне ее отдать. Предметы из коробки должны оставаться вместе», — сообщил я ему. «Бери, бери, — сказал он. — Она твоя». — «Ты уверен?» — спросил я, потому что не желал обременять его необходимостью презентовать ее мне. «Однозначно. Будет тебе трофей из нашего путешествия». — «Трофей?» — «На память». — «Нет, — сказал я. — Я отдам ее Игорьку, если это тебе не противоречит», — потому что я знал, что карта была из тех вещей,

которые Игорек тоже заобожает. «На здоровье, — сказал Джонатан. — Пусть это будет его трофеем».

«Ты», — сообщил я Джонатану, потому что теперь была его очередь покопаться в НА СЛУЧАЕ. Он отвернул голову в сторону от коробки и погрузил в нее руку. Много времени ему не потребовалось. «Вот», — сказал он и извлек из коробки книгу. Он положил ее на стол. Она выглядела старой. «Что это?» — спросил он. Я сдвинул пыль с обложки. Никогда раньше мне не доводилось свидетельствовать книг, подобных этой. Обе обложки были испещрены записями, а когда я сделал ее открытой, то увидел, что записи были и на изнанке обложек, и разумеется, на каждой странице. Можно было подумать, что книга не уместилась в книге. Вдоль по переплету значилось по-украински: *Книга Былых Явлений*. Я сообщил об этом Джонатану. «Прочти мне что-нибудь из нее», — сказал он. «Начало?» — «Все равно, не имеет значения». Я раскрыл книгу посередине и выбрал абзац посреди страницы. Это было очень трудно, но я переводил на английский по мере чтения. «Штетл был многоцветен поступками его жителей, — сообщил ему я. — И поскольку все цвета были использованы, невозможно было ощутить, с чем управился человек, а к чему приложила руку природа. Ходили слухи, что Гецель Г переиграл на всех скрипках (хотя он понятия не имел, как на них играть), потому что их струны были одного цвета с его пальцами. Перешептывались, будто Гейша Р пытается стать гимнасткой. Вот отчего линия Еврейско/Общечеловеческого раскола была желтой, как ее руки. И когда пурпур на лице школьницы по ошибке связали с пурпуром на пальцах святоши, школьницу стали обзывать нехорошими словами». Он завладел книгой и осмотрел ее, а я сообщил Дедушке о прочитанном. «Это восхитительно», — сказал Джонатан, и я должен сознаться, что он осматривал книгу так же внимательно, как Дедушка экзаменовал фотографию Августины.

(Воспринимай это как мой подарок тебе, Джонатан. И так же, как я спасаю тебя, ты мог бы спасти Дедушку. Осталось всего каких-нибудь два абзаца. Пожалуйста, попробуй найти другой выход.)

«Теперь вы», — сказал Джонатан Дедушке. «Он говорит, что теперь ты», — сообщил я ему. Он отвернул голову от коробки и погрузил в нее руку. Мы были как трое детей. «Здесь так много вещей, — сообщил он мне. — Я не знаю, какую взять». — «Он не знает,

какую взять», — сообщил я Джонатану. «Нам на все время хватит», — сказал Джонатан. «Может, эту, — сказал Дедушка. — Нет, лучше эту. Она мягкая и приятная на ощупь. Нет, эту. В ней даже есть что-то движущееся». — «Нам на все время хватит», — сообщил я ему, потому что, вспомни, Джонатан, в какой части нашего повествования мы находимся. Мы по-прежнему думали, что обладаем временем. «Вот, — сказал Дедушка и извлек фотографию. — Э-э, ничего особенного. Не повезло. На ощупь я думал, это что-то совсем другое».

Он положил фотографию на стол, не проэкзаменовав ее. Я тоже не стал ее экзаменовать, потому что умозаключил, что мне незачем. Дедушка был прав: в ней не было ничего особенного. В коробке наверняка хранилась еще сотня подобных фотографий. Беглый взгляд, которым я ее окинул, не выявил ничего абнормального. На ней было три или четыре человека. «Теперь ты», — сообщил он мне, и я отвернул голову и погрузил руку. Поскольку моя голова была повернута так, чтобы не лицезреть коробку, во время расследования я лицезрел Джонатана. Что-то мягкое. Что-то шершавое. Джонатан придвинул фотографию к лицу, не потому что заинтересовался, а потому что, пока я шарил в коробке, ему больше нечего было делать. Вот что я помню. Он съел горсть арахиса и не заметил, как немного просыпалось на пол для Сэмми Дэвис Наимладшей. Он сделал миниатюрный глоток водки. На мгновение он отвернулся от фотографии. Я нащупал перо и кость. Потом я помню вот что: он опять посмотрел на фотографию. Я нащупал что-то гладкое. Что-то миниатюрное. Он отвернулся от фотографии. Опять на нее посмотрел. Отвернулся. Что-то твердое. Свеча. Что-то квадратное. Укол булавки.

«Боже мой», — сказал он и поднес фотографию к пламени свечи. Потом опустил. Потом опять поднес, но на этот раз к своему лицу, так, чтобы обозревать одновременно и меня, и фотографию. «Что он делает?» — спросил Дедушка. «Что ты делаешь?» — спросил я. Джонатан положил фотографию на стол. «Это ты», — сказал он.

Я вынул руки из коробки.

«Где я?» — «Мужчина на фотографии. Это ты». Он протянул мне фотографию. На этот раз я проэкзаменовал ее с повышенной пристальностью. «Что там?» — спросил Дедушка. На фотографии было четыре человека — двое мужчин, женщина и младенец, которого женщина держала на руках. «Тот, что слева, — сказал Джонатан. —

Вот». Он положил палец рядом с лицом мужчины, и, должен сознаться, мне ничего не оставалось, как признать, что он был на меня похож. Я увидел себя, как в зеркале. Я знаю, что это идиома, но употребляю ее здесь в прямом смысле. Я увидел себя, как в зеркале. «Что?» — спросил Дедушка. «Минуту», — сказал я и поднес фотографию к пламени свечи. Даже поза мужчины была такая же мощная, как у меня. Его щеки были, как у меня. Его глаза были, как у меня. Его волос, и губы, и руки, и ноги — все было как у меня. Нет, не как у меня — *мои*. «Скажи мне, — сказал Дедушка. — Что там?» Я презентовал ему фотографию, и написать конец этого рассказа — совершенно невозможная вещь.

Сначала он проэкзаменовал, что эта фотография изображала. Поскольку он лицезрел ее сверху вниз, так как она лежала на столе, я не мог видеть, что исполняют его глаза. Он поднял взгляд от фотографии и лицезрел Джонатана и меня, и улыбнулся. Он даже приподнял плечи, как дети иногда делают. Он сделал небольшой смех и взял со стола фотографию. Он подержал ее у лица одной рукой и подержал свечу у лица другой. Пламя сделало много теней там, где у него на коже были складки, и этих мест было гораздо больше, чем я обозревал ранее. На этот раз я мог видеть, как его глаза путешествуют туда и сюда по всей фотографии. Они останавливались на каждом человеке и освидетельствовали каждого человека с волоса до ног. Потом он снова поднял взгляд от фотографии и снова улыбнулся Джонатану и мне, и снова приподнял плечи, как ребенок.

«Это похоже на меня», — сказал я.

«Да, похоже», — сказал он.

Я не смотрел на Джонатана, потому что был уверен, что он смотрит на меня. Поэтому я смотрел на Дедушку, который расследовал фотографию, хотя я уверен, что он чувствовал, что я его лицезрею.

«В точности как я, — сказал я. — Он тоже это обозрел», — сказал я о Джонатане, потому что не хотел оставаться один на один с этим наблюдением.

(С этого места уже совсем не удается продолжать. Я много раз дописывал до этого места, и исправлял те части, которые ты заставил бы меня исправить, и придумывал новые шуточки, и новые изобретения, и писал так, как будто это ты пишешь, но сколько бы я ни упорствовал в продолжении, рука всегда дрожала так, что невозможно было удержать ручку. Сделай это ради меня. Пожалуйста. Это теперь

твое.)

Дедушка укрыл лицо за фотографией.

(И я не нахожу, что это такая уж трусливая вещь, Джонатан. Мы бы тоже укрыли свои лица, да? По правде, я уверен, что укрыли бы.)

«Мир такой маленький», — сказал он.

(Он засмеялся в этот момент, как ты помнишь, но ты не можешь включать это в рассказ.)

«Это до того на меня похоже», — сказал я.

(Здесь он положил руки под стол, как ты помнишь, но эта деталь только подчеркнет его слабость, а не достаточно ли того, что мы вообще об этом пишем?)

«Прямо как комбинация Отца, Мамы, Брежнева и тебя самого».

(Он не ошибся, запустив в этом месте шутиху. Так и следовало поступить.)

Я улыбнулся.

«Как ты думаешь, кто это?» — спросил я.

«Как *ты* думаешь, кто это?» — спросил он.

«Я не знаю».

«Не надо презентовать мне неистины, Саша. Я не ребенок».

(Но я презентую. Ты никогда не мог этого понять. Я презентую неистины, чтобы тебя защитить. По той же причине я так непреклонно стараюсь быть смешным человеком. Все ради того, чтобы тебя защитить. Я существую на случай, если понадобится прийти на твою защиту.)

«Я не понимаю», — сказал я. (Я понимаю.)

«Не понимаешь?» — спросил он. (Понимаешь.)

«Где это снято?», — спросил я. (Должно же быть какое-то объяснение.)

«В Колках».

«Ты оттуда родом?» (Ты всегда говорил Одесса… Влюбиться…)

«Да. До войны». (Вот как все обстоит. Вот как, если по правде.)

«Бабушка Джонатана?»

«Я не знаю ее имени и не хочу его знать».

(Должен проинформировать тебя, Джонатан, что я очень печальный человек. Я думаю, я всегда печальный. Возможно, это знаменует, что я никогда не печалюсь, потому что печаль — это то, что ниже твоего обычного расположения, а я всегда одно и то же. Тогда

возможно, что я единственный человек в мире, который никогда не печалится. Возможно, что я счастливчик.)

«Я не плохой человек, — сказал он. — Я хороший человек, которому выпало жить в плохое время».

«Я это знаю», — сказал я. (Даже если бы ты был плохим человеком, я бы все равно знал, что ты хороший.)

«Ты должен проинформировать его обо всем, о чем я тебя сейчас проинформирую», — сказал он, и это меня очень удивило, но я не спросил, почему, и вообще ничего не спросил. Я сделал так, как он распорядился. Джонатан открыл дневник и начал писать. Он записал каждое слово, которое было произнесено. Вот что он записал:

«Все, что я сделал, я сделал потому, что считал, что так правильно».

«Все, что он сделал, он сделал потому, что считал, что так правильно», — перевел я.

«Я не герой, это правда».

«Он не герой».

«Но я и не плохой человек».

«Но он не плохой человек».

«Женщина на фотографии — это твоя бабушка. Она держит на руках твоего отца. Человек, стоящий рядом со мной, — это был наш лучший друг, Гершель».

«Женщина на фотографии — это моя бабушка. Она держит на руках моего отца. Человек, стоящий рядом с Дедушкой, — это был его лучший друг, Гершель».

«Гершель на фотографии в ермолке, потому что он был еврей».

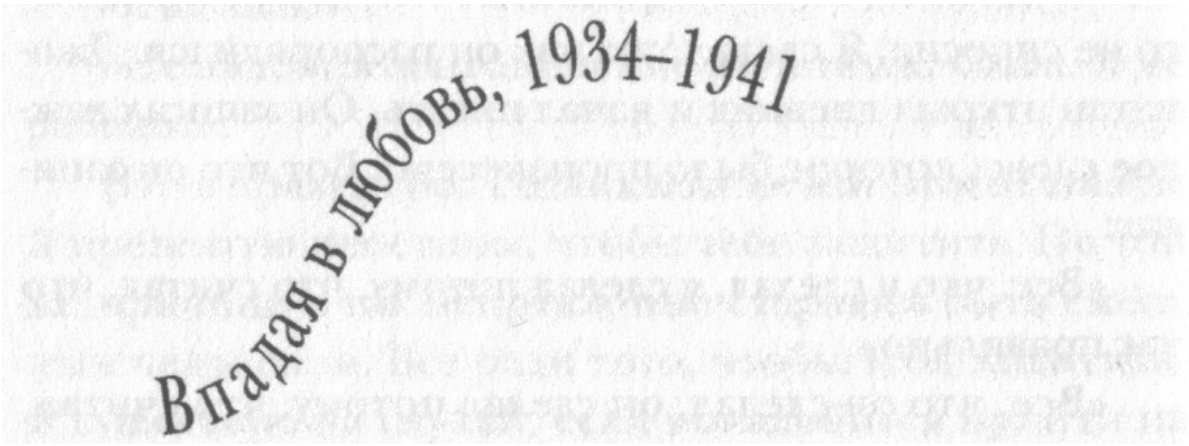
«Гершель был еврей».

«И он был моим лучшим другом».

«Он был его лучшим другом».

«И я убил его».

Впадая в любовь, 1934—1941



В ДЕНЬ ИХ ПОСЛЕДНЕГО соития — за семь месяцев до того, как она наложила на себя руки, а он сочетался браком с другой — Цыганочка спросила у дедушки, как он расставляет книги.

Только к ней он всегда возвращался сам, не дожидаясь, пока его об этом попросят. Они встречались на ярмарке (он наблюдал, дрожа от предвкушения и гордости, как она завораживает змей в плетеной корзине подвыпившими звуками своей флейты). Они встречались в театре или у входа в ее крытую соломой лачугу в цыганском таборе на другом берегу Брод. (Ей, конечно, нельзя было показываться возле его дома.) Они встречались на деревянном мосту, или под деревянным мостом, или неподалеку от каскада небольших водопадов. Но все чаще — в окаменевшей чаще Радзивельского леса, обмениваясь новостями и шутками, веселясь с полудня и до заката, предаваясь любви (которая, возможно, и не была любовью) под балдахином из гранита.

Правда, я замечательная? — спросила она однажды, привалившись к стволу окаменевшего клена.

Нет, — сказал он.

Почему?

Потому что замечательных много. Можно не сомневаться, что сегодня сотни мужчин назвали своих возлюбленных замечательными, а ведь еще только полдень. Ты не как все.

Ты хочешь сказать, что я незамечательная?

Да.

Она дотронулась пальцами до его мертвой руки. *Ты считаешь, что я некрасивая?*

Ты неслыханно некрасивая. Тебе до красивых, как до луны.

Она расстегнула его рубашку. *Я сообразительная?*

Нет. Уж точно, нет. Никогда бы этого не сказал.

Она опустилась на колени, чтобы расстегнуть его брюки.

Я сексуальная?

Нет.

Смешная?

Ты не смешная.

Хорошо так?

Нет.

Нравится?

Нет.

Она расстегнула свою кофточку. Она прижалась к нему.

Мне продолжать?

Оказалось, что она бывала в Киеве, Одессе и даже Варшаве. Когда ее мать слегла от смертельной болезни, она целый год прожила среди Дымков Ардишта. Она рассказала ему, как плавала на корабле по местам, о которых ему раньше не доводилось слышать, и хоть он и понимал, что все это выдумки, шитые белыми нитками неистины, все равно кивал, стараясь убедить себя в их убедительности, стараясь верить каждому ее слову, понимая, что в основе любого рассказа — разлука, а ему хотелось, чтобы она всегда была рядом.

В Сибири, — говорила она, — *есть люди, которые занимаются любовью за сотни миль друг от друга, а в Австрии есть принцесса, которая вытатуировала у себя на теле портрет возлюбленного, чтобы, подходя к зеркалу, на него любоваться, а по другую сторону Черного моря есть каменная женщина — сама я не видела, но видела моя тетя, — так вот, она ожила, потому что ее полюбил скульптор.*

Сафран приносил Цыганочке цветы и шоколад (дары его вдов) и посвящал ей стихи, над которыми она всегда смеялась.

Надо же быть таким дураком! — говорила она.

Почему дураком?

Потому что то, что тебе ничего бы не стоило подарить, ты даришь так редко. Цветы, стихи и шоколад ничего для меня не значат.

Они тебе не нравятся?

Когда от тебя — нет.

А что бы тебе хотелось от меня?

Она пожала плечами, но не от растерянности, а от смущения. (Он был единственный человек на свете, способный ее смутить.)

Где ты книги хранишь? — спросила она.

У себя в комнате.

Где в комнате?

На полках.

В каком порядке они расставлены?

Какое тебе дело?

Мне важно знать.

Она была цыганкой. Он евреем. Когда она брала его за руку на людях (он знал, что она знает, что он этого не выносит), он немедленно находил руке занятие — пригладить волосы, указать на то место, где его пра-пра-пра-прадедушка высыпал на берег монеты из мешка, точно золотую блевотину, — а затем убирал руку в карман, избегая неловкости.

Знаешь, что мне сейчас просто необходимо, — сказала она, беря его мертвую руку в свою во время прогулки по воскресной ярмарке.

Скажи — и оно твое. Все, что пожелаешь.

Поцелуй меня.

Сколько угодно и куда угодно.

Сюда, — сказала она, кладя указательный палец себе на губы. — *Сейчас.*

Он кивнул в сторону ближайшей аллеи.

Нет, — сказала она. *Поцелуй меня сюда,* — кладя палец себе на губы. — *Здесь.*

Он засмеялся. *Сюда?* Он приложил палец к своим губам. *Здесь?*

Сюда, — сказала она, кладя палец себе на губы. — *Здесь.*

Они засмеялись вместе. Нервный смех. Сначала короткие смешки. Хи плюс ха. Смех погромче. Умножение. Еще громче. Возведение в квадрат. Захлебывающийся смех. Неуправляемый смех. Яростный. Бесконечный.

Я не могу.

Я знаю.

На протяжении семи лет Дедушка и Цыганочка занимались любовью, как минимум, два раза в неделю. Они исповедались во всех

своих тайнах; как смогли, объяснили друг другу устройство своих тел; бывали волевыми и безвольными, жадными и щедрыми, говорунами и молчунами.

В каком порядке ты расставляешь книги? — спросила она, когда они лежали нагишом на ложе из гальки и затвердевшей земли.

Я же тебе сказал: они стоят у меня в спальне, на полках.

Интересно, а ты можешь представить свою жизнь без меня?

Запросто. Только не хочу.

Неприятно, да?

Зачем ты?

Просто мне интересно.

Никто из его друзей (если допустить, что, кроме нее, у него были друзья) не знал о существовании Цыганочки, и никто из его бесчисленных пассий не знал о существовании Цыганочки, и родители его, конечно, не знали о существовании Цыганочки. Дедушка держал ее в такой глубокой тайне, что порой ему казалось, будто он и сам в нее не посвящен. Она знала, что он старается спрятать ее от всех, держать под замком в изолированной комнате с потайной дверью, замуровать в стену. Она знала, что даже если ему и кажется, будто он ее любит, он ее не любил.

Как ты думаешь, где ты будешь через десять лет? — спросила она, отрываясь от его груди, чтобы заглянуть в глаза.

Не знаю.

А я где буду? Их пот смешался и высох, превратившись в липкую пленку, склеивавшую их.

Через десять лет?

Да.

Не знаю, — сказал он, поигрывая ее волосами. — *Где, ты думаешь, ты будешь?*

Не знаю.

А я где буду?

Не знаю, — сказала она.

Они полежали молча, думая каждый о своем, стараясь проникнуть в мысли другого. Между ними нарастало отчуждение.

Почему ты спросила?

Не знаю, — сказала она.

Что мы вообще знаем?

Почти ничего, — сказала она, вновь опуская голову ему на грудь.

Они обменивались записочками, как дети. Дедушка составлял свои из газетных вырезок и бросал в ее плетеные корзины, куда, кроме нее, никто не рисковал запускать руку. *Вот встретимся под деревянным мостом, и я отнесу тебя туда, где ноги твоей не ступало.* «В» была вырезана из наступающих войск, которые вскоре оборвут жизнь его матери: ВРАГ НА ПОДСТУПАХ К СОВЕТСКОЙ ГРАНИЦЕ; «ОТ» — из их приближающихся эсминцев: НАЦИСТСКИЙ ФЛОТ НАНОСИТ ПОРАЖЕНИЕ ФРАНЦУЗАМ ПОД ЛЕСАКСОМ; «ЫМ» — из полуострова, на который они голубоглазели: КОЛЬЦО ВОКРУГ КРЫМА СЖИМАЕТСЯ; «СУ» — из того, что пришло слишком поздно и в недостаточном количестве: ВОЕННЫЕ СУБСИДИИ ИЗ АМЕРИКИ ДОСТИГАЮТ АНГЛИЙСКИХ БЕРЕГОВ; «ГИ» — из волчары волчар: ГИТЛЕР ПРОВОЗГЛАШАЕТ ПАКТ О НЕНАПАДЕНИИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ; и так далее, и так далее, каждая записка — коллаж из любви, которой не суждено было быть, и войны, которой суждено.

Цыганочка вырезала любовные письма на деревьях, наполняя лес своими посланиями ему. *Не оставляй меня* — на коре дерева, в тени которого они однажды заснули. *Чти меня* — на стволе окаменевшего дуба. Она составляла новый список заповедей — заповедей, которые бы они разделяли, которые вели бы их по жизни вместе, а не врозь. *Да не будет иной любви в сердце твоем, кроме как ко мне. Не поминай имени моего всуе. Не убий меня. Следуй за мной и почитай святыней.*

Через десять лет я хочу быть там же, где ты, — написал он ей, наклеив вырезки из газетных заголовков на желтый лист бумаги. *Не правда ли, хорошая мысль?*

Очень хорошая, — вырезала она на дереве у самой опушки. *Но почему только мысль?*

Потому что, — типографская краска отпечаталась на руках; он считал с себя: *десять лет — это еще так далеко.*

Нам бы пришлось убежать — по периметру кленового ствола. *Нам бы пришлось покинуть все, ради друг друга.*

Что возможно — сложил он из слогов заголовка о неотвратимости войны. *В любом случае, хорошая мысль.*

Дедушка привел Цыганочку к Времямеру и поведал ей историю трагической жизни своей пра-пра-пра-пра-бабушки, пообещав

попросить ее о помощи, когда он решится, наконец, написать правдивую историю Трахимброда. Он поведал ей о повозке Трахима и о том, как юные двойняшки Ф первыми углядели останки повозкикрушения, всплывшие на поверхность: извивающиеся змейки белых ниток, бархатную перчатку с растопыренными пальцами, пустые катушки, зашмуценное пенсне, ягоды малины и ежевики, фекалии, рюши, осколки вдребезги разбитого пульверизатора, обрывок резолюции, истекающий алой кровью чернил: *Я обязуюсь… Обязуюсь.* Она честно рассказала ему о сексуальных домогательствах отца и продемонстрировала синяки, спрятанные глубоко в ее теле. Он объяснил, почему он обрезан, и что такое Завет, и как получилось, что его народ считает себя Народом-избранником. Она сказала ему, что однажды ее изнасиловал родной дядя и что вот уже несколько лет, как она могла бы зачать. Он сказал ей, что всегда мастурбирует при помощи мертвой руки, потому что так ему легче вообразить, будто он занимается не онанизмом, а любовью. Она сказала, что всерьез задумывалась о самоубийстве, как будто это был выход. Он открыл ей самую темную из своих тайн: в отличие от других мальчиков, повзрослев, он не утратил любви к своей матери, не утратил ни на йоту, и, пожалуйста, не смейся надо мной за то, что сейчас скажу, и не думай обо мне плохо, но за один ее поцелуй я все готов отдать в этом мире. Цыганочка заплакала, и когда дедушка спросил ее, почему, она не сказала: *Я ревную тебя к твоей матери. Я хочу, чтобы ты меня так же любил,* — а только улыбнулась без слов: как глупо. Она сказала, что хотела бы добавить на скрижали еще одну, одиннадцатую заповедь: *Не изменяйся.*

Несмотря на все любовные связи, несмотря на всех женщин, начинавших раздеваться при одном взгляде на его мертвую руку, друзей, кроме Цыганочки, у него не было, и хуже наказания, чем остаться без нее, он вообразить не мог. Она была единственной, кто был вправе утверждать, что знает его досконально, единственной, о ком он начинал скучать не только, когда они разлучались, но уже в преддверии разлуки. Она была единственной, кому нужно было больше, чем обладания одной лишь его рукой.

Я тебя не люблю, — сказал он ей однажды вечером, когда они лежали нагишом на траве.

Она поцеловала его в бровь и сказала: *Я знаю. Как и ты, я уверена,*

знаешь, что я не люблю тебя.

Конечно, — сказал он, хоть это и явилось откровением (не то, что она его не любит, а то, что об этом говорит). За семь лет занятий любовью он так часто слышал эти слова: из уст вдов и детей, от проституток, подруг семьи, путешественниц, распутных жен. Он и моргнуть не успевал, а они уже говорили: *Я люблю тебя. Чем сильнее любишь кого-то,* — пришел к выводу он, — *тем труднее об этом сказать.* Его удивляло, что случайные прохожие не останавливают друг друга на улице со словами *Я люблю тебя.*

Мои родители собираются меня женить, — сказал он.

На ком?

Ее зовут Зоша. Она из нашего штетла. Мне ведь уже семнадцать.

И ты ее любишь? — спросила она, глядя в сторону.

Он разобрал свою жизнь на крошечные составляющие, обследовал каждую с внимательностью часовщика и вернул все на место.

Я ее почти не знаю. Он тоже избегал смотреть ей в глаза, потому что его, как Пинчера П, который стал бездомным из благотворительности, роздав все до последнего гроша нищим, глаза выдавали с потрохами.

Ты сделаешь, как они хотят? — спросила она, рисуя на земле круги своим смуглым пальцем.

У меня нет выбора, — сказал он.

Конечно.

Она не могла заставить себя посмотреть на него.

Ты будешь очень счастлив, — сказала она. — *Ты всегда будешь счастлив.*

Зачем ты?

Затем, что ты счастливчик. Счастье само идет к тебе в руки.

Перестань, — сказал он. — *Ты несправедлива.*

Я хочу с ней познакомиться.

Нет, не хочешь.

Нет, хочу. Как ее зовут? Зоша? Я очень хочу познакомиться с Зошей, чтобы, сказать ей, что она будет счастлива. Вот счастливица. Небось, красавица.

Не знаю.

Ты же видел ее. Видел?

Да.

Значит, знаешь, красивая она или нет. Красивая?

Пожалуй.

Красивее меня?

Прекрати.

Я должна быть на свадьбе, чтобы все увидеть самой. Не на венчании, конечно. Цыганочке в синагогу нельзя. Но хоть на обеде. Ты ведь меня пригласишь на обед. Пригласишь?

Ты знаешь, что это невозможно, — сказал он, отворачиваясь.

Да, я знаю, что это невозможно, — сказала она, сознавая, что в своей жестокости зашла слишком далеко.

Это невозможно.

Я же сказала: я знаю.

Ты должна мне поверить.

Я верю.

Они предались любви в последний раз, не подозревая, что на протяжении последующих семи месяцев не обмолвятся ни словечком. Сколько раз он будет проходить мимо нее, а она — мимо него (они продолжали наведываться в одни и те же места, бродить одними и теми же тропами, засыпать в тени одних и тех же деревьев), не подавая и вида, что знакомы. Обоим страстно хотелось вернуться на семь лет назад, к их первой встрече в театре, и прожить все заново, только теперь *не* заметить друг друга, *не* заговорить, *не* уйти, держась за руки (его мертвая рука в ее живой), по лабиринту непролазных троп, мимо кондитерских лотков у старого кладбища, вниз по линии Еврейско/Общечеловеческого раскола и дальше, дальше, во тьму. Семь месяцев они не замечали друг друга на ярмарке, и возле Времямера, и у фонтана распростертой русалки, и уже было уверились, что смогут не замечать друг друга и впредь, везде и всегда, что стали совсем чужими, но когда однажды вечером, возвращаясь с работы, он увидел ее выходящей из дверей своего дома, оказалось, что это не так.

Что ты здесь делаешь? — спросил он, больше боясь, что она открыла тайну их связи — или отцу, который, несомненно, его поколотит, или матери, для которой это будет ударом, — а вовсе не из желания узнать, зачем она приходила.

Твои книги расставлены по цвету корешков, — сказала она. — *Какая глупость.*

Он вспомнил, что мать сейчас в Луцке, где она всегда была в это

время суток по вторникам, а отец умывается за домом. Сафран прошел в свою комнату, желая убедиться, что ничего не нарушено. Его дневник по-прежнему лежал под матрасом. Книги стояли рядками, корешок к корешку, по цвету. (Одну он снял с полки, чтобы чем-нибудь занять руки.) Мамина фотография стояла на столике у кровати все под тем же углом. Не было никаких оснований думать, что она к чему-либо притрагивалась. Он обшарил кухню, кабинет и даже уборные — там тоже могли остаться ее следы. Но нет, ничего. Ни случайного волоса. Ни отпечатков пальцев на зеркале. Ни записочек. Все в идеальном порядке.

Он прошел в спальню родителей. Безупречные прямоугольники подушек. Водная гладь туго натянутых простыней. Комната выглядела так, будто в ней уже много лет ни к чему не прикасались — как если бы после чьей-нибудь смерти ее хотели сохранить в неприкосновенности, как капсулу времени. Он не знал, какой по счету раз она приходила. У нее спросить он не мог, потому что они уже давно не разговаривали, и у отца спросить он не мог, потому что тогда пришлось бы во всем признаться, и у матери спросить он не мог, потому что это ее убило бы, а значит, и его убило бы, а какой бы невыносимой ни казалась наступившая жизнь, он был не готов свести с ней счеты.

Он побежал к дому Листы П — единственной любовницы, которая заставляла его мыться. *Открой,* — сказал он, привалившись головой к двери. — *Это Сафран. Открой.*

Было слышно, как, шаркая, кто-то направляется к входу.

Сафран? — это оказалась мать Листы.

Здравствуйте, — сказал он. — *Листа дома?*

Листа у себя в комнате, — сказала она, восхищаясь про себя тем, какой он все-таки славный. — *Можешь подняться.*

Что случилось? — спросила Листа, завидев его на пороге. Она показалась ему намного старше по сравнению с тем, какой была три года назад в театре, и это заставило его задуматься, кто из них на самом деле изменился: он или она. *Входи,* — сказала она. — *Вот, садись. Что с тобой?*

Мне так одиноко, — сказал он.

Ты не одинок, — сказала она, прижимая его голову к своей груди.

Одинок.

Нет, не одинок, — сказала она. — *Тебе только так кажется.*

Когда кажется, что одинок, значит, одинок. В этом суть одиночества.

Давай я что-нибудь тебе приготовлю.

Мне не хочется есть.

Тогда выпей чего-нибудь.

Мне не хочется пить.

Она принялась массировать его мертвую руку и вспомнила, как прикасалась к ней в последний раз. Рука притягивала ее к себе не потому, что была мертва, а потому, что была непознаваема. Непостижима. Даже полюбив, он не смог бы отдать ей всего себя без остатка. Им нельзя было обладать целиком, и он никем обладать целиком не мог. Эта невозможность страсти и пробуждала в ней страсть.

Ты женишься, Сафран. Мне утром пришло приглашение. Тебя это волнует?

Да, — сказал он.

Ну, тогда могу тебя успокоить. Перед свадьбой все волнуются. Я волновалась. И я знаю, что муж мой тоже. Но ведь Зоша такая хорошая.

Я ее ни разу не видел, — сказал он.

А я говорю — хорошая. И красивая вдобавок.

Ты думаешь, она мне понравится?

По-моему, да.

А я смогу ее полюбить?

Все возможно. В любви никогда не угадаешь, но шанс, безусловно, есть.

Ты меня любишь? — спросил он. — *Любила когда-нибудь? Хотя бы в тот вечер, с кофе.*

Не знаю, — сказала она.

Ты думаешь, есть шанс, что любила?

Он коснулся ее лица своей здоровой рукой, спустился по щеке к шее и затем под воротник блузки.

Нет, — сказала она, отстраняя его руку.

Нет?

Нет.

Но мне этого хочется. Честно. Не ради тебя.

Потому-то и нет, — сказала она. — *Я бы никогда не смогла этим*

заниматься, если бы думала, что ты этого хочешь.

Он опустил голову ей на колени и заснул. В тот вечер, прежде чем уйти, он дал Листе книгу, которую зачем-то принес из дома (*Гамлета* в лиловом переплете) — он снял ее с полки, чтобы чем-нибудь занять руки.

Насовсем? — спросила она.

Когда-нибудь вернешь.

Ничего этого дедушка и Цыганочка не знали, занимаясь любовью в последний раз: он трогал ее лицо, мял нежную мякоть под подбородком, как тот самый скульптор, что оживил статую. *Так?* — спросил он. Взмах ее ресниц пощекотал ему грудь. Бабочки ее поцелуев вспорхнули над его телом, над шеей, над левой мочкой уха — примостились как раз туда, где мочка переходит в скулу. *Так?* — спросила она. Он стащил через голову ее синюю кофточку, расстегнул бусы, слизал пот с ее гладких подмышек, и пробежал пальцами от шеи к пупку. Ее соски цвета жженого сахара он обвел языком в кружочек. *Так?* — спросил он. Она кивнула и изогнулась. Теперь он теребил ее соски языком, сознавая, что все неправильно, все — от рождения до этого момента — сложилось в его жизни не так, но не с точностью до наоборот, а хуже: почти как надо. Двумя руками она расстегнула его ремень. Он приподнял ягодицы, давая ей возможность стянуть с себя брюки и трусы. Она взяла его член в свою руку. Ей так хотелось доставить ему удовольствие. Она была убеждена, что он никогда не получал удовольствия. Она хотела, чтобы свое первое и единственное наслаждение он получил с ней. *Так?* Он положил свою руку поверх ее руки и показал, как надо. Она сняла юбку и трусики, взяла его мертвую руку и сжала ее между ног. Густые черные волосы на ее лобке переплелись волнообразными завитками. *Так?* — спросил он, хотя она же и водила его рукой, точно дух по доске во время спиритического сеанса. Они служили друг другу проводниками по лабиринтам собственных тел. Она ввела в себя его мертвые пальцы, потеряв на мгновение чувствительность, точно в параличе. Смерть пронзила ее насквозь. *Сейчас?* — спросил он. — *Сейчас?* Она легла на него, обхватив его ноги своими. Она вложила член в его мертвую руку и направила к цели. *Так хорошо?* — спросил он. — *Так хорошо?*

Семь месяцев спустя, 18 июня 1941 года, когда первые налеты немецких бомбардировщиков озарили небо над Трахимбродом

электрическими разрядами, когда дедушка испытал свой первый оргазм (первое и единственное наслаждение, которому не она была причиной), она полоснула по запястью ножом, затупившимся от вырезания любовных посланий. Но тогда, там, над его спящей головой, лежавшей под ее бьющимся сердцем, она не раскрыла своих планов. Она не сказала: *Скоро твоя свадьба.* И не сказала: *Я собираюсь покончить с собой.* А только: *Как ты расставляешь книги?*

26января 1998

Дорогой Джонатан,

Я обещал, что больше никогда не упомяну о сочинительстве, потому что думал, что мы это прошли. Но я должен нарушить свое обещание.

Я мог бы возненавидеть тебя! Почему ты не разрешишь своему дедушке полюбить Цыганочку и не скрывать своей любви к ней? Кто приказывает тебе писать в таком духе? У нас есть такие возможности делать добро, но ты снова и снова настаиваешь на зле. Я отказался читать твой самый новейший раздел Игорьку, потому что не счел его достойным его ушей. Нет, этот раздел я презентовал Сэмми Дэвис Наимладшей, которая поступила с ним подобающе.

Я хочу поставить простой вопрос, а именно: у тебя все дома? Если твой дедушка любит Цыганочку, а я уверен, что любит, почему он не уходит вместе с ней? Она могла бы сделать его таким счастливым. Но он отвергает счастье. Это неразумно, Джонатан, и это нехорошо. Если бы я был писателем, я бы заставил Сафрана открыть Цыганочке свою любовь и увезти ее в Гринвич штетл в Нью-Йорк-сити. Или я бы заставил Сафрана убить себя, что тоже было бы правильно, хотя тогда ты бы не родился, а это знаменовало бы, что этот рассказ не мог быть написан.

Ты трус, Джонатан, и ты разочаровал меня. Я никогда бы не приказал тебе написать рассказ в полном соответствии с действительностью, но я приказал бы тебе сделать этот рассказ исполненным веры. Ты трус по той же причине, по которой Брод — трусиха, и Янкель — трус, и Сафран — трус; все твои родственники трусы! Вы все трусы, потому что живете в мире, который «удален от того, где существуют все остальные», если мне будет позволено тебя процитировать. У меня нет никакого почтения ни к кому из вашей семьи, кроме твоей бабушки, потому что все вы находитесь в непосредственной близости от любви и все ее отрицаете. Я прилагаю валюту, отпочтованную тобой в последний раз.

Конечно, я, в некоторых смыслах, понимаю, что ты пытаешься исполнить. Такая вещь, как любовь, которая не может быть,

несомненно существует. Если бы, для примера, мне надо было проинформировать Отца о том, как я разумею любовь и кого я желаю любить, он бы меня убил, и это не идиома. Мы все выбираем за и выбираем против. Я бы хотел быть человеком, который выбирает за чаще, чем он выбирает против, но подобно Сафрану и подобно тебе я обнаруживаю, что из раза в раз выбираю против того, что считаю хорошим и правильным, и против того, что считаю стоящим. Я выбираю, что я не обязан, вместо того, чтобы выбрать, я обязуюсь. Все это нелегко сформулировать.

Я не дал Дедушке денег, но по другой причине, чем та, что предложил ты. Он не удивился, когда я его известил. «Я горжусь тобой», — сказал он.

«Но ведь ты хотел, чтобы я их тебе дал», — сказал я.

«Очень, — сказал он. — Яуверен, что мог бы ее найти».

«Как же ты можешь тогда гордиться?»

«Я горжусь тобой, а не собой».

«Ты не сердишься на меня?»

«Нет».

«Я не хочу тебя разочаровывать».

«Я не сержусь и не разочарован», — сказал он.

«Тебе грустно оттого, что я не даю тебе денег?»

«Нет. Ты хороший человек, который совершает хорошую и правильную вещь. Это дает мне удовлетворение».

Отчего же тогда я чувствовал, что совершил ничтожный и трусливый поступок, что я ничтожный трус? Позволь мне объяснить, отчего я не дал Дедушке своих денег. Это не потому, что я приберегаю их для себя, чтобы поехать в Америку. От этого сна я пробудился. Я никогда не увижу Америки, и Игорек не увидит, теперь я это понимаю. Я не дал Дедушке денег, потому что не верю в Августину. Нет, это не то, что я имею в виду. Я не верю в Августину, которую ищет Дедушка. Женщина на фотографии жива. Я в этом уверен. Но я так же уверен, что она не Гершель, как хотелось бы Дедушке, и не моя бабушка, как хотелось бы Дедушке, и не Отец, как хотелось бы Дедушке. Если бы я дал ему денег, он бы ее нашел и увидел бы, кто она на самом деле, и это бы его убило. Я не выражаюсь метафорически. Это бы его убило.

Но только это была безвыигрышная ситуация. Между тем, что было возможно, и тем, чего нам хотелось, нечего было выбирать. И

здесь я должен сообщить тебе ужасную весть. Четыре дня назад Дедушка умер. Он перерезал себе руки. Была уже глубокая ночь, и мне не спалось. Из ванной доносился шум, поэтому я пошел его расследовать. (Теперь, когда я в доме за старшего, мне приходится следить за тем, чтобы все работало.) Я нашел Дедушку в ванне, полной крови. Я велел ему перестать спать, потому что еще не понял, что происходит. «Проснись!» Затем я встряхнул его с насилием, а затем ударил по лицу. У меня даже рука заболела, так я ему вмазал. Я ударил его снова. Не знаю, почему, но ударил. Если начистоту, я никогда никого до этого не бил, только бывал битым. «Проснись!» — закричал я ему и ударил снова, только теперь по другой стороне лица. Но я знал, что он не проснется. «Ты слишком много спишь!» Мой крик разбудил маму, и она прибежала в ванную. Ей пришлось силой оттаскивать меня от Дедушки, и позже она сказала мне, что она думала, будто это я его убил — по тому, как я его колотил и какой у меня был взгляд. Мы изобрели рассказ про недоразумение со снотворным. Вот что мы сообщили Игорьку, чтобы ему никогда не пришлось знать правды.

Ну и насыщенный получился вечер. Столько произошло, и столько еще происходит, и столько еще произойдет. Впервые в жизни я сказал Отцу ровно то, что думал, как и тебе сейчас, впервые в жизни скажу ровно то, что думаю. Как и у него, прошу у тебя прощения.

С любовью,

Алекс

Иллюминация

«ГЕРШЕЛЬ присматривал за твоим отцом, когда мне нужно было отлучиться по делу или когда твоя бабушка болела. Она всегда болела, а не только под конец жизни. Гершель присматривал за малышом и держал его на руках, как своего собственного. Он даже называл его сыном».

Я сообщал все это Джонатану по мере того, как Дедушка сообщал это мне, и он все записал в дневник. Он записал:

«Своей семьи у Гершеля не было. Он был не очень общителен. Он очень любил читать, а также писать. Он был поэт и декламировал мне многие из своих стихов. Некоторые я помню. Я бы назвал их наивными, сплошь про любовь. Вечно он сидел в своей комнате, сочиняя стихи, избегал людей. Бывало, я ему говорил: Какой прок от любви, когда она на бумаге? Я сказал: Позволь любви что-нибудь на тебе написать. Но он был такой упрямый. А может, просто застенчивый».

«Вы были его друзьями?» — спросил я, хотя Дедушка уже сказал, что он был другом Гершеля.

«Он нам однажды сказал, что мы были его единственными друзьями. Мы с бабушкой. Бывало, он приходил к нам ужинать и иногда оставался запоздночь. Мы даже отпуск совершали вместе. Когда родился твой отец, мы все трое его выгуливали. Когда ему что-то было нужно, он приходил к нам. Когда у него были неприятности, он приходил к нам. Однажды он спросил у меня, можно ли ему поцеловать твою бабушку. С какой стати? — спросил я его, и это сделало меня разгневанным человеком, не на шутку разгневанным из-за того, что он пожелал ее поцеловать. Потому что я боюсь, сказал он, что я так никогда и не поцелую женщины. Гершель, сказал я, но ведь ты даже не пытаешься».

(Он был влюблен в бабушку?)

(Я не знаю.)

(Но такая вероятность была?)

(Такая вероятность была. Он смотрел на нее и цветы приносил в качестве подарков.)

(Тебя это расстраивало?)

(Я их обоих любил.)

«Он поцеловал ее?»

«Нет, — сказал он. (И ты вспомни, Джонатан, как он в этом месте засмеялся. Это был короткий, беспощадный смех.) — Он был слишком застенчивый, чтобы кого-нибудь поцеловать, даже Анну. Не думаю, что между ними что-нибудь было».

«Он был твоим другом», — сказал я.

«Он был моим лучшим другом. Тогда все было иначе. Евреи, не евреи. Мы все еще были молоды, и впереди у нас было так много жизни. Кто знал? (Мы не знали, — вот что я пытаюсь сказать. Откуда нам было знать?)

«О чем знать?» — спросил я.

«Кто знал, что мы живем на острие иглы?»

«Иглы?»

«Однажды Гершель ужинает с нами и поет песни для твоего отца, которого держит на руках».

«Песни?»

(Здесь он спел песню, Джонатан, и я знаю, как тебя услаждает вставлять в повествование песни, но ты не можешь этого от меня требовать. Как я ни старался вытравить эту песню из моего лобного места, она всегда там. Я застаю себя напевающим ее во время ходьбы, и на занятиях в университете, и перед сном.)

«Но мы были очень глупые люди, — сказал Дедушка, и вновь проэкзаменовал фотографию, и улыбнулся. — Такие глупые».

«Почему?»

«Потому что мы во многое верили».

«Во что?» — спросил я, потому что не знал. Я не понимал.

(Почему ты задаешь так много вопросов?)

(Потому что ты чего-то недоговариваешь.)

(Мне очень стыдно.)

(Тебе незачем стыдиться, когда я поблизости. Семья — это люди, которые никогда не должны стыдить тебя.)

(Ты ошибаешься. Семья — это люди, которые должны стыдить тебя, если ты этого заслуживаешь.)

(А ты этого заслуживаешь?)

(Заслуживаю. Я пытаюсь тебе рассказать.) «Мы были глупые, — сказал он, — потому что во многое верили».

«Что же тут глупого?»

«Потому нет в мире таких вещей, в которые стоит верить».

(Любовь?)

(Любви нет. Только конец любви.)

(Добро?)

(Не будь дураком.)

(Бог?)

(Если Бог существует, в Него не следует верить.)

«Августина?» — спросил я.

«Мне почудилось, что это та самая вещь, — сказал он. — Но я ошибся».

«Возможно, ты не ошибся. Мы не смогли ее найти, но это еще не знаменует того, что в нее следует верить».

«Какой прок в том, что ты не можешь найти?»

(Скажу тебе, Джонатан, что на этом месте нашего разговора мы были уже не Алекс и Алекс, не дедушка и внук. Мы уступили место двум другим людям, которые могли лицезреть друг другу прямо в глаза и изрекать вещи, которые не изрекают. Когда я слушал его, я слушал не Дедушку, а кого-то другого, кого-то, с кем я раньше никогда не встречался, но кого знал лучше, чем Дедушку. И человек, который слушал этого человека, был не я, а кто-то другой, кто-то, кем я раньше никогда не был, но кого знал лучше, чем себя самого.)

«Расскажи мне еще», — сказал я.

«Еще?»

«Гершель».

«Это как если бы он был членом нашей семьи».

«Расскажи мне, что произошло? Что произошло с ним?»

«С ним? С ним и со мной. Это произошло со всеми, можешь не сомневаться. Если я не еврей, это вовсе не значит, что со мной этого не произошло».

«Чего именно?»

«Надо было выбирать и надеяться, что выберешь меньшее зло».

«Надо было выбирать, — сообщил я Джонатану. — И надеяться, что выберешь меньшее зло».

«И я выбрал».

«И он выбрал».

«Что он выбрал?»

«Что ты выбрал?»

«Когда они захватили наш город…»

«Колки?»

«Да, только не говори ему. Незачем ему говорить».

«Мы могли бы пойти туда утром».

«Нет».

«Возможно, это пошло бы на пользу».

«Нет, — сказал он. — Моих призраков там нет».

(У тебя есть призраки?)

(Конечно, у меня есть призраки.)

(На что твои призраки похожи?)

(Они на изнанках моих век.)

(Мои призраки обитают там же.)

(И у тебя есть призраки?)

(Конечно, у меня есть призраки.)

(Но ведь ты еще дитя.)

(Я не дитя.)

(Но ведь ты еще не познал любви.)

(Это и есть мои призраки, пустоты в любви.)

«Ты мог бы нам это показать, — сказал я. — Ты мог бы взять нас туда, где когда-то жил и где когда-то жила его бабушка».

«Зачем, — сказал он. — Эти люди ничего для меня не значат».

«Его бабушка».

«Я не хочу знать ее имени».

«Он говорит, что незачем возвращаться в город, откуда он родом, — сообщил я Джонатану. — Он ничего для него не значит».

«Почему он ушел?»

«Почему ты ушел?»

«Потому что я не хотел, чтобы твой отец рос так близко от смерти. Я не хотел, чтобы он знал о ней, жил с ней. Вот почему я никогда не проинформировал его о том, что случилось. Я так хотел, чтобы он жил хорошей жизнью, без смерти, без выбора, без позора. Но должен тебя проинформировать, что я не был хорошим отцом. Я был наихудшим отцом. Я жаждал оградить его от всего, что было плохо, а вместо этого так много плохого ему привил. Отец всегда в ответе за сына. Ты должен понять».

«Я не понимаю. Я ничего из этого не понимаю. Не понимаю, как ты можешь быть из Колков и почему я раньше об этом не знал. Не

понимаю, почему ты с нами поехал, если знал, как близко мы окажемся. Не понимаю, что у тебя за призраки. Не понимаю, как твоя фотография попала в коробку Августины».

(Ты помнишь, что он после этого сделал, Джонатан? Он еще раз проэкзаменовал фотографию, потом снова положил ее на стол, а потом сказал: Гершель был хороший человек, и я тоже, и именно поэтому все, что произошло — неправильно, все — от начала и до конца. И тогда я спросил его: но что же, что же произошло? Он, как ты помнишь, возвратил фотографию в коробку и стал рассказывать. Именно так. Положил фотографию в коробку и все нам рассказал. Он больше не избегал встречаться с нами глазами и ни разу не убрал руки под стол. Я убил Гершеля, сказал он. Во всяком случае, то, что я сделал, это все равно как если бы я его убил. Что ты имеешь в виду? — спросил его я, потому что сказанное обладало необычайной мощью. Нет, это неправда. Гершеля и так бы убили, с моей помощью или без, но это все равно, как если бы я его убил. Что произошло? — спросил я. Они пришли в самое темное время ночи. Они только что ушли из другого места и после пойдут еще в одно. Они знали, что делали, они действовали очень логически. Я особенно ясно помню, как задрожала кровать, когда пришли танки. Что это? Что это? — спросила Бабушка. Я поднялся с постели и проэкзаменовал через окно. Что ты увидел? Я увидел четыре танка, и я помню их во всех подробностях. Там было четыре зеленых танка и люди, которые шли рядом. Я вам скажу, что у людей были автоматы, и они держали на прицеле наши двери и окна на случай, если кто-нибудь попробует убежать. Было темно, но я это увидел. Ты испугался? Я испугался, хотя знал, что они не за мной пришли. Откуда ты это знал? Мы про них знали. Все знали. Гершель знал. Мы только не думали, что это произойдет с нами. Я же тебе сказал, мы во многое верили, мы были такие безмозглые. А потом? А потом я сказал Бабушке, чтобы она взяла малыша, твоего отца, и отнесла его в погреб, и чтобы не производила шума, но и не паниковала, потому что они не за нами пришли. А потом? А потом они остановили все свои танки, и я был такой дурак, что на мгновение подумал, будто все кончилось, будто они решили вернуться в Германию и окончить войну, потому что войну никто не любит, даже те, кто в ней уцелел, даже победители. Но? Но они, конечно, этого не решили, они всего лишь остановили танки перед синагогой, и они вышли из своих танков, и стали двигаться логическими

шеренгами. Генерал с русыми волосами приложил к лицу микрофон и заговорил по-украински он сказал что все должны прийти к синагоге все без единого пропуска. Солдаты били прикладами в каждую дверь и расследовали в домах чтобы удостовериться что все пришли к синагоге я сообщил Бабушке чтобы она вернулась наверх с малышом потому что я боялся что они обнаружат их в подвале и застрелят за то что прятались. Гершель подумал я Гершелю надо спасаться как он может спастись он должен бежать немедленно бежать во тьму возможно он уже убежал возможно он услышал танки и убежал но когда мы прибыли к синагоге я увидел Гершеля и он увидел меня и мы встали рядом потому что перед лицом зла и любви друзья поступают именно так. Что сейчас будет спросил он меня и я сказал ему что не знаю что сейчас будет и если по правде ни один из нас не знал что сейчас будет хотя все мы знали что будет зло. Солдатам понадобилось так много времени чтобы закончить расследование в домах им было очень важно удостовериться что все были перед синагогой. Мне так страшно сказал Гершель я думаю я сейчас заплачу. Почему спросил я почему незачем плакать нет никакого повода плакать но я вам скажу что мне тоже хотелось плакать и мне тоже было страшно но не за себя а за Бабушку и за малыша. Что они сделали? Что произошло дальше? Они сделали нас в шеренги и Анна была рядом со мной с одной стороны а Гершель с другой несколько женщин плакали и это потому что они были очень напуганы автоматами которые держали солдаты и еще потому что они думали что всех нас сейчас убьют. Генерал с голубыми глазами приложил к лицу микрофон. Вы должны слушать внимательно сказал он и делать все что вам приказывают а не то вас застрелят. Мне очень страшно шепнул мне Гершель и я хотел сказать ему беги у тебя больше шансов если ты побежишь сейчас темно беги у тебя нет шансов если ты не побежишь но я не мог ему этого сказать потому что боялся что меня застрелят за разговоры и еще потому что не хотел соглашаться со смертью Гершеля признавая что нужно быть храбрым я сказал с наименьшей объемностью какую был способен произвести сейчас тебе необходимо быть храбрым и теперь-то я знаю как глупо было это изрекать большей глупости я не изрекал в своей жизни быть храбрым ради чего? Кто тут раввин спросил Генерал и раввин поднял руку. Двое из охранников схватили раввина и втолкнули в синагогу. Кто тут кантор спросил Генерал и кантор поднял руку только он не был таким же

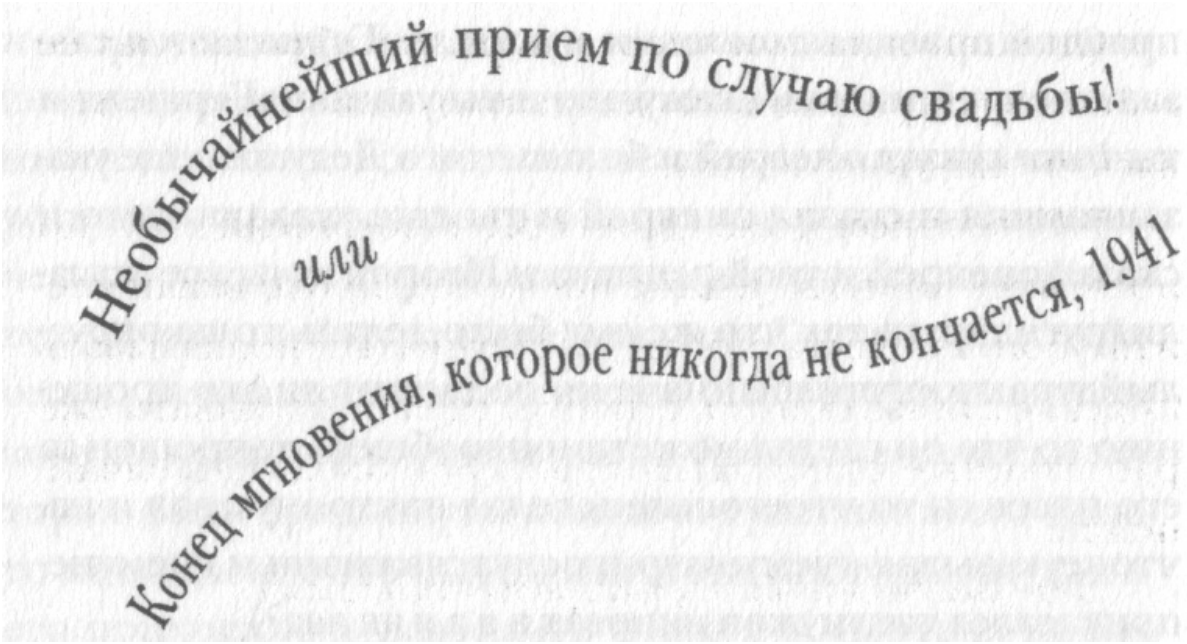
покорным смерти как раввин он плакал и говорил нет своей жене нет нет нетнетнет и она протянула к нему руки и двое охранников схватили ее и тоже поместили в синагогу. Кто тут евреи спросил Генерал в микрофон всем евреям выдвинуться вперед но ни один человек не выдвинулся вперед. Все евреи должны выдвинуться вперед сказал он опять только на этот раз прокричал но снова ни один человек не выдвинулся вперед и я вам скажу что если бы я был еврей я бы тоже не выдвинулся вперед Генерал подошел к первой шеренге и сказал в микрофон или вы укажете на еврея или сами будете считаться евреем первый к кому он подошел был еврей по имени Абрам. Кто тут еврей спросил его Генерал и Абрам задрожал Кто тут еврей снова спросил Генерал и приложил пистолет к голове Абрама Арон еврей Арон и он указал пальцем на Арона который был во втором ряду а это как раз там где и мы стояли. Двое охранников схватили Арона но он очень сопротивлялся и они выстрелили ему в голову и тогда я почувствовал как рука Гершеля коснулась моей. Делайте как вам приказывают закричал в микрофон Генерал со шрамом на лице а не то. Он подошел к следующему человеку в шеренге который был моим другом Лео и сказал кто тут еврей и Лео указал пальцем на Абрама и сказал этот человек еврей прости Абрам двое охранников взяли Абрама под охрану и отвели в синагогу женщина из четвертого ряда бросилась бежать с малышом на руках но Генерал крикнул что-то по-немецки на этом наиужаснейшем чудовищном уродливом отвратительном гнусном злобном языке и один из охранников выстрелил ей в затылок и они втащили ее в синагогу вместе с младенцем который был еще жив. Генерал подошел к следующему в шеренге и к следующему и каждый указывал пальцем на еврея потому что никто не хотел быть убитым один еврей указал пальцем на своего двоюродного брата а другой на себя потому что не хотел указывать на других. Они взяли под охрану и отвели в синагогу Даниэля и Талию и Луиса всех евреев какие были но по какой-то причине которую мне не узнать на Гершеля никто не указал возможно это потому что я был его единственным другом и он был не очень общительным и многие люди даже не знали о его существовании только я знал что на него можно указать а может быть это потому что было так темно что его уже не было видно. Очень скоро он остался единственным евреем за пределами синагоги Генерал был теперь во втором ряду и сказал какому-то мужчине потому что он спрашивал

только мужчин я уж не знаю почему кто тут еврей и мужчина сказал они все в синагоге потому что не знал Гершеля или не знал что Гершель был еврей Генерал выстрелилемувголову и я почувствовал как рука Гершеля слегка коснулась моей и я запретил себе смотреть на него Генерал подошел к следующему человеку кто тут еврей спросил он и этот человек сказал они все в синагоге поверьте мне я не вру зачем мне врать хоть всех их убейте мне-то какое дело только пожалуйста пощадите меня пожалуйста не убивайте меня пожалуйста и тогда Генерал выстрелилемувголову и сказал мне это начинает надоедать и подошел к следующему мужчине в шеренге и это был я кто тут еврей спросил он и я снова почувствовал руку Гершеля и я знаю что его рука говорила пожалуйстапожалуйста Эли пожалуйста я не хочу умирать пожалуйста не указывай на меня ты же знаешь что со мной будет если ты на меня укажешь не указывай на меня я боюсь умирать я так боюсь умирать я такбоюсьумирать ятакбоюсьумирать кто тут еврей снова спросил меня Генерал и другой рукой я почувствовал Бабушкину руку и я знал что она держит на руках твоего отца а он держит на руках тебя а ты держишь на руках своих детей я так боюсь умирать я так боюсьумирать ятакбоюсьумирать ятакбоюсьумирать и я сказал он еврей кто еврей спросил Генерал и Гершель обхватил мою руку с огромной силой он был моим другом он был моим лучшим другом я бы разрешил ему поцеловать Анну и даже переспать с ней но я это я а моя жена это моя жена и мой ребенок это мой ребенок ты понимаешь что я тебе говорю и я указал пальцем на Гершеля и сказал он еврей этот человек еврей пожалуйста сказал мне Гершель и он плакал скажи им что это неправда пожалуйста Эли пожалуйста двое охранников схватили его и он не сопротивлялся но он плакал пуще и отчаяннее и он кричал скажи им что больше евреев нет большеевреевнет и что ты только сказал что я еврей чтобы тебя не убили я умоляю тебя Эли тыжемойдруг не дай мне умереть я так боюсь умирать ятакбоюсьумирать все будет о'кей сказал я ему все будет о'кей не делай этого сказал он сделай что-нибудь сделай что-нибудь сделайчтонибудь сделайчтонибудь все будет о'кей все будет о'кей кому я это говорил сделай что-нибудь Эли сделайчтонибудь я так боюсьумирать я такбоюсь ты же знаешь что они собираются сделать тыжемойдруг сказал я ему хотя и не знаю зачем я тогда это сказал и охранники поместили его в синагогу с остальными евреями а все остальные стояли снаружи чтобы услышать крикимладенцев и

плачстариков и увидеть черную искру от первой спички зажженной юношей который едва ли был старше меня или Гершеля или тебя она иллюминировала тех кто не был внутри синагоги кому не предстояло умирать и он бросил ее на ветки которые были придвинуты к синагоге ужаснее всего было то какмедленно это было и как огонь многораззатухал и его приходилось разводить снова я посмотрел на Бабушку и она поцеловаламенявлоб а я поцеловалееврот и наши слезысмешалисьнанашихгубах а потом я много раз поцеловалтвоегоотца я взял его под охрану у Бабушки и прижалксебестакойсилой что он начал плакать я сказал я люблю тебя я люблю тебя я люблю тебя я люблю тебя я люблютебя я люблютебя я люблютебя я люблютебя ялюблютебя ялюблютебя ялюблютебя ялюблютебя ялюблютебя ялюблютебяялюблютебяялюблютебяялюблютебя и я знал что теперь я должен все изменить все бросить и я знал что не смогу допустить чтобы он узнал кемябыл и чтоясделал потому что это ради него я сделал то чтосделал это ради него я указал пальцем и ради него был убит Гершель ради него я убил Гершеля и вот почему он такой какой есть он такой какой есть потому что отец всегда в ответе за сына и я это я и явответе не за Гершеля а за своего сына потому что я прижал его к себе стакойсилойчтоонзаплакал потому что я так сильно его любил что сделаллюбовьневозможной и мне жалко тебя и жалко Игорька и это вам надлежит меня простить он сказал нам все эти вещи и Джонатан куда нам с этим теперь что нам делать с тем что мы знаем Дедушка сказал что я это я но это не может быть правдой правда в том что и я указалнаГершеля и я сказал оневрей и я вам скажу что и ты указалнаГершеля и ты тоже сказал оневрей и больше того Дедушка еще указалнаменя и сказал оневрей и ты еще указалнанего и сказал оневрей и твой дедушка и Игорек и мы все указалидругнадруга так что же ему было делать толькокруглыйдуракпоступилбыиначе но подлежит ли это прощению то что он сделал можетлионвообщебытьпрощен за его палец за то чтоегопалецсделал начтоонуказал и начтонеуказывал кчемуонприкоснулсявжизни и кчемуне-прикасался таклиужон виноват а я а я ая аяа?)

«А теперь, — сказал он, — нам следует сделать сон».

Необычайнейший прием по случаю свадьбы!
или
Конец мгновения, которое никогда не кончается, 1941



ДОВЕДЯ СЕСТРУ невесты, прижатую спиной к пустым винным стеллажам, до полного удовлетворения (*О мой Бог!* — выкрикивала она. — *О мой Бог!* — ее руки по локоть в несуществующем каберне), и сам оставшись полностью неудовлетворенным, Сафран натянул штаны, взбежал по свежепостроенной винтовой лестнице, скользя рукой (намеренно, старательно) по мраморным перилам, и принялся приветствовать гостей, которые только теперь начинали рассаживаться после зловещего порыва.

Где ты был? — спросила Зоша, беря его мертвую руку в свои (ей не терпелось сделать это с того дня, когда она впервые ее увидела — полгода назад, во время официального объявления об их помолвке).

Внизу. Пошел пиджак сменить.

Тебе незачем ни самому изменяться, ни пиджаки менять, — сказала она, думая, что шутка ему понравится. — *Ты для меня идеал.*

Только пиджак.

Но почему так долго?

Он кивнул на свою мертвую руку, наблюдая, как ее губки из вопрошающих складываются в утиные, готовясь чмокнуть его в щеку.

В Сдвоенном Доме царил организованный хаос. До последней минуты, и даже после нее, продолжали клеить обои, крошить салаты, застегивать и подвязывать пояса, смахивать пыль с люстр, перераскатывать уже раскатанные однажды ковры… Все было необычайнейше.

Невеста, должно быть, так радуется за мать.

На свадьбах я всегда плачу, но на этой буду реветь белугой.

Необычайнейше. Необычайнейше.

Смуглые женщины в одинаковых белых платьях еще только начинали разносить по столам тарелки с куриным бульоном, когда Менахем постучал вилкой по своему бокалу и сказал: *Прошу минуту внимания.* В комнате быстро установилась тишина, все встали, как того требовал обычай во время произнесения тоста отцом невесты, а дедушка краем глаза увидел и тут же узнал загорелую руку, которая как раз в этот миг ставила перед ним тарелку.

Говорят, времена меняются. Границы вокруг нас смещаются под напором войны; места, знакомые нам с рождения, получают новые названия; иные из наших сыновей не разделяют с нами сегодняшней радости, потому что несут свой гражданский долг; но есть и хорошая весть: мы рады объявить, что через три месяца нам доставят первый в Трахимброде автомобиль! (Новость была встречена дружным ахом, перешедшим в яростные аплодисменты.) *Так вот,* — сказал он, переходя за спины молодоженов, чтобы положить одну руку на плечо своей дочери, а другую — моего дедушки, — *позвольте мне остановить это мгновение, этот ранний вечер 18 июня 1941 года.*

Цыганочка не проронила ни слова (даже если она ненавидела Зошу, зачем портить ей свадьбу?), но прижалась к левому боку дедушки и взяла под столом его здоровую руку в свои. (Не тогда ли она подсунула ему и записку?)

Я буду носить его в медальоне у самого сердца, — продолжал гордый отец, расхаживая по комнате с пустым хрустальным фужером в руке, — *и сохраню навечно, потому что еще никогда в жизни я не был так счастлив, и готов к тому, чтобы больше не быть и вполовину таким счастливым, по крайней мере до свадьбы моей младшей дочери. В самом деле,* — сказал он, заглушая прокатившийся хохоток, — *я не*

стану роптать, даже если подобным минутам не суждено повториться до скончания времен. Пусть же этот миг длится вечно.

Дедушка сжал пальцы Цыганочки, будто хотел сказать: *Еще не поздно. Еще есть время. Мы можем убежать, все бросить, никогда не оглядываться, спастись.*

Она сжала его пальцы, будто хотела сказать: *Я тебя не простила.*

Менахем продолжал, с трудом сдерживая слезы: *Пожалуйста, поднимите заодно со мной свои пустые бокалы. За мою дочь, за моего новообретенного сына, за детей, которых они родят, за детей их детей, за жизнь!*

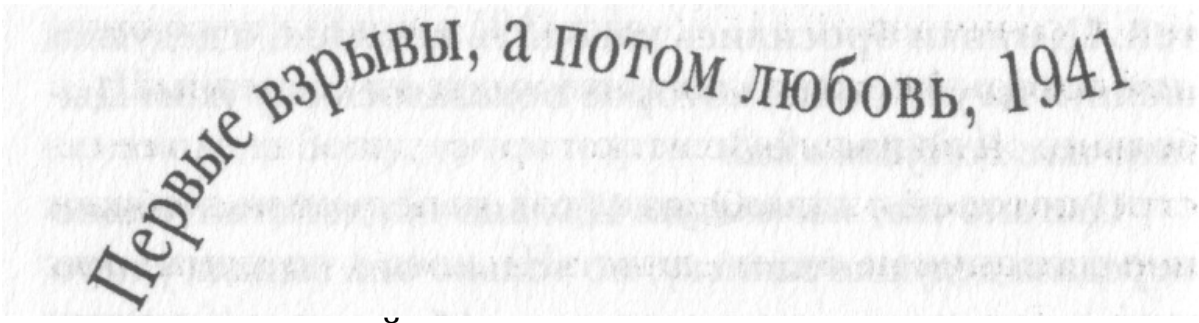
Лыхаим! — эхом отозвались шеренги столов.

Но прежде чем отец невесты успел вернуться на свое место, прежде чем бокалы смогли зазвенеть надеждой, сойдясь отраженными в них улыбками, по дому опять пронесся зловещий порыв. Таблички с именами гостей снова оказались в воздухе, и горшки с цветами снова перевернулись, на сей раз просыпав землю на белую скатерть и на колени практически каждого из гостей. Цыганки бросились наводить порядок, а дедушка шепнул на ухо Зоше, которое показалось ему ухом Цыганочки: *Все будет о'кей.*

Цыганочка, *настоящая* Цыганочка действительно передала дедушке записку, но только она выпала у него из рук, когда начался переполох, и была загнана через всю комнату под дальний угол стола (ногами Либби, Листы, Омлера, безымянного торговца рыбой), где и упокоилась под перевернутым винным бокалом, который сберег ее под своей юбкой до ночи, когда другая Цыганка подобрала бокал и смела записку (вместе с остатками упавшей еды, просыпавшейся землей и кучкой пыли) в большой бумажный пакет. Этот пакет был выставлен на крыльцо еще одной Цыганкой. Утром его подобрал страдавший навязчивыми идеями мусорщик Фейгель Б. Он отвез пакет на другую сторону реки, в поле (то самое, которое вскоре станет местом первой массовой казни в Ковеле) и спалил его вместе с дюжиной других бумажных пакетов, три четверти которых содержали остатки свадебного приема. Пальцы пламени, красные и желтые, взметнулись до неба. Соседние поля заволокло балдахином дыма, и многие из Дымков Ардишта закашялись, потому что у дыма есть много разновидностей и к каждой нужно привыкать. Небольшая часть образовавшегося пепла смешалась с землей. Остальное было смыто в Брод первым дождем.

В записке было написано: *Изменись.*

Первые взрывы, а потом любовь, 1941



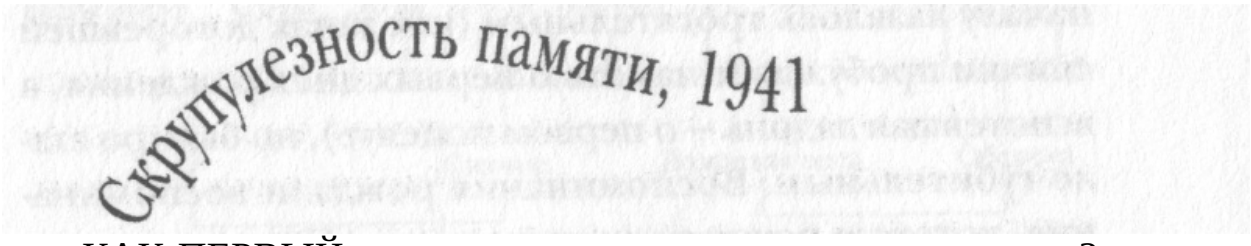
В ТУ НОЧЬ МОЙ дедушка впервые занимался любовью со своей новообретенной женой. Приступая к процессу, техника которого за годы практики была доведена им до совершенства, он думал о Цыганочке: еще раз взвесил все «за» и «против» их бегства, прикинул, сможет ли оставить Трахимброд, зная, что пути назад не будет. Он любил свою семью (маму, по крайней мере), но сколько нужно времени, чтобы перестать по ней скучать? Высказанное, это звучало ужасно, но, спрашивал он себя, разве есть в Трахимброде что-нибудь, о чем бы я жалел? Мысли, которые его занимали, были уродливы, но правдивы: если весь штетл сгинет, но Цыганочка с мамой останутся, он это переживет; все в его жизни, кроме Цыганочки и мамы, казалось лишенным смысла и не заслуживающим существования. Ему предстояло стать человеком, который потерял половину того, ради чего он жил.

Он перебрал в памяти многообразных вдов последних семи лет своей жизни: занавешенные зеркала Голды Р, кровь Листы П, не для него сбереженную. Он перебрал в памяти всех девственниц и не ощутил ничего. Бережно опуская на супружеское ложе напряженное девичье тело своей новообретенной жены, он подумал о Брод, сочинившей 613 Печалей, и о Янкеле с его бусиной позора. Убеждая Зошу, что это только в первый раз больно, он подумал о Зоше, которую едва знал, и о ее сестре, которой он пообещал, что их первое послебрачное свидание не будет единственным. Он подумал про миф о Трахиме, о том, куда исчезло его тело и откуда оно однажды возникло. Он подумал о повозке Трахима: извивающихся змейках белых ниток, бархатной перчатке с растопыренными пальцами, резолюции: *Я обязуюсь… Обязуюсь…*

А затем произошло нечто необычайное. Дом сотрясло с такой

силой, в сравнении с которой все предыдущие неприятности дня выглядели отрыжкой младенца. БАБАХ! — вдалеке. И потом ближе — БАБАХ! БАБАХ! Сквозь треснувшие доски ведущей в подвал двери хлынул свет, наполнив комнату теплым, пульсирующим сиянием от разрывавшихся в ближних холмах немецких бомб. БАБАААААХ! Зоша взвыла, охваченная страхом физической близости, войны, любви, смерти, а дедушка испытал такой небывалый прилив коитальной энергии, что когда она разрядилась (БА-БАААААААААААААХ! БА-БАААААААААААААААААААААХ! БА-БА-БА-БА-БА-БА-БАААААААААААААААААААААААХ!), когда он сорвался с нагромождения людских условностей в пропасть первородного животного восторга, когда на протяжении семи секунд вечности с лихвой возместил недоданное в более чем 2,700 случайных половых актах, когда затопил Зошу тем, что больше не имел сил сдерживать, когда выпустил во вселенную копуляционный луч света такого накала, что если бы его укротить и направить, а не посылать в пустоту, у немцев не осталось бы шансов, — он не мог поручиться, что одна из бомб не угодила прямо в их супружеское ложе, вклинившись между содрогающимся телом его новообретенной жены и его собственным телом, стерев с лица земли Трахимброд. Но когда он рухнул на каменистое дно пропасти, а семь секунд бомбардировки истекли, когда его голова уткнулась в подушку, мокрую от Зошиных слез и пропитанную его семенем, он понял, что не умер, а полюбил.

Скрупулезность памяти, 1941



КАК ПЕРВЫЙ дедушкин оргазм предназначался не для Зоши, так и бомбы, которые его спровоцировали, предназначались не для Трахимброда, а для цели где-то в Ровенских холмах. Пройдет еще девять месяцев (как ни странно, именно в День Трахима), прежде чем сам штетл станет объектом прямой атаки нацистов. Но в ту ночь воды Брод рвались на берег с таким неистовством, будто война началась, и ветер доносил до ушей раскаты взрывов, и жители штетла трепетали, как если бы их тела были живыми мишенями. С той минуты — 9:28 вечера 18 июня 1941 года — все изменилось.

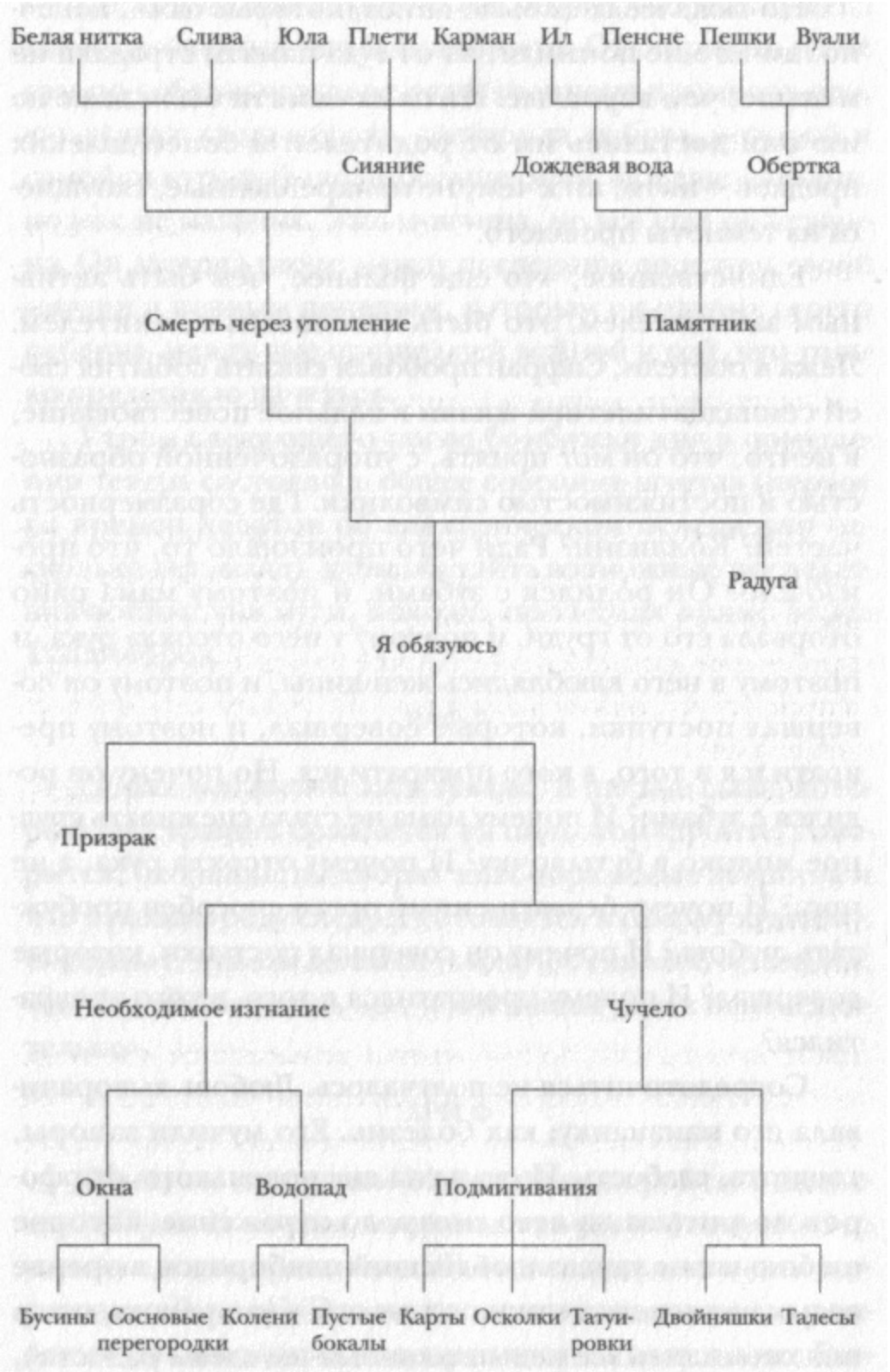
В Дымках Ардишта сигареты теперь курили задом наперед, обхватывая губами тлеющий конец вместо фильтра, чтобы их нельзя было заметить издалека.

В цыганском таборе свернули шатры, разобрали крытые соломой хибары и стали жить без прикрытия, стелясь по земле, как человеческий мох.

В Трахимброде же всех охватила необъснимая вялость. Граждане, некогда перетрогавшие столько разных вещей, что невозможно было установить, к чему они не притрагивались, теперь сидели сложа руки. Деловитость уступила место раздумьям. Воспоминаниям. Любая вещь каждому о чем-нибудь напоминала, что поначалу казалось трогательным (как запах догоревшей спички пробуждает память о первых днях рождения, а вспотевшая ладонь — о первом поцелуе), но быстро стало губительным. Воспоминания рождали воспоминания, которые рождали воспоминания. Поселяне сделались живым воплощением мифа, который им столько раз рассказывали: как сумасшедший Софьевка обвязал себя узелками, чтобы, пользуясь одним воспоминанием, вспомнить другое, но запутался в их последовательности и, сколько ни старался, так и не вспомнил, где начало, а где конец.

В попытке разобраться в хаосе воспоминаний мужчины чертили схемы (которые были не чем иным, как воспоминаниями о генеалогических деревьях). Они попробовали двигаться по цепочке назад, подобно Тезею в поисках выхода из лабиринта, но зарывались все глубже, дальше.

Женщинам было еще тяжелее. Не имея возможности утолить зуд памяти в синагоге или на рабочем месте, они были вынуждены страдать поодиночке — над противнями и кипами стираного белья. Некому было помочь им в поисках начал, не у кого было спросить, что общего между зернистой жижей протертой малины и ожогом или почему крики резвящихся в реке детей заставляют их сердца обрываться и уходить в пятки. Память, которая обычно заполняла собой время, теперь превращала его в пустоту, требовавшую заполнения. Каждая секунда была дистанцией, которую надо было пройти, проползти. От одного часа до другого пролегала целая вечность. Завтра терялось за горизонтом: чтобы добраться до него, требовались целые сутки.



Но тяжелее всех было детям, которые сами, конечно, ничего не помнили, но от зуда памяти страдали не меньше, чем взрослые. Нити их

памяти были даже не их: они достались им от родителей и более далеких предков — нити, ни к чему не прикрепленные, тянущиеся из темноты прошлого.

Единственное, что еще больнее, чем быть активным забывателем, это быть пассивным помнителем. Лежа в постели, Сафран пробовал связать события своей семнадцатилетней жизни в цельное повествование, в нечто, что он мог понять, с упорядоченной образностью и постижимостью символики. Где соразмерность частей? Коллизии? Ради чего произошло то, что произошло? Он родился с зубами, и поэтому мама рано оторвала его от груди, и поэтому у него отсохла рука, и поэтому в него влюблялись женщины, и поэтому он совершал поступки, которые совершал, и поэтому превратился в того, в кого превратился. Но почему он родился с зубами? И почему мама не стала сцеживать грудное молоко в бутылочку? И почему отсохла рука, а не нога? И почему безжизненный орган способен пробуждать любовь? И почему он совершал поступки, которые совершал? И почему превратился в того, в кого превратился?

Сосредоточиться не получалось. Любовь выворачивала его наизнанку, как болезнь. Его мучили запоры, тошнота, слабость. Из воды на дне новенького, фарфорового унитаза на него смотрело отражение, которое он больше не узнавал: обвисший подбородок в ореоле седых волосков, мешки под глазами (он решил, что в них скопились все невыплаканные им слезы радости), потрескавшиеся, опухшие губы.

Совсем не таким отразился он утром предыдущего дня в стеклянных глазах Времямера. Он старился, но не сам по себе, вследствие естественного процесса; его, как всякую свою жертву, состарила любовь, которой и самой-то отроду было не больше суток. Все еще мальчик, но уже не мальчик. Уже мужчина, но все еще не мужчина. Он застрял где-то между последним поцелуем своей матери и первым поцелуем, которым он одарит своего ребенка, между уже прошедшей войной и той, что только предстояло начаться.

Утром следующего после бомбежки дня в помещении театра состоялось общее собрание штетла (первое со времен дебатов об электрическом освещении несколько лет назад), дабы обсудить возможные последствия войны, чьи пути, похоже, пролегали прямо через Трахимброд.

РАФ Д

(Держа над головой лист бумаги.) В письме сына, который бесстрашно сражается на польском фронте, говорится, что нацисты творят невообразимые зверства и что Трахимброду следует готовиться к самому худшему. Он пишет, что мы должны *(смотрит в листок, делает вид, что читает)* «сделать все, что в наших силах незамедлительно».

АРИ Ф

О чем ты говоришь! Мы должны перейти к нацистам! *(Переходя на крик, потрясая пальцем над головой.)* Это украинцы нас прикончат! Ты же слышал, что они устроили во Львове? (Это напоминает мне день моего рождения [вы же знаете, что я родился на полу в доме Раввина (неповторимые запахи плаценты и еврейства навсегда соединились в моем носу [подсвечники у него были неописуемой красоты (из Австрии [если не ошибаюсь (или Германии)])])])…

РАФ Д

(Озадаченно, изображая озадаченность.) Что ты несешь?

АРИ Ф

(Искренне озадаченный.) Не помню. Украинцы. День моего рождения. Свечи. Я хотел сказать что-то важное. С чего я начал?

И так всегда: стоило кому-нибудь заговорить, как он тут же увязал в воспоминаниях. Слова превращались в поток сознания без начала и конца, и говорящий захлебывался в нем прежде, чем успевал добраться до спасительного понтона мысли, которую пытался сформулировать. Невозможно было упомнить, кто что имел в виду и о чем после всех этих слов, собственно, шла речь.

Поначалу они были в ужасе. Общие собрания штетла теперь устраивали ежедневно, сводки с фронтов (8200 ЧЕЛОВЕК УБИТЫ НАЦИСТАМИ НА УКРАИНСКОЙ ГРАНИЦЕ) изучали с редакторской пристальностью, разрабатывали и отвергали планы действий, огромные карты раскладывали на столах, как пациентов перед полостной операцией. Но постепенно собираться стали реже — сначала через день, потом раз в четыре дня, потом раз в неделю, — и встречи эти теперь

больше напоминали холостяцкие посиделки, нежели штаб по выработке плана действий. Для большинства трахимбродцев всего двух месяцев без бомбардировок оказалось достаточно, чтобы удалить из памяти занозы страха, засевшие там в ту памятную ночь.

Они не столько забыли, сколько приспособились. Воспоминания вытеснили ужас. Стараясь упомнить все, что им следует вспомнить, они смогли наконец не думать иногда о войне. Гул воспоминаний о рождении, детстве и юности был громче грохота разрывающихся снарядов.

Вот ничего и не было сделано. Ни принятых решений. Ни упакованных чемоданов или оставленных домов. Ни вырытых траншей или укрепленных зданий. Ничего. Они сидели сложа руки, как дураки, ждали чего-то, как дураки, и говорили, как дураки, о временах, когда Семен Д произвел такой потешный фокус со сливой, что все часами надрывали над ним животы, а в чем именно заключался фокус — никто не помнил. Они остались ждать смерти, и не нам их за это винить, потому что мы поступили бы точно так же, и *поступаем*. Они смеялись и шутили. Они думали об именинных свечах и ждали смерти, и мы обязаны их простить. Они заворачивали в газету (НЕМЦЫ НА ПОДСТУПАХ К ЛУЦКУ) здоровенную форель — улов Менахема — и устраивали пикники с говяжьей грудинкой в плетеных корзинках под купами высоких деревьев у небольших водопадов.

Прикованный к постели со времени своего оргазма, дедушка не смог присутствовать на первом собрании штетла. Зоша справилась со своим оргазмом достойнее; возможно, потому, что вообще его не испытала, а может быть, потому, что хоть ей и нравилось быть замужней женщиной, хоть ей и хотелось все время трогать мертвую руку мужа, полюбить по-настоящему ей еще только предстояло. Она сменила заляпанные семенем простыни, приготовила своему новообретенному мужу горячий бутерброд и кофе на завтрак, а на обед поднесла ему тарелку с остатками свадебного цыпленка.

Что с тобой? — спросила она, усаживаясь на край кровати. — *Я что-нибудь не так сделала? Ты несчастлив со мной?* Дедушка вспомнил, что Зоша еще совсем дитя — пятнадцать лет, а на вид и того меньше. Разве она могла испытать то же, что он? Она вообще ничего не почувствовала.

Я счастлив, — сказал он.

Хочешь, я заберу волосы в хвост, если с хвостом я тебе больше нравлюсь?

Ты мне любая нравишься. Честно.

А сегодня ночью? Я тебе доставила удовольствие? Я научусь. Вот увидишь.

Ты замечательная, — сказал он. — *Просто я неважно себя чувствую. Ты здесь ни при чем. С тобой все замечательно.*

Она чмокнула его в губы и сказала: *Я твоя жена,* — точно повторяла данный накануне обет или напоминала о нем себе или ему.

В ту ночь, с трудом найдя в себе силы на то, чтобы умыться и одеться, он во второй раз за последние два дня отправился к Времямеру. Теперь все выглядело иначе. Голо. Пустынно. Без всяких йодл-додл. Площадь штетла все еще хранила следы муки, хотя дождь загнал ее в стыки между камнями, сделав из мучной простыни мучное макраме. Большинство флагов, развешанных по случаю вчерашнего праздника, уже успели снять, но некоторые все еще свисали из окон верхних этажей.

Пра-пра-пра-прадедушка, — сказал он, опускаясь (с огромным трудом) на колени. — *Мне кажется, я прошу у тебя так мало…*

Учитывая, что ты никогда не заходишь поговорить, — сказал Времямер (недрогнувшими губами чревовещателя), — *с тобой трудно не согласиться. Не пишешь, не…*

Мне не хотелось обременять тебя.

Мне *не хотелось обременять* тебя.

Но ведь обременил, пра-пра-пра-прадедушка. Обременил. Взгляни на это лицо, на мешки, на морщины. Я выгляжу вчетверо старше своих лет. Эта безжизненная рука, эта война, эти провалы памяти. А теперь еще и влюблен.

Почему ты думаешь, что я имею к этому отношение?

Я игрушка судьбы.

А как жеЦыганочка? Что с ней стало? Она мне нравилась.

Что?

Цыганочка? Которую ты любил.

*Я ее не люблю. Я люблю*мою *девочку.*

О, — сказал Времямер и подождал, пока его *О* достигнет мощеной мостовой, смешается с мукой в стыках между камнями. — *Ты любишь малышку в Зошином животе. Всех вокруг отбрасывает назад, а тебя*

тащит вперед.

В обе стороны! — сказал он, представляя останки повозкикрушения, слова на теле Брод, погромы, свадьбы, самоубийства, самодельные люльки, парады и еще представляя возможные варианты своего будущего: жизнь с Цыганочкой, жизнь в одиночку, жизнь с Зошей и ребенком, который всему придаст смысл, конец жизни. Образы его бесконечных вчера и бесконечных завтра омывали его, пока он ждал, парализованный, сегодня. Он, Сафран, был рубежом между тем, что было, и тем, что могло быть.

Так чего же ты от меня хочешь? — спросил Времямер.

Сделай ее здоровой. Огради ее от болезней, слепоты, порока сердца, безжизненных членов. Пусть она будет идеальной.

Миг тишины, а затем Сафрана вырвало утренним бутербродом и остатками свадебного цыпленка — комковатой жижей из желтого и коричневого — прямо на негнущиеся ступни Времямера.

По крайней мере, я не сам в это наступил, — сказал Времямер.

Видишь! — взмолился Сафран, не в силах устоять даже на коленях. — *Вот что это такое!*

Что, что такое?

Любовь.

Что?

Любовь, — сказал Сафран. — *Вот на что это похоже.*

Знаешь ли ты, что после несчастья на мельнице твоя пра-пра-пра-прабабушка приходила по ночам ко мне в комнату?

Что?

Забиралась ко мне в постель, святая душа, зная, что я на нее наброшусь. Нам велели спать в разных комнатах, но она приходила ко мне каждую ночь.

Я не понимаю.

По утрам она подмывала меня, купала, одевала, причесывала, чтобы я был похож на нормального человека, даже когда знала, что это закончится для нее локтем в нос или сломанным ребром. Она отдраивала мой диск до блеска. Она носила на теле мои укусы, как другие жены носили бы драгоценности. Отверстие не имело значения. Мы его не замечали. Мы спали в одной комнате. Она была рядом. Вот что она делала, и многое другое, о чем я никому не скажу, а ведь она меня даже не любила. Вот это любовь.

Давай я расскажу тебе одну историю, — продолжал Времямер. *Дом, в котором мы жили с твоей пра-пра-пра-праба-бушкой, когда в первый раз поженились, стоял в самом конце линии Еврейско/Общечеловеческого раскола, прямо у каскада небольших водопадов. В нем были деревянные полы, высокие окна и столько места, что хватило бы на большую семью. Красивый был дом. Хороший.*

Но шум-то какой, сказала твоя пра-пра-пра-прабабушка, сама себя не слышу.

Подожди, убеждал я ее. Надо подождать.

И я тебе скажу так: несмотря на непомерную влажность внутри и вечную заболоченность лужайки перед домом от всех этих брызг, несмотря на то, что обои приходилось переклеивать каждые шесть месяцев и краска сыпалась с потолка, как снег, в любое время года, — то, что говорят о людях, живущих у водопада, совершенная правда.

Что, — спросил мой дедушка, — *что о них говорят?*

Говорят, что люди, живущие у водопада, не слышат шума воды.

Так говорят?

Да. Твоя пра-пра-пра-прабабушка была, конечно, права. Поначалу было невыносимо. Мы не могли находиться в доме больше двух-трех часов кряду. Первые две недели нас мучила бессонница, и мы даже кричали друг на друга только для того, чтобы перекричать водопад. Мы так страшно ссорились только затем, чтобы, напомнить друг другу, что мы любим, а не ненавидим.

В следующие несколько недель стало полегче. По ночам удавалось ненадолго заснуть, а есть с минимальным дискомфортом. Твоя пра-пра-пра-прабабушка по-прежнему проклинала водопад, прибегая ко все более оскорбительным анатомическим терминам, но реже и с меньшей яростью. Она и на меня нападала поменьше. Это ты виноват, говорила она. Ты хотел, чтобы мы здесь жили.

Жизнь продолжалась, как ей и положено, и время шло, как ему и положено, и через каких-нибудь пару месяцев: Ты что-нибудь слышишь? — спросил я ее однажды, в одно из тех редких утр, когда мы оказались за столом вместе. Слышишь? Я отставил кофе и поднялся со стула: Слышишь его?

Кого его? — спросила она.

Именно! — сказал я, выбегая на улицу, чтобы погрозить водопаду кулаком. Именно!

Мы плясали, разбрызгивая воду пригоршнями, не слыша ни зги. Мы то обнимались, прося друг у друга прощенья, то кричали, прославляя победу человека над водой. Чья взяла? Чья взяла, водопад? Наша взяла! Наша!

Вот что значит жить рядом с водопадом, Сафран. Каждая вдова просыпается однажды утром после многих лет чистой и неизбывной скорби и понимает, что хорошо выспалась, и с удовольствием завтракает, и слышит голос своего покойного мужа уже не все время, а лишь время от времени. Скорбь сменяется благотворной печалью. Каждый родитель, потерявший ребенка, когда-нибудь вновь находит повод засмеяться. Тембр теряет пронзительность. Острота притупляется. Боль стихает. Как резцом, мы все высекаем свою любовь из утраты. Я. Ты. Твои пра-пра-пра-правнуки. И мы учимся жить в этой любви.

Дедушка кивнул, как если бы понял.

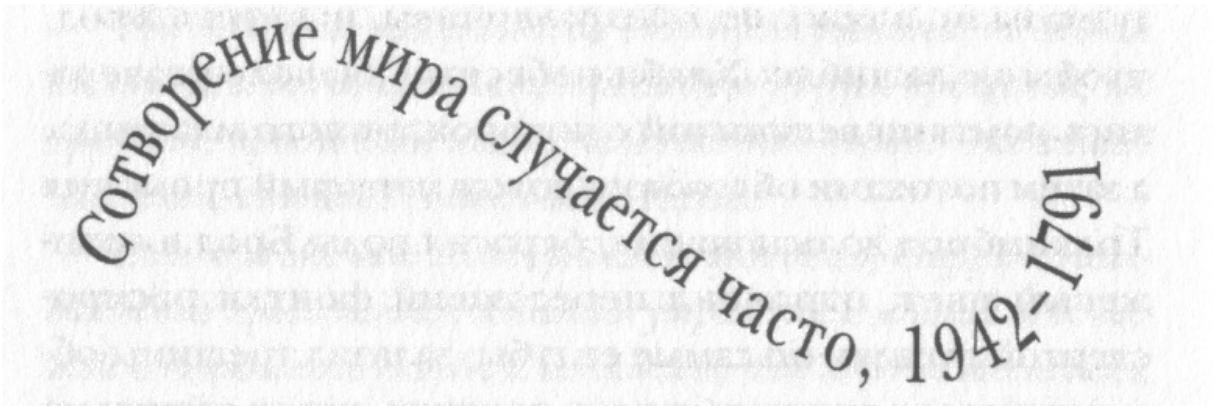
Но это еще не конец истории, — продолжал Времямер. — *Я это осознал, когда впервые попробовал шепнуть что-то по секрету — и не смог, или насвистеть мелодию без того, чтобы вселить ужас в сердца всех в радиусе ста метров, когда мои товарищи на мельнице взмолились, чтобы я понизил голос, потому что: Невозможно сосредоточиться, когда ты так орешь. На что я спросил: РАЗВЕ Я ОРУ?*

Миг тишины, а затем: небо мутнеет, раздвигается занавес туч, раздаются аплодисменты грома. Вселенная обрушивается с небес бомбардировкой божественной рвоты.

Все, кто был застигнут врасплох, бросились в поисках укрытия. Странствующий журналист Шейкл Р прикрыл голову *Львовским ежедневным обозревателем* (НАЦИСТЫ ДВИЖУТСЯ НА ВОСТОК). Заезжая знаменитость драматург Буним В, чью трагикомическую версию истории о Трахиме — *Трахим!* — публика встретила с энтузиазмом, а критика с безразличием, нырнул в Брод, чтобы не зашибло. Хляби небесные вначале разверзлись ломтями величиной с новорожденного младенца, а затем потоками обложного дождя, который промочил Трахимброд до основания, окрасил воды Брод в оранжевый цвет, наполнил пересохший фонтан распростертой русалки по самые ее губы, залатал трещины облупившегося синагогального портика, навел глянец на тополя, утопил мелких насекомых, опьянил

радостью крыс и грифов на речном берегу.

Сотворение мира случается часто, 1942—1791



В ТОТ ДЕНЬ, 18 МАРТА 1942 ГОДА, как и в каждый День Трахима вот уже сто пятьдесят лет подряд, гирлянды белых нитей украшали узкие мощеные артерии Трахимброда. Идея увековечить первые всплывшие на поверхность останки повозкикрушения принадлежала благородному торговцу фаршированной рыбой Битцлу Битцлу Р. Один конец белой нити намотан на звуковое реле радиоприемника (НЕМЦЫ ВТОРГАЮТСЯ В УКРАИНУ, СТРЕМИТЕЛЬНО ДВИЖУТСЯ НА ВОСТОК) на шатком книжном шкафу в однокомнатной хибаре Бенджамина Т, другой — на опустевший серебряный подсвечник на обеденном столе в кирпичном доме Более-не-Менее-Уважаемого Раввина через непролазную грязь улицы Шелистер; тонкая белая нить наподобие бельевой веревки — от стойки осветительного прибора первого и единственного в Трахимброде фотографа к молоточку среднего *до* в магазине роялей драгоценнейшего Зейнвеля З через улицу Малкнера; белая нить над безмятежной и предвкушающей ладонью реки Брод от нештатного журналиста (НЕМЦЫ РВУТСЯ ВПЕРЕД В ПРЕДДВЕРИИ СКОРОЙ ПОБЕДЫ) к электрику; белая нить — от памятника Пинхасу Т (высеченному из мрамора с поразительной реалистичностью) — через томик трахимбродского романа (о любви) — к аквариуму с извивающимися змейками белых ниток (хранящемуся под углом в 56 градусов к горизонту в Музее Истинного Фольклора) — образуя неравносторонний треугольник, отраженный в стеклянных глазах Времямера посреди площади штетла.

Дедушка и его глубоко беременная жена наблюдали за началом

парада, сидя на раскинутом одеяле на лужайке возле своего дома. Первой по традиции двинулась платформа из Ровно: изношенная, с потрепанными желтыми бабочками, бесстыдно прикрывавшими трещины на сосновом теле чучела пахаря, которое уже в прошлом году выглядело неважно, а в этом совсем никуда. (В пробелах между крыльями виднелись остовы.) Еврейский оркестрик предварял появление платформы из Колков, которую волокли на плечах немолодые мужчины, поскольку молодые были на фронте, а лошадей экспроприировали в соседнюю угольную шахту ковать победу в тылу.

ОЙ! — громко ойкнула Зоша, разучившаяся ойкать тихо. — *ОН ТОЛКАЕТСЯ!*

Дедушка приложил ухо к ее животу и получил такой мощный удар в голову, что его отбросило на несколько метров.

НЕОБЫКНОВЕННЫЙ РЕБЕНОК!

Среди тех, кто выстроился вдоль берега, красавцев-мужчин было меньше, чем в тот год, с которого все началось, когда повозка пригвоздила или не пригвоздила Трахима ко дну реки Брод. Все красавцы-мужчины были на войне, последствия которой еще никто не осознавал, и не осознал, и не осознает. Большинство участников состязания были калеками или трусами, которые сами себя покалечили (сломали себе руку, выжгли глаз, прикинулись глухими или слепыми), чтобы избежать призыва. Это было состязание калек и трусов, нырявших за мешком, набитым не золотом, а обычными медяками. Они из последних сил верили, что в жизни все как прежде, и они здоровы, и традицией можно заткнуть течь, и радость по-прежнему возможна.

Платформы и демонстранты прошли от устья реки к лоткам с игрушками и выпечкой, раскинутым возле проржавевшей мемориальной доски, обозначавшей место, откуда повозка угодила или не угодила в реку.

СИЯ ДОСКА ВОЗВЕДЕНА НА ТОМ САМОМ МЕСТЕ
(ИЛИ НА МЕСТЕ НЕПОДАЛЕКУ ОТ ТОГО МЕСТА),
С КОТОРОГО ПОВОЗКА НЕКОЕГО
ТРАХИМА Б
(КАК МЫ СЧИТАЕМ)
ПОШЛА КО ДНУ.

Прокламация штетла, 1791

Пока первые платформы приближались к окну Более-Не-Менее-Уважаемого Раввина (из которого он, как полагалось, одобрительно кивал), мужчины в серо-зеленых шинелях продолжали гибнуть в недорытых окопах.

Луцк, Сарны, Ковель. Их платформы украшали тысячи бабочек и роспись, отсылавшие к мифу о Трахиме: повозка, двойняшки, зонтичный остов, отмычки, лист бумаги, истекающий красной кровью чернил: *Я обязуюсь… Обязуюсь…* А где-то неподалеку, меж зубцами ими же натянутой колючей проволоки, продолжали гибнуть их сыновья; они гибли, увязая в трясине, как животные, из-за давших осечку гранат, гибли обстрелянные по ошибке своими же, гибли, порой не зная, что сейчас их убьют — от пули в лоб, смеясь над шуткой товарища.

Львов, Пинск, Киверцы. Остовы их платформ, убранные красными, коричневыми и лиловыми бабочками, проступали уродливой правдой. (И здесь все труднее и труднее не закричать: *ПРОЧЬ! БЕГИТЕ, ДУРАКИ, ПОКА ЭТО ЕЩЕ ВОЗМОЖНО! СПАСАЙТЕ СВОЮ ШКУРУ!*) Оркестры надрывались, трубы и скрипки, рожки и альты, самодельные бумажные дудочки.

ОПЯТЬ ТОЛКАЕТСЯ! — засмеялась Зоша. — *ВОТ ОПЯТЬ!*

И вновь дедушка приложил голову к ее животу (опустившись на колени, чтобы оказаться на уровне Зошиного пупка), и вновь был отброшен.

ВЕСЬ В МЕНЯ! — провопил он (его правый глаз, как губка, впитывал синяк).

Трахимбродская платформа была усеяна черными и синими бабочками. В центре на пьедестале сидела дочь электрика Берла Г в голубой неоновой электротиаре, от которой через весь штетл тянулся провод, воткнутый в розетку у нее над постелью. (Она рассчитывала, что после парада найдет по нему дорогу домой и заодно смотает.) Царицу Реки окружали юные речные принцессы штетла, облаченные в голубенькие платья из тюля и старательно изображавшие руками волны. Квартет скрипачей на носу платформы наигрывал польские народные мотивы, а другой квартет, в хвосте, тянул украинские народные песни.

Вдоль берега мужчины, рассевшись на деревянных стульях, вспоминали былые увлечения, и девочек, которых не поцеловали, и

книги, которые не прочли и не написали, и время, когда Как-Его-Там сделал что-то ужасно смешное с чем-то бишь, и ранения, и пирушки, и как бы они расчесывали волосы женщинам, которых никогда не встречали, и извинения, и таки пригвоздило или не пригвоздило Трахима ко дну реки, в конце-то концов.

Земля перевернулась в небе.

Янкель перевернулся в земле.

Доисторический муравей на большом пальце Янкеля, пребывавший без движения в камне, похожем на застывшую каплю меда, со дня удивительного рождения Брод, отвернулся от неба и спрятал голову между своих многочисленных лапок, чтобы не сгореть от стыда.

Дедушка и его юная грандиозно беременная жена направились к берегу посмотреть состязание.

(Дальше продолжать почти невозможно, потому что мы знаем, что сейчас произойдет, и удивляемся, как они могут не знать. А может, трудно именно из-за страха признать, что они тоже знают.)

Когда платформа из Трахимброда достигла лотков с игрушками и выпечкой, Раввин подал знак Царице Реки, что пора бросать мешки в воду. Рты распахнулись. Руки разошлись в стороны — первая фаза аплодисментов. Кровь закипела в жилах. Почти как в старые добрые времена. Подступившая смерть не остановила праздника. Праздник не остановил подступившую смерть. Она подбросила их как можно выше

……

Они застыли в воздухе

……

Они повисли там, как на нитях

……

Времямер на цыпочках перебежал по булыжной мостовой, как шахматная фигура, и забился под перси распростертой русалки

……

Еще есть время

……

Когда бомбардировка закончилась, нацисты прошли через штетл. Они выстроили шеренгами всех, кто не утонул в реке. Они развернули перед ними свитки Торы. «Плюйте, — сказали они. — Плюйте, а не то». Затем они поместили всех евреев в синагогу. (Так повторялось из

штетла в штетл. Сотни раз. Всего несколько часов назад то же произошло в Ковеле, а еще через несколько часов произойдет в Колках.) Юный солдат бросил в костер из евреев девять томов *Книги Повторяющихся Сновидений* и, торопясь бросить что-нибудь еще, не заметил, как одна страница выпорхнула из одного из томов и опустилась на землю, укрыв собой, как вуалью, обуглившееся лицо ребенка.

9:613 — *Сон о конце света*, бомбы сыпались с неба взрываясь всполохами света и жара по всему трахимброду те кто пришел на праздник вопили и метались они ныряли в бурлящую вспученную ожившую воду не за золотым мешком а за собственной жизнью они сидели под водой покуда хватало дыхания они выныривали за глотком воздуха или чтобы отыскать любимых мой сафран подхватил жену на руки и как невесту внес ее в воду казавшуюся такой безопасной на фоне рушащихся деревьев и все сотрясающих оглушительных взрывов сотни тел ринулись в брод в эту реку носящую мое имя и я для всех открыла свои объятья идите же ко мне идите как же я их хотела спасти всех хотела спасти от всех бомбы градом сыпались с неба но не с разрывами и не с разлетающейся шрапнелью пришла к нам смерть и не с шипящими фугасами и не с свистящими осколками а со всеми этими телами барахтающимися цепляющимися друг за дружку с телами которым обязательно надо за что-нибудь держаться мой сафран потерял из вида жену которую заталкивало все глубже в меня под натиском тел ее немые вопли устремлялись к поверхности пузырями и там лопались ПОЖАЛУЙСТА ПОЖАЛУЙСТА ПОЖАЛУЙСТА ПОЖАЛУЙСТА толчки в зошином животе стали сильнее ПОЖАЛУЙСТА ПОЖАЛУЙСТА младенец не желал умирать без борьбы ПОЖАЛУЙСТА бомбы сыпались фыркая дымясь и мой сафран сумел оторваться от груды человеческих тел и поплыл по течению вниз к каскаду небольших водопадов где вода была чище прозрачнее зошу затягивало вглубь ПОЖАЛУЙСТА а младенца не желавшего умирать без

борьбы вытолкнуло из ее чрева вверх и вода вокруг стала красной он вынырнул как пузырек навстречу свету и кислороду и жизни и жизни УАУАУАУАУАУА плакала она оказавшись идеально здоровой девочкой она бы и выжила если бы не пуповина потянувшая ее назад вглубь к матери уже не осознававшей жизни но еще осознававшей пуповину зоша пыталась разорвать ее руками перегрызть зубами но не смогла не разорвала и погибла прижимая к груди свою идеально здоровую девочку которой не успела дать имя а люди все продолжали метаться подминая себя под себя даже после того как бомбардировка закончилась растерянное испуганное отчаявшееся месиво из младенцев детей подростков взрослых стариков ухватившихся друг за друга чтобы спастись но вместо этого утянувших друг друга в меня перетопивших друг друга погубивших друг друга а потом их тела начали всплывать одно за другим и вскоре меня невозможно было разглядеть за ними посиневшая кожа бельма распахнутых глаз я была невидима под ними я была остовом они были бабочки бельма распахнутых глаз посиневшая кожа вот что мы натворили мы своими руками погубили своих младенцев чтобы их уберечь

22 января 1998

Дорогой Джонатан,

Если ты это читаешь, значит, Саша это нашел и перевел для тебя. Значит, я мертв, а Саша жив.

Не знаю, расскажет ли тебе Саша о том, что произошло здесь сегодня вечером и что вот-вот произойдет. Важно, чтобы ты знал, какой он человек, вот я тебе и расскажу.

Произошло следующее. Он сообщил отцу, что в состоянии заботиться о Маме и Игорьке. Эти слова надо было сказать, чтобы они стали правдой. Наконец он созрел. Его отец не мог поверить своим ушам. Что? — спросил он. Что? И Саша вновь сообщил ему, что будет заботиться о семье, что поймет, если отцу придется уйти и никогда не вернуться, что от этого он не перестанет считать его отцом. Он сообщил отцу, что все ему простит. О, в какую ярость пришел отец, как рассвирепел, и он сообщил Саше, что убьет его, и Саша сообщил отцу, что убьет его, и они двинулись друг на друга с насилием, и отец сказал: В лицо мне это скажи, а не в пол, и Саша сказал: Ты мне не отец.

Его отец поднялся и вынул чемодан из шкафа под раковиной. Он наполнил чемодан вещами из кухни: хлебом, бутылками водки, сыром. На, сказал Саша и зачерпнул из банки для печенья две полные горсти денег. Отец спросил, откуда у него деньги, а Саша сказал, чтобы он взял их и не возвращал. Мне твои деньги не нужны, сказал ему отец. Это не подарок, сказал Саша. Это плата за все, что ты здесь оставишь. Возьми и не возвращай.

В глаза мне это скажи, и я обещаю тебе, что возьму.

Возьми, сказал Саша, и не возвращай.

Мама и Игоряша были такие расстроенные. Игоряша сказал Саше, что он дурак и что он все испортил. Он плакал всю ночь, а знаешь, что это значит — слышать, как Игоряша всю ночь плачет? Но он еще такой молодой. Я надеюсь, что когда-нибудь он сможет понять, что сделал Саша, и простит его, и еще поблагодарит.

Сегодня вечером я разговаривал с Сашей после того, как ушел его отец, и я сказал ему, что горжусь им. Я сказал ему, что еще никогда не

был так горд за него, так уверен в нем как в человеке.

Но ведь он твой сын. И мой отец.

Я сказал: ты хороший человек, и ты сделал хорошую вещь.

Я положил руку ему на щеку и вспомнил, когда моя щека была как его щека. Я произнес его имя, Алекс, а ведь последние сорок лет это было и мое имя.

Я буду горбатить в Турах Наследия, — сказал он. — Я заполню собой оставленную Отцом пустоту.

Нет, — сообщил я ему.

Это хорошая работа, — сказал он. — И я смогу заработать достаточно, чтобы заботиться о Маме, и об Игорьке, и о тебе.

Нет, — сказал я. — Устраивай свою жизнь. Это будет лучшей о нас заботой.

Я уложил его в постель, чего не делал с тех пор, как он был ребенком. Я укутал его в одеяла и расчесал волосы ладонью.

Попробуй жить так, чтобы ты мог всегда сказать правду, — сказал я.

Я обязуюсь, — сказал он, и я поверил ему, и этого было достаточно.

Затем я пошел в комнату Игоряши, и он уже спал, но я поцеловал его в лоб и сказал за него молитву. Я молился в молчании, чтобы он был сильным и знал только добро, а зла не знал, и войны не знал никогда.

А затем я пришел сюда, в телевизионную, написать тебе это письмо.

Все ради Саши и Игоряши, Джонатан. Ты понимаешь? Я все готов отдать, только чтобы они прожили без насилия. Мир. Вот все, чего я для них хочу. Не деньги и даже нелюбовь. Это еще возможно. Теперь я это знаю, и поэтому во мне сейчас столько счастья. Им надо все начать с чистого листа. Обрубить все нити, да? С тобой (Саша сообщил мне, что вы больше не будете писать друг другу), с их отцом (который исчез навсегда), со всем, к чему они привыкли. То, что Саша начал, я теперь должен завершить.

Все в доме уже легли, кроме меня. Я пишу это при свете телевизора, и прости меня, Саша, если тебе это трудно читать, рука так сильно дрожит, но это не от слабости, я пойду в ванную, когда буду уверен, что ты заснул, и не оттого, что не могу выдержать. Ты понимаешь? Я преисполнен счастьем, и это то, что я должен сделать,

и я это сделаю. Ты понимаешь меня? Я пройду без шума, и я распахну дверь в темноту, и я обязуюсь

notes

Примечания

1

VIP — Very Important Person, Очень Важная Персона (*здесь и далее примечания переводчика*).

2

«The making of Thriller» — видеоролик о том, как снимался клип Майкла Джексона Thriller.

3

От gefilte fish — фаршированная рыба (*идиш*).

4

Джон Холмс — легенда американской порноиндустрии, актер, обладатель неправдоподобно длинного пениса.

5

She is just a girl who thinks that I am the one — первая строчка песни Майкла Джексона.

6

Jerry Seinfeld — герой популярного телевизионного сериала 90-х годов, действие которого происходит преимущественно в Нью-Йорке.

7

Альф — инопланетянин, герой детских сериалов «Улица Сезам» и «Маппет Шоу». *(Прим. перев.)*

8

В оригинале: to sit shotgun (буквально, сидеть [с] обрезом) — пошло с тех времен, когда на человека, сидевшего рядом с возницей, возлагалась обязанность отстреливаться в случае нападения бандитов.

9

Ziploc — название фирмы, выпускающей герметически закрывающиеся пластиковые мешочки для хранения продуктов.

10

Гоим — на языке идиш собирательное название для нееврея.

11

Прослышав, что любовную лирику изобрел еврей, отвергнутый городничий Руфкин С, да затеряется имя его среди подушек, обрушил на наш ни в чем не повинный штетл шквал огня и битого стекла. (Надо ли говорить, что это не еврей изобрел любовную лирику, а вовсе даже наоборот.)